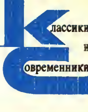
Лидия Сейфуллина



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Лидия Сейфуллина

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Москва
«Художественная литература»
1982

Р2
С 29

Классики и современники

Советская литература

Текст печатается по изданию:
Л. Н. Сейфуллина. Сочинение в двух томах.
М., «Художественная литература», 1980 г.

Составление и вступительная статья
В. ПИСКУНОВА

Художник
Б. ГУРЕВИЧ

С $\frac{4702010200-058}{028(01)-82}$ 20-82

«ПРОБУЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ СИЛЫ»

Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат Д. Фурманову и взяты из его рецензии на повесть Л. Сейфуллиной «Виринея». Но эти же слова, сказанные о литературном персонаже — сибирской крестьянке, кержачке Виринее, которая «вышла на путь борьбы», стала большевичкой, — в полной мере характеризуют автора повести, жизнь, творчество и судьбу писательницы Лидии Николаевны Сейфуллиной (1889—1954).

Л. Сейфуллина — «родом из революции», как и все те, кто вместе с нею начинал советскую литературу, закладывал первые камни в фундамент социалистической культуры. Об этом поколении литераторов емко сказано у А. Фадеева: «Нам первым выпало на долю счастье рассказать людям о социалистической жизни и о том, как она была завоевана. Нам выпало на долю счастье — детскими еще губами произнести такие слова в художественном развитии человечества, какие до нас не мог сказать ни один даже самый крупный из художников прошлого».

«Нам первым». Но даже среди них Л. Сейфуллина была одной из самых первых. «Тогда... советская литература только начиналась. Я не знаю, было ли десятка два человек, которые тогда выпустили свои книги именно в этот период в Советской России, в Новой России», — свидетельствовала сама писательница, имея в виду 1922 год, когда в первом номере

только что созданного литературного журнала «Сибирскне огни» была опублнкована ее поаесть «Четыре главы». А нот саидетельстао «со стороны», принадлежащее наблюдательному современнику зпохи: «Еще не было поэм Маякоаского «Ленин» н «Хорошо!», не пояаился фурманоаский «Чапаеа» н читатели еще не слыхалн нмени Александра Фадееаа, а на книгу Лидии Сейфуллнной «Перегной» записывались в очередь. Сейфуллину чнталн, Сейфуллину проходили а школе. Очень скоро имя ее стало народиым именем н воспринималось как симаол — как следстаие Октябрьской реаолюцин в литературе, как художественное олицетворение революционых преобразоааиий а стране...

Трудно представить себе сейчас, как оиа была знаменита! Какие вызывала ожесточенные споры! Начиналось с Сейфуллиной, кончалось политикой. Но, кажется, асе сходились а одном — талант!»

Пнсательннца росла трудно, копила силы долго, но, раз взяншись за перо, сразу пошла уверенно: 1-й номер «Снбнрскнх огней» — «Четыре главы», 2-й — «Прааонарушнтелн», 4-й — «Ноен коачег», 5-й — «Перегной»... А уже через три года после литературного дебюта увидело сает ее пераое Собрание сочинеииЙ.

Л. Сейфуллина аошла а литературу и как прозаик, и как драматург. Пьеса «Виринея», созданная ею соаместно с В. Праадухиным на осноae одноименной поаести, явилась крупнейшнм событием а истории Театра Вахтаигова (где была осуществлена ее пераая постаноака) да н театральной жизни асей страны. Раньше других советскнх пьес она была показана западноевропейскому зрнтелю н аоспринята как полномочный предстанитель ноаого, революционного искусства.

Тогда же, в двадцатые годы, ее таорчестау по-

святили специальные работы А. Луначарский, Д. Фурманов, Л. Рейснер, редактор первого советского литературного журнала «Красная новь» А. Воронский; свое слово о ней сказала молодежь, только примеряющаяся к литературному труду,—Н. Асеев, Л. Леонов...

Чем же объяснить такой шумный успех? Почему читатель тех лет так близко принял к сердцу прозу и драматургию Сейфуллиной? Главное состоит, вероятно, в том, что сейфуллинская строка помогала ему открывать самого себя и постигать творимый революционный мир, утверждала революцию как праздник освобождения человека.

Нового читателя подкупал пафос творчества Сейфуллиной, гуманистическая направленность ее произведений. Близка и понятна ему была также манера письма, передающая народный говор, слог и интонацию, — именно этим языком заговорила тогда революционная Россия. В этом смысле сейфуллинская проза продолжала работу, начатую «Двенадцатью» А. Блока, поэзией Д. Бедного.

Из-под пера писательницы выходили не пылкие космические абстракции, но картины народной жизни, не вымученные символы, но человеческие характеры. Родословная многих ее героев памятна по отечественной классике: Виринея — из тех русских женщин, что, по словам поэта, коня на скаку остановят; Александр Македонский (герой одноименного рассказа), несмотря на свое громоподобное имя, данное ему как бы в насмешку — ближайший свойственник «маленького человека», открытого Пушкиным, Гоголем, Достоевским; сейфуллинский малолеток — не тот ли самый «мужичок с ноготок», судьбой которого в русских книгах издавна мерились социальное устройство и даже мировая гармония? Все эти традиционные характеры обретали на страницах произведений Сейфуллиной новую судьбу.

Четкость идейно-эстетической позиции писательницы, ставшей профессиональным литератором в тридцать два года, во многом обусловлена предыдущим жизненным опытом, особенностями личной судьбы.

«Отец мой был православный священник, татарин по крови. Детство его... рассказано в моей повести «Каин-Кабак» как детство Алибаева»,— говорится в «Автобиографии» Сейфуллиной. Мать — крестьянка Самарской губернии — рано умерла, оставив двух малолетних дочерей, и те вместе с отцом обретались по глухим приходам Оренбургского края.

По рождению, образу жизни, роду занятий Сейфуллина принадлежала к самой низовой служилой интеллигенции, которой не было нужды специально изучать народ, потому что она жила в гуще бедничества, была так же бесправна и неустроенна. «Работать по найму и стала с семнадцати лет. Простая профессиональная анкета, с указанием места и рода занятий, займет немало места на бумаге»,— энергичным росчерком пера очертит Сейфуллина в «Автобиографии» больше десятилетия своей жизни.

В «Автобиографии», написанной сухо, лаконично, деловым слогом, не так уж много места остается для эмоций. Между тем даже простое перечисление мест пребывания и родов занятий будущей писательницы позволит сделать определенные умозаключения: куда бы ни заносила судьба Сейфуллину, она сохраняла верность родной Сибири, с которой связано ее творчество; каким бы делом ни приходилось ей заниматься — учительница в заштатном городке, провинциальная актриса, исколесившая Россию с севера на юг и с запада на восток, вновь учительница в мордовской деревне, конторская служащая, библиотекарь — она всегда ощущала ответственность перед народом, осознавала себя просветителем, обязанным делиться знаниями, опытом, образованностью с тружениками, задавленными нуждой и невежеством.

«Душа образованьем покупается», — говорит один из героев повести «Встреча», и сказанное близко мирочувствованию писательницы: «Кто есть жив человек — отзовися!» Надо идти в гущу народа, в деревню, чтобы он видел, что мы с ним, что мы нужны ему».

Октябрь был воспринят Сейфуллиной как народная революция, как долгожданный выход для миллионов из нищеты и дикости. Писательница говорила, что для нее лично революция явилась «вторым рождением». Особую роль в определении жизненой позиции сыграла речь В. И. Ленина, услышанная Сейфуллиной в 1920 г. на Всероссийском съезде по внешкольному образованию. Сейфуллина позднее — в очерке «О В. И. Ленине» — скажет, что «этот день стал жизненным откровением», определил ее «трудовое место в стране... дальнейший жизненный путь».

Сейфуллина отдается просветительской работе, которая приобретает теперь отчетливый политический характер и революционную целеустремленность: она занимается воспитанием беспризорных, ликвидацией неграмотности среди красноармейцев и работниц, выступает с лекциями, пишет статьи... «И в литературу — по точному наблюдению критика Е. Стариковой, — Сейфуллина пришла не столько из созревшей потребности художнического самовыражения, сколько, и в первую очередь, откликнувшись на насущную общественную потребность, убежденно следуя чувству долга практического работника культурного фронта, как тогда говорили».

А дело было так: в 1921 году после долгих странствий по городам Сибири и Урала Сейфуллина вместе с мужем — критиком и очеркистом В. П. Правдухиным — переезжает в Новосибирск (тогда Новониколаевск). Здесь создается первый в Сибири журнал «Сибирские огни», и ее приглашают стать секрета-

рем редакции. Не хватало бумаги, шрифтов, краски, было трудно с полиграфическим оборудованием, типографскими рабочими. Но особая потребность ощущалась в новых литературных силах, молодых талантах, способных рассказать о только что отшумевшей гражданской войне в Сибири. Если редакционная почта еще приносила стихи, то совсем плохо дело обстояло с прозой, и тогда, вспомнив, что Сейфуллина печаталась в газетах, даже пробовала — и не без успеха — силы в беллетристике (рассказы «Юный коммунист», «Павлушкина карьера»), ей поручают — такое тогда было время! — написать прозу для открытия «Сибирских огней».

За три недели готова повесть «Четыре главы», с которой писательница связывала начало своей литературной биографии. Повесть, построенная на основе впечатлений от годов провинциального актерства и учительства в деревне, жизни рудничных рабочих, борьбы с Колчаком, на сегодняшний взгляд фрагментарна, эскизна, хотя в ней есть сильные сцены и зарисовки. Впрочем, на недостатки повести обратила внимание уже и критика тех лет, хотя назвала «Четыре главы» лучшим произведением в журнале. Привлекало стремление показать, как происходит процесс перестройки личности в революции, как духовно и нравственно распрямляется человек, ставший на сторону народа.

Повесть «Четыре главы» — первая страница сейфуллинской художественной летописи революции в Сибири. Критика поддержала писательницу, заставила ее поверить в собственные силы. «Я убеждена, — писала Сейфуллина в статье «Памятное пятилетие», — что если бы провинциальная пресса не признала бы стоящей мою первую несглаженную, многоязычную повесть, я не нашла бы в себе достаточно мужества попытаться сладить со второй».

«Второй» была известная повесть «Правонарушители», появившаяся в следующем номере «Сибирских огней» и принесшая автору самый настоящий успех: ее включали в школьные программы, бесплатно рассылали вместе с инструкциями Наркомпроса по вопросам борьбы с беспризорными, издавали огромными по тем временам тиражами.

«Правонарушители» не похожи на другие книги о беспризорных, в том числе и на рассказ самой Сейфуллиной «Павлушкина карьера», где преобладали интонации трагические, краски мрачные. Здесь же задорная, радостно-оптимистическая тональность, которая могла бы показаться совершенно неуместной в рассказе о таком трагическом явлении, как беспризорность. Но бодрость, оптимизм произведения вполне органичны, рождены открытием человека, радостным удивлением его талантами и возможностями, что очень точно почувствовал и проницательно сформулировал А. Макаренко: «В этом рассказе впервые и довольно неожиданно и смело были высказаны истины о правонарушителях, составляющие аксиому...

Читая этот рассказ, вы во всем тексте, от первой до последней строки, чувствуете, как звучит глубокая, искренняя вера в человека, вера в то, что не может быть прирожденной преступности, вера в лучшие человеческие качества — уверенность, которая теперь уже для нас составляет несомненную истину».

Восторженное отношение А. Макаренко к сейфуллинской повести вполне объяснимо: «Правонарушители» предвосхищают «Педагогическую поэму», а также такие знаменитые произведения о беспризорных, как «Республика Шкид», «Путевка в жизнь», отличающиеся «оптимистической гипотезой в подходе к человеку».

Это скучные барышни из детприемника, «ученый»

доктор, брезгливо осматривающий детей улицы, заискивающая перед ними «тетя Зина» поторопились отнести четырнадцатилетнего вора Гришку Пескова к «пропащим». По-другому рассудил начальник колонии Мартынов, отобравший самых ершистых, Гришку в первую очередь. Его не оттолкнули грубость, дерзость маленького воришки, Мартынов сумел разглядеть за этим характер, личность, сибирского Гавроша двадцатых годов, который сам с гордостью говорит о себе, что принадлежит к «красной партии».

А. Макаренко определил мартыновский метод воспитания как «своеобразный пантеизм». Действительно, первостепенное место в колонии отводится целительной «матери-природе», свободному, естественному труду, доверительной простоте человеческих отношений, что служит свидетельством природности революции.

Намыкавшиеся по улицам больших городов, набедовавшиеся ребята, может быть, впервые ощутили себя полноценными людьми. И потому такой недетской болью звучат Гришкины слова, обращенные к Мартынову, когда над колонией нависла угроза расформирования: «Не отдавай нас опять в правонарушители».

«Революция прежде всего освобождает детей» — в устах Сейфуллиной это означало самое высокое благословение происшедшему историческому повороту. Но словосочетание «революция освобождает» вообще необычайно характерно для писательницы, приложимо буквально ко всем ее произведениям: «Четыре главы» — история внутреннего распрямления актрисы Анны; «Правонарушители» — духовная биография беспризорника Гришки Пескова, обретшего свою человеческую судьбу; повесть «Александр Македонский» (1922) — о человеке, сумевшем подавить

в себе раба, преодолеть внутренний страх, забитость, покончить с жалким прозябанием и начать жить «на все средства души».

Жизнь «маленького человека», как она показана в классической литературе, чаще всего трагична либо бессмысленна. Александра Евдокимовича Македонского — младшего конторщика, робкого в обращении, вечно смущающегося, покорно сносящего насмешки, — ожидала бы такая же судьба. Но времена переменились: под влиянием дочери-большевички он приобщается к подпольной работе, участвует в боях с белыми и даже совершает воинский подвиг, хотя внешне остается таким же тихим, скромным, неприметным. Даже когда Македонскому пришлось возглавить большое учреждение, он норовит остаться в тени, что вызывает порою ироническое отношение коллег и вразумляющие ласковые выговоры начальства. Но Македонский только внешне мало переменился, на самом деле он обрел сознание своей нужности, значительности, причастности общему делу: «Единица, в тысячах сосчитанная. Малый ли, щуплый ли, кличка ли смехотворная,— в шеренгу! Молодо кровь в жилах от этого...»

В освободительном движении в Сибири против белогвардейцев и интервентов крестьянству принадлежала исключительная роль. Об этом рассказывали книги двадцатых годов, продолжают свидетельствовать произведения наших современников: Г. Маркова, С. Залыгина, А. Иванова... Вот уже без малого шестьдесят лет пишется художественная летопись сибирского революционного крестьянства, и открывается она сейфуллинской повестью «Перегной» (1922).

Все значительно в этом произведении уже не просто об отдельном человеке, но о целом сословии в революции. Все, начиная с названия. Раскрывая смысл заглавия, критика обоснованно вспомнила об

эпизоде из «Правонарушителей». Там милиционер, сопровождающий беспризорников в детприемник, приговаривал: «Ну, какие из вас человеки вырастут, как вы сызмальства под конвоем? Навоз вы, одно слово!» Обидные эти слова запали в душу Гришки Пескова, он их как-то пересказал Мартынову, но тот возразил: «Навоз — хорошо. От навоза хлеб хороший будет». В этой мартыновской огласовке и взято слово «перегной» для названия повести, что подтверждается репликой Ивана Лутохина: «Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили».

«Перегной», «навоз», «унавозили» — лексический ряд, очень характерный для стилистики и поэтики повести, ориентированной на изображение природных начал жизни, первозданных чувств, извечных инстинктов: «Здесь у людей крепок хребет, густ в жилах настой крови, плодовито, как у земли, чрево».

Крестьянин сопричастен земле, включен в естественный круговорот природы, что делает его существование истинным, натуральным, тогда как многие интеллигенты, выведенные в повести (и на первом месте среди них — библиотекарша Антонина Николаевна), ведут жизнь искусственную, ненатуральную, насквозь фальшивую. Если иметь к тому же в виду, что за эту лживую жизнь образованных сословий расплачиваться приходится крестьянину, то разве не оправданны стихийные взрывы насилия, не закономерно возмездие? Так — в соответствии с «покаянными» традициями отечественной классики — написана повесть.

Но Сейфуллина не ограничивается противопоставлением интеллигенции мужику. Не единосущно у нее и самое крестьянство. Хотя от имени земли говорят и сектант Кочеров, и бывший фронтовик, ныне предревисполкома Софрон, между ними нет и не

может быть согласия, потому что их точки зрения классово враждебны. «Был Софрон от плоти и кости деревни, но не старой, кряжистой, а новой, встряхнутой, ищущей».

Деревня, взметенная революцией, раздираемая классовой борьбой,— главный герой повести. Причем жизнь крестьянской массы написана кистью правдивой и суровой, что вообще характерно для Сейфуллиной — художника щепетильно честного, органически неспособного к лукавству и малейшей фальши. Даже самый любимый персонаж писательницы, Софрон, далеко не безгрешен, весь состоит из углов и противоречий, да и откуда бы взяться слаженности характера, когда новая деревня только возрождалась из веков угнетения и нищеты, когда Софрон — такой же «перегной», как и остальные? Но эта могучая натура постепенно обретает цель в жизни, все полнее осуществляется в революционной борьбе, одержима смелыми надеждами и радостными мечтами. Само собой напрашивается сравнение Софрона с сельскими коммунистами из шолоховской «Поднятой целины» — характерами такими же значительными, достоверными, такими же путаными, но и «ужасно своими».

«Софрон знаменателен и сам по себе, и как прямой предшественник Виринеи, Виринеиных поисков, срывов, ее обретений и ее гибели» — так критик В. Кардин устанавливает преемственную связь между героями двух самых известных повестей Сейфуллиной — «Перегной» и «Виринея» (1924). Правда, если в первой из них главное внимание было уделено жизни деревни целиком, что определяло тяготение писательницы к массовым сценам, хоровому многоголосию, то в «Виринее» — это подчеркнуто и заголовком — «крупным планом» показана индивидуальная судьба, незаурядный характер, обрисованный с

бо́льшей полнотой и многогранностью, чем остальные сейфуллинские герои.

Виринея принадлежит к излюбленным Сейфуллиной натурам стихийных протестантов, бунтарей. Богато наделенная от природы, страстная, не желающая жить «как все живут», Вирка — вызов мещанскому здравому смыслу и устоявшемуся порядку жизни. В этом отношении вольнолюбивая и бесшабашная героиня сродни буйному богатырю Савелию Магаре и, напротив, враждебна расчетливой солдатке Анисье, мелкотравчатым жрецам морали из «образованных».

Бунтарство Виринеи, как это очевидно из всего хода действия, порождено стремлением сохранить чувство собственного достоинства, уберечь, как говорится, «душу живу»; оно обусловлено неприятием грубой, скотской жизни, что окружает Вирку, тоской по другой жизни — чистой, справедливой, по совести. Поэтому так потянулась Виринея к Павлу Суслову, увидевшему в ней не просто красивую бабу, а человека, с уважением отнесшемуся к ее душевному миру.

Бунтарь Виринея по самому строю души родственна стихии революции. Но большевик Павел — характер более организованный, сознательный, дисциплинированный, чем Софрон, — ускорил и облегчил «второе рождение» Вирки. Поняв, что жена ему «не только по хозяйству, а в других делах хорошей помощницей будет», Павел стал привлекать Виринею к работе в большевистском подполье, которой та отдалась с присущею ей страстностью и темпераментом.

Путь Виринеи в революцию, как до нее горьковской Ниловны, сопровождается бурным ростом душевных сил, стремительным подъемом человеческого в человеке. Правда, короткий срок был отпущен Вирке: люто надругались над ней враги. Но даже не-

долгая жнзнь Внрннеи-большевичкн не оставляла сомнений в окончательностн выбора, сделвнного крестьянской Россней.

Еслн пронзведення Сейфуллниой, датнрованные началом двадцатых годов, былн объедннены темой стремнтельного роста н подъема человека в революцнн, то в повестях второй половнны десятнлетня — «Встреча» (1925) н «Квнн-Кабак» (1926),— напротнв, рассказывается о пропащей силе, нсследуются «трудные случан», прнзванные двть представленне о сложностн духовных процессов, мучнтельной неоднознвчностн нравственных уснлнй лнчиостн. Страна переживала нэп, н ие одна Сейфуллнна, но многне пнсателн задумывалнсь тогда о протнворечнях действнтельностн.

Герой повести «Канн-Кабак», отважный партнзанскнй командир Грнгорнй Алнбаев, по буйной неуемности, стихийностн характера сроднн Софрону нз «Перегноя», Вирннее. Но еслн те погнбли в самом начале гражданской войны в Снбирн, когда только взметнулась буря всенародного возмущення н протеста, то Алнбаев нзбежал вражеской пулн, дожил до конца войны. Казалось бы, повезло. Однако логнка историн не всегда совпадает с логнкой здравого смысла: Алнбвев был впору «снбнрской вольннце», партнзаищнне, но не сумел приноровиться к новой жнзнн н ее законам, оказался лншннм прн другом порядке вещей. Он — еднственный средн сейфуллннскнх героев, переживший самого себя.

Сцены метелн в степи, снежиой круговертн, буранной ночн (по всеобщему прнзнанню, онн прннадлежат к лучшнм странццам русской прозы н часто сравниваются с бураном в «Капнтанской дочке»), прямо «вводят» в характер Алнбаевв, — порывнстый, буйный, стихнйный. Но если раньше для Сейфуллнной, нспытввшей чувство ннтеллнгентской вины перед

народом, разбушевавшаяся стихия, «миллионная первобытность» всегда правы, то теперь писательница видит также их слабости, опасности, которыми они угрожают.

Собственно, не Сейфуллина — сам народ делает свой выбор. Каин-кабакские мужики готовы воздать Алябаеву за его вчерашние подвиги, но отказываются следовать за ним дальше, потому что он действует вопреки естественному ходу жизни, препятствует ее дальнейшему природному течению. Стихия, воплощенная в герое, сыграла свою роль в народной жизни, но теперь разошлись дороги Алябаева и его односельчан: он рвется все к новым подвигам, к новой крови, а крестьяне хотят работать, растить хлеб, рожать детей. Как ни артачился Алибаев: «Мне Москва не указ. Власть на местах, за что бились?», пошли крестьяне за Москвой, за мирным порядком жизни. Алибаев остается в одиночестве. Привыкший к анархическому своеволию, не умевший ограничивать свои порывы, взнуздывать эмоции, герой оказывается все более беззащитным перед давлением обстоятельств, превращается в конце концов в самого обыкновенного обывателя.

Сейфуллина полна сочувствия к легендарному Алябаеву, не без ностальгии вспоминает она романтику былых походов и сражений, противостоящую прозе будней, но понимает также ее историческую исчерпанность. В связи с изменением творческой задачи меняется также стиль писательницы. Вместо речи по-народному живописной, угловатой, неправильной — регулярные периоды, точная простота; вместо шумного многоголосия толпы — размышляющие интонации авторского голоса. Но надо признать: те первые страницы сейфуллинской прозы останутся самыми сильными в ее творчестве, там талант писательницы проявился с максимальной полнотой.

Произведения второй половины двадцатых годов были встречены критикой куда более сдержанно, чем сейфуллинская проза начала десятилетия. Особенно трудно работалось писательнице в тридцатые годы. О причинах своего творческого кризиса она рассказала в статьях «Критика в моей практике» и «О своей литературной работе». Стремясь поддержать писательницу и помочь ей выйти из кризиса, Горький писал Сейфуллиной по поводу рассказа «Таня» (1934): «...Мною давно уже было замечено, что Вы не только весьма даровитый писатель, но и человечица, влюбленная в литературу, и, главное, смело честная, искренняя... Вы человек, талантливо чувствующий, и Вы имеете все данные для того, чтобы талантливо знать, талантливо различать нужное от ненужного. Именно об этом говорят «Виринея», «Правонарушители» и другие рассказы, включительно с последним, прочитанным мною, о девочке». Образ двенадцатилетней девочки Тани действительно один из самых поэтичных в творчестве писательницы; искренность авторского сочувствия юной героине сглаживает несколько искусственную ситуацию рассказа.

Если «Таня» — о социальной педагогике нового общества, то рассказ «Собственность» (1933) — о цепкости старого мира. История женщины, состарившейся в ожидании богатого наследства, не нова. Но здесь проявились лучшие стороны дарования Сейфуллиной — гуманность, доброта, сочувствие даже гибнущему человеку.

Годы войны были отмечены активизацией творчества писательницы, часто выступавшей с рассказами, очерками, небольшими пьесами, создавшей повесть «На своей земле» (1942). Кроме того, и в эти, и в последующие годы большое значение имело само присутствие Сейфуллиной в литературе, о чем так хорошо сказано М. Шагинян: «Правдивость ее реакции

на книгу, на поступок человека, на какое-нибудь большое или малое событие попросту выпирало из нее... С ней невозможно было фальшивить, и ее всегда хотелось поддержать в этом ее стремлении создавать вокруг себя атмосферу правдивости. Отсюда большое нравственное влияние личности Лидии Николаевны, которое испытывали на себе все мы».

Время открывает новые страницы истории советской литературы, делает наше представление о ней более глубоким и содержательным. Оно расставляет все по своим местам, выносит окончательные приговоры. Но «Виринея», «Перегной», «Правонарушители» и другие произведения Л. Сейфуллиной двадцатых годов продолжают занимать свое достойное место в ряду произведений, получивших название «советской классики».

В. Пискунов

I

Его поймали на станции. Он у торговок съестные продукты скупал. Привычный арест встретил весело. Подмигнул серому человеку с винтовкой и спросил:

— Куда поведешь, товарищ, в ртучеку или губчеку?

Тот даже сплюнул.

— Ну, дошлый! Все, видать, прошел.

Водили и в ортчека. Потом отвели в губчека. В комендантской губчека спокойно посидел на полу в ожидании очереди. При допросе отвечал охотно и весело.

— Как зовут?

— Григорий Иванович Песков.

— Какой губернии?— брезгливо и невнятно спрашивал комендант.

— Дальний. Поди-ка и дорогу туды теперь не найду. Иваново-Вознесенский.

— Как же ты в Сибирь попал?

— Эта какая Сибирь! Я и подале побывал.

Сказал — и гордо оглядел присутствующих.

— Да каким чертом тебя сюда из Иваново-Вознесенска принесло?

Степенно поправил:

— Не чертом, а поездом.

На дружный хохот солдат и человека, скрипевшего что-то пером на бумаге, ответил только солидным плевком на пол.

— Поездом, товарищ, привезли. Мериканцы. Детей питерских с учителем сюда на поправку вывезли. Красный Крест, что ли, ихний. Это дело не мое. Ну, словом, мериканцы. Ленин им, што ль, за нас заплатил: подкормите, дескать. Ну, а тут Колчак. Которые дальше уехали, которые померли, я в приют попал да в деревню убег.

— Что ты там делал?

— У попа в работниках служил. Ты не гляди, что я худячий. Я, брат, на работу спорый!

— Ну, а добровольцем ты у Колчака служил?

— Служил. Только убег.

— Как же ты в добровольцы попал?

— Как красны пришли, все побегли, и я с ими побег. Ну, никому меня не надо, я добровольцем вступил.

— Что ж ты от красных бежал? Боялся, что ли?

— Ну, боялся... Какой страх? Я сам красной партии. А все бегут, и я побег.

Солдаты снова дружно загрохотали. Комендант прикрикнул на них и приказал:

— Обыскать.

Также охотно дал себя обыскать. Привычно поднял руки вверх. Весело поблескивали на желтом детском лице большие серые глаза. Точно блики солнечные — все скрашивали. И заморенное помятое личико, и взъерошенную, цвета грязной соломы, вши-

вую голову. У мальчишки отобрали большую сумму денег, поминанье с посеребренными крышками, фунт чаю и несколько аршин мануфактуры в котомке.

— Деньги-то ты где набрал?

— Которые украл, которые на торговле нажил.

— Чем же ты торговал?

— Сигаретками, папиросами, а то слимонию што, так этим.

— Ну, хахаль!— подивился комендант.— Родители-то у тебя где?

— Папашку в ерманску войну убили, мамашка других детей народила. Да с новым-то и с детями за хлебом куды-то уехали, а меня в мериканский поезд пристроили.

И снова ясным сиянием глаз встретил тусклый взор коменданта. Тот головой покачал. Хотел сказать: «Пропащий». Но свет глаз Гришкиных остановил. Усмехнулся и подбородок почесал.

— Что ж ты у Колчака делал?

— Ничего. Записался да убег.

— Так ты красной партии?— вспомнил комендант.

— Красная. Дозвольте прикурить.

— Бить бы тебя за куренье-то. На, прикуривай. Сколько лет тебе?

— Четырнадцатый с Григория-святителя пошел.

— Святителей-то знаешь? А поминанье зачем у тебя?

— Папашку записывал. Узнает — на небе-то легче будет. Мать забыла, а Гришка помнит.

— А ты думаешь, на небе?

— Ну а где? Душе-то где-нибудь болтаться надо. Из тела-то человечьего вышла.

Комендант снова потускнел.

— Ну, будет! Задержать тебя придется.

— В тюрьму? Ладно. Кормлют у вас плоховато... Ну, ладно. Посидим. До свиданьица.

Гришку долго вспоминали в чека.

Из тюрьмы его скоро вызвала комиссия по делам несовершеннолетних. В комиссии ему показалось хуже, чем в губчека. Там народ веселый. Смеялись. А тут все жалели, да и доктор мучил долго.

— И чего человек старается?— дивился Гришка.— И башку всю размерил, и пальцы. Либо подгонял под кого? Ищут, видно, с такой-то башкой...

Нехорошо тоже голого долго разглядывал. В бане чисто отмыли, а доктор так глядел, что показалось Гришке: тело грязное. Потом про стыдное стал расспрашивать. Нехорошо. Видал Гришка много и сам баловался. А говорить про это не надо. Тошнотно вспоминать. И баловаться больше неохота. Когда от доктора выходил, лицо было красное и глаза будто потускнели. Разбередил очкастый.

Но вечером в приюте с малолетними преступниками был опять весел. Пищу одобрил.

— Это, брат, тебе не советский брандахлыст в столовой. Молока дали. Каша сладкая. Мясники в супу. Ладно.

Ночью плохо было. Мальчишкн вознлись, и «учнтель» покрикивал. Чем-то доктора напомнил. Гришка долго уснуть не мог. Дивился.

— Ишь ты! От подушки, вндать, отвык. Мешает.

И всю ночь в полуяви, в полусне протосковал. То мать вмделась. Голову гребнем чешет н говорит:

— Растешь, Грншенька, растешь, сыночек! Большой вырастешь, отдохнем. Денег заработаешь, отца с мамкой успоконшь... Родненький ты мой!

И целует.

Чудно! Глаза открыты, н лампочка в потолке светит. Знает: детский дом. Никакой тут матери нет. А на щеке чуется: поцеловала. И заплакать охота. Но крякнул, как большой, плач задержал н на другой бок повернулся. А потом доктор чуднлся. Про баб вспоминал. Опять тошнотно стало. Опять защемило. Молнться хотел, да «отчу» не вспомиил. А больше молитвы не знал. Так всю ночь и промаялся.

Пошли деиь за дием. Жить бы иичего, да скучно больно. Утром накормят н в большую залу поведут. Когда читают. Да все про скучное. Один был мальчнк хороший, другой плохой... Дать бы ему подзатыльник, хорошему-то! А то еще учнтельши ходилн:

— Давайте, дети, попоем и поиграем. Ну, становитесь в круг.

Ну н встанут. В зале с девчатами вместе. Девчата вихляются н все одно поют: про елочку да про зайчика, про каравай. А то

еще руками вот этак разводят и головой то на одни бок, то на другой.

Где гнутся над омутом лозы...

Спервоначалу смешно было, а потом надоело. Башка-то ведь тоже не казенная. Качаешь ей, качаешь, да и надоест. Лучше всего был «Интернационал»! Хорошее слово, непонятное. И на больших похоже. Это, брат, тебе не про елочку!

Вставай, проклятьем заклейменный...

Хорошо! А тоже надоело. Каждый день велят петь. Сам-то, когда захотел, попел. А когда и не надо. Все-таки за «Интернационал» Жорже корявому морду набил. Из буржуев Жоржа. Тетя какая-то ему пирожки носит. Так вот говорит раз Жоржа Гришке:

— Надо петь: весь мир жидов и жиденят.

А Гришка красной партии. Знает: и жиды люди. Это Советскую власть ими дразнят. Ну, и набил морду Жорже. С тех пор скучно стало. За Советскую власть заступился, а старшая тетя Зина и Константин Степаныч хулиганом обозвали. А как белье казенное пропало, их троих допрашивали. Троих, воры которые были. Гришка дивился:

— Дурьи башки! Чего я тут воровать стану? Кормлют пока хорошо. Что, что воры? Сам украдешь, коли есть нечего будет. Вот сбегу, тогда украду.

Крепла мысль: сбежать. Скучно, главное дело. Мастерству обещали учить — не учат. Говорят, инструменту нет. А эту «пликацию» из бумаги-то вырезывать на-

доело. Которую нарезал и сплел, всю в уборной на стенке налепил и карандашом подписал: «Тут тебе и место сия аптека для облегченья человека Григорий Песков».

Писать-то плохо писал, коряво, а тут ясно вывел. С того дня невзлюбили его воспитатели. И не надо. Этому рыжему, Константину Степанычу, только бы на гитаре играть да карточки снимать. Всех на карточки переснимал, угрястый! Злой. Драться не смеет, а глазами, как змея, жалит. Глядит на всех — чисто нюхает: что ты есть за человек. Сам в комнате в форточку курит, а ребятам говорит:

— Курить человеку правильному не полагается.

Куренье — дело плевое. Вот сколько не курил. Отвык, и не тянет. А как заведет Константин Степаныч музыку про куренье да начнет вынюхивать и допрашивать, кто курил,— охота задымить папироску. А тетя Зина всех голубчиками зовет. По головке гладит. Липкая. Самой неохота, а гладит. И разговорами душу мотает.

— Это нехорошо, голубчик! Тебя пригрели, одели, это ценить надо, миленький. Пуговки все застегивать надо и головку чесать. Ты уже большой. Хочешь, я тебе книжечку почитаю? А ты порисуй.

Ведьма медовая! Опять же анкетами замаяла. Каждый день пишут ребята, что любят, чего не любят, чего хотят и какая книжка понравилась. И тут Гришка ее обозлил. В последний раз ни на какие вопросы отвечать не стал, а написал:

«Анкетов никаких нилюблю и ннжалаю».

Побелела даже вся. А засмеялась тнхонечко, губы в комочек собрала н протяжно так да тоненько вывела:

— У-у, а я тебя ие люблю! Такой мальчнк строптивый.

Ну н не любн. Жоржу своего люби. Тот все пуговкн застегивает н листочек разлннует, и на все вопросы, как требуется, отвечает. А как спиной повернется, непристойное ей показывает. Девчонки все пакость. У тетн Зины научнлись тоненькнмн голосами говорнть н лебезят, лебезят. А потнхоньку с мальчишкамн охальничают. Манька с копей — ничего. Песни жалостные поет и кинжку читать любнт. А сама из воску чисто н все перхает. Недужная. Но н с ней Гришка ие разговарнвает. Боится. Нагляделся иа девчоиок-то и не любнт нх. Ннкого Гришка ие любит. И опротивело все: н спальнн с одинаковыми одеялами, и столовая с новымн деревянными столамн. Бежать! В монастыре детский нх дом был. За высокнми стенами. И у ворот часовой стоял. Гришка рассуждал:

— Правильно. Правонарушители мы. Так н пишемся — малолетние правонарушители. Важио! По-простому сказать, воры, острожннки, а по-грамотному пра-ва-нару-шнтели.

Это назваиие иравилось так же, как «Интериацнонал». Грншка гордился нм и часовым у ворот. Но теперь часовой мешал. Удрать охота.

Весна пришла. На двор как выйдешь, тоска возьмет. Ноздри, как у собаки, задвн-

гаются, и лететь охота. Солнышко подобрело и хорошо греет. Снег мягким стал. Канавки уж нарыли, и вода в них под тоненьким, тоненьким ледочком. Сани по дороге уж не скрипят, а шебаршат. Лошадь копытами не стук-стук, а чвак-чвак... Веточки у деревьев голые, тоненькие, а радостные. Осенью на них желтые мертвые листы трепыхались, а зимой снег. Теперь все сбросили. Легонькие стали, чисто расправились после хвори. Дышат не надышатся. У неба пить просят. Мальчишки за оградой целый день по улице криком и визгом весну славят. Ой, удрать охота!.. На дворе хорошо, когда по-своему играть дают. А как с учителями хороводы да каравай — неохота. В лапту можно.

Монашки во дворе жили. Стеснили их, а выселить еще не выселили. И утром и вечером скорбно гудел колокол. Черные тени из закутков своих выходили и плавно, точно плыли, двигались к церкви. Она в углу двора была и входом главным на улицу выходила. Шли монашки молодые и старые, но все точно неживые двигались. Не так, как днем по двору или в пекарне суетились. Тогда на баб живых походили, с ребятами ругались и визжали. А ребята их дразнили. В колодец плевали, а один раз в церковь дверь открыли и прокричали:

— Ленин... Сафнарком!

Монашки в губнаробраз жаловались. С тех пор война пошла. Веселее жить стало.

II

Все жаднее пила весна снег. В церкви дверь открывали. Солнца хлебнувший воздух сумрачные своды освежал. Врывался он пьяный и вольный. А из церкви на двор выносился с великопостным скорбным воплем людей. С плачем о чертоге, в который войти не дано. Монашки чаще проплывали тенями к церкви. Дольше кричали богу в угаре покаянном. И эти бесшумные черные тени на светлом лике весны, и песнопенья великопостные, и будоражливый гомон весенней улицы совсем смутили Гришку. Воспитатели были довольны. Покорялся он всякой науке. Смирно сидел часами. Глаза только пустые стали. А Гришка жил в себе. Ночами просыпался и думал о воле. Убежать было трудно. Шестеро старших игуменью обокрали и бежали. Но их поймали. А они бунтовать. Парни уж. Усы пробиваются. На работы их в лагерь сдали. А за остальными следить строже стали. Часового, агента чеки и воспитателей прибавили. Но случай помог.

Война детей с монашками все разгоралась. В тоскливой череде дней стычки с ними были самое яркое. Ими жили в праздном своем заточении. А тут еще пятьдесят человек тюрьма доставила. Необходимо было выселить монахинь. Освободили для них большой двухэтажный дом за рекой. Близко к окраине города. Предложили переехать. Монахини покорно приняли решение власти. Только выпросили церковью монастырской пользоваться. Но

потихоньку каждая жалобу свою излила.

По утрам поодаль от высокой монастырской стены останавливалась крестьянская подвода. Иные дни — две-три. С видом виноватым, съежившись, пробирались к воротам монастыря мужики и бабы. Просительно, ласково говорили с часовыми, юркали в калитку. Двор встречал их отзвуками чуждой новой суеты. В воздухе звенели слова: «товарищ», «детдом», «правонарушители». Исконная монастырская жизнь пугливо таилась в глубине. Минуя звонкоголосых и молчаливых с готовым вопросом в детских глазах, шли в задние малые домики. Там встречали их лики святых и тонкие умильные голоса. Вот этим дающим тайную лепту излили душу монахини. Игуменья под бумагами подписывалась: настоятельница трудовой коммуны монашеской, смиренная Евстолия. На собраниях в церкви монастырской, совместно с верующими, уговаривала: «всякая власть от бога». Но и она не стерпела. Знакомому мирянину Астафьеву, который раньше два кинематографа имел, на монастырь хорошо жертвовал, а теперь в губсоюзе служил и бога опять же не забывал, поскорбела:

— От храма божьего отрывают.

И побежали вестовщицы по домам, где бога не забыли.

— Монахинь выселяют!

— Театры в монастыре будут...

— С икон ризы снимают...

— С престола из церкви все председателю губчека на квартиру свезли.

— Мать-игуменью в чеке пыталн.

Из домов весть крылатая на базар, что на площадн рядом с монастырем, перекннулась. В день, для переезда назначенный, бабы на подводах крестились. Одна, в тревоге,— за капусту трн тысячн не дополучила. Охая, мешала возгласы к богу с бабьей бранью, визгливой и бестолковой.

— Матушка, царица небесная, троеручица. Что же это, холеры на их нет... сует деньгн, а сам днрака! Коммунист лешачнй!.. Жндово племя! Мнкола-мнлослнвый... Молитвы, вишь, помешали... Чнсто чертн, ладана боятся. Невесты Хрнстовы, матушкн нашн... да куда же пойдут? Задавн нх горой, ироды, антнхрнстово семя!.. А, на-ко-ся. Только глянула: был человек, нету человека... Ну, да я помню рожу твою пучеглазую! Приди-ко еще... Лихоманка собачая!..

Мужики языка не распускали, но с базара, торг закончнв, не уехалн. Блнже к монастырю лошаденок подвннули.

Подали подводы для монашек. Большне ворота открылн. Часовые около них вcталн. И, точно проводом тайным, весть передалась. Сразу разноцветной волной прилила толпа. Зорко глянула из-под черного клобука мать Евстолия. И в воротах остановилась, высокая и важная. Не спеша повернулась к иконе, над воротами прибитой. Наземь в поклоне склонилась. Бабы в толпе захлюпали. А игуменья у подводы своей еще на все четыре стороны поясные поклоны отвесила. Лицо у ней, как на старой иконе. Строгое. Черными тенями двинулись за

ней монахини. Как игуменья сделала, все повторили. Четкие в синем воздухе весеннем, черные фигуры рождали печаль. Метнулась одна баба к монашкам с воплем звенящим:

— Матушки наши! Молитвенницы! Простите, Христа ради!

За ней другая. Еще звонче крикнула:

— Куды гонют вас от храма божьего?

Третья прямо в ноги лошади игумниной. И петуха из рук выпустила.

— На нас не посетуйте! Богу не пожальтесь!

Заголосили истошным воем. Отозвались десятки режущих женских воплей. С улиц на плач прохожие метнулись. Конный солдат с пакетом на всем скаку лошадь остановил. Застыл в любопытстве. Торговка Филатова тележку с пирожками бросила. К нему ринулась.

— За что над верой Христовой ругаетесь? Покарат!.. Дай срок, покарат!

Задвигалась толпа. Визги женские всколыхнули. Загудели мужчины.

— Не дадим монастырь на разгром!

— Кому монашки помешали? Кого трогали?

Юркий и седенький учитель бывшего духовного училища, староста церковный, к подводам вынырнул. Задребезжал старческий выкрик:

— Где же свобода вероисповедания? Свобода вероисповедания, правительством разрешенная, где?

Толпу подхлестнул:

— Правов нет!

— Лениuу жалобу послать!

— Произвол местиых властей!

— Богоотступники! В жидовскую синагогу никого не поселили. Жиды, христопродавцы!

— Ага! Да! В мечеть да в костел ие пошли! В православиый моиастырь подзаборииков поселили. В православиый... Ни в чей...

А «подзаборники» шумиой ватагой уж со двора высыпали. Круглыми глазами всех оглядывали. Весельем скандала упивались. Под иоги, как щеики бестолковые, всем совались. Гришка про тоску и побег забыл. Сияли серые глаза, и головеика с восторгом из стороиы в сторону покачивалась.

Чудно!.. Бабы орут, у мужиков морды красиые. А монашки чисто куклы черные иа пружииах. Туды-суды клаияются. Губы поджали.

— Ишь, изобиделись!

И, иабрав воздуху в легкие, полный задором буитующим, Гришка около игумеиьи прокричал:

— Сволочь чернохвостая!

Диким концертом бабы отозвались:

— Над матушками пащеиок ругается!

— Молитвеииицу иашу материт!

Смяли бы Гришку. Но часовой его за шиворот схватил. К стеие моиастырской отбросил. А сам только очухался. На скандал загляделся было. Другой тоже оправился и во двор крикиул:

— По телефону скажите! Наряд иужио!

Но шум уж разиесся по городу. С разиых коицов мчались коиные.

— Расходись... Расходись...

— Граждане, которы не монастырскн, назад подайтесь... Назад!..

Монашка одна внзгнула н наземь кннулась. Конный к ней метиулся.

— Подсадьте матушку иа подводу... Под бочок, под бочок берись. Кладн... Гражданка нгуменьша, иа подводу пожалыте. Подмогнпте! Проводнте!

Смешливый стекольщнк, в толпе застрявший, загоготал:

— Ишь ты! Ухажер воениый подсыпался.

Живо подхватили:

— Гы-гы... Га-га... И моиашкам хотнтся с кавалерамн-та.

— Хотнтся с ухажерамн пройтнться... Ха-ха-ха...

— Лешакн окаяниые. Хайло-то распустили. Матушки наши! Печальницы!..

— Ы-ы-ы... Еще иа копеечку, тетеиька, поголоси, советску десятку отвалю...

— Охальиики! Кобели проклятые!

— Ах, не выражайтесь, пожалуйста. Пойдем, Маня.

— Гы-гы-гы... «Пойдем, Маня». Фу-ты ну-ты, ножки гнуты... Юбка клош, кармаи на боку... Барышии-сударышни!

— Глянь-ка, глянь-ка, моиашки добро укладают.

— Ишь, стервы, вышли с узелками. Убогие! А позадн сундуки тащат.

— У нгумеиьн в подполье чугун с золотом иашли.

— Сто аршнн мануфактуры!

— Какие мученицы, подумаешь! Не на улицу выгоияют. Молиться и поститься и там можно. Правда, Вася?

— Я, как коммунист, губнсполком одобряю.

— А я не коммунист, ио тут я их понимаю. Детей девать некуда. П-а-нимаю.

— Зиамо, околевать ребятам-то, што лн? Им тут покои да послушницы, а дети под заборами.

— Которы сироты... В пролубь их, што ли?

— Ну-иу, расходись... Граждаие, граждаие! Осадите!

Монашки юбки подобралн. Суетлнво вещн укладывали. Икоиописность свою потерялн. Толпа гудела. Сочувствие моиашкам в разговорах сгасло. Гришка от стены тихонько отделился н в толпу шмыгиул.

III

Вот один мужик иа станции про себя рассказывал, сколько ему по разиым городам шманяться пришлось. И говорит: «Планида у меня такая беспокойная». Гришка тогда засмеялся. Со всеми вместе, а ие поиял. А теперь вспомиил, к себе примеиил:

— Плаиида у меня беспокойиая.

Сейчас, к слову сказать, ребятам там «бутеиброты» с чаем дают, а Гришка по улице ходит да слушает, как в животе урчит. Назад туда неохота все-таки. Да брюхо-то иесговориое. Деиь протерпит, два, а там и замает человека. И припасы — ау! Все изничтожили. Шестеро их иа кладбище прячется. Пятерых Гришка сыскал, которые склад губиаробразовский с кучером обво-

ровали да из приемника сбежали. Ну, на кладбище на ночевки пристроились. Деньги у тех-то были, да и Гришка с себя рубаху да штаны верхние продал. Пальто казенное на худенькое сменял. Придачу дали. Все проели. Днем по городу канючили без опаски. Кому надо искать? Новых ребят каждый день приводят. Разве на плохого человека попадешь, привяжется.

— Кто ты есть? Откуда?

А хороший пройдет себе по своим делам, куда ему полагается. И не посмотрит!

Нынче день плохой выдался. Гришка у советской столовой стоял, никто билетика не дал. В детской, когда без карточек, с тарелок доедать дают, а нынче погнали. «Рабкриину» какую-то ждут. В один дом сунулся.

— Подайте, Христа ради... Отца на войне убили, мамка от тифу в больнице померла.

Взашей вытолкали.

— Иди, говорят, у комиссаров своих проси. Развели вас, пусть кормят.

Дивится Гришка.

— Дак нешто нас комиссары развели? Отцы да матерья. А к им подбросили. Ну, дак, говори с дураками! А есть охота. Столовые уж закрывают. Эх ты, незадача какая вышла!

С горя дал башкиренку — тоже у столовой стоял — по уху, а тот ловкий. Кулаком в живот. Охнул, отдохнул да дальше пошел.

— Товарищ... дайте на хлеб...

— Пшел с дороги. Сколько развелось, и мор не берет.

— Ишь, пошел, порфельчиком помахивает! Скупяга толстозадая!

Мальчишка папиросамн торгует, к нему подошел.

— Почем десяток?

— Провалнвай, шпана! Эдаки папиросы не тебе курить.

Грншка глаза прищурил.

— Ох, какой зазнáнстый! А може, у меня десять тыщ есть.

— Есть у тебя десять тыщ, других оммáнывай. Ну-ка, покажн!

— Стану я всякому показывать. Може, н побольше было.

— Были да сплыли. Проходи, проходи, а то в морду дам!

— А ну, дай!

— И дам!

— А иу, попробуй!

— А попробую!

Встали посреди панели и друг на друга иаскакивают. А тут барыню какую-то ианесло:

— Это что такое? Ты торгуешь, мальчик?

А у того папироскн-то в ящике в руке. Сдуру-то и суиься:

— Высшего сорту. Сколько? Десяток?

А она его за рукав:

— Пойдем-ка в милицию. Приказ о детской спекуляции читал? Неграмотный? К родителям сходнм.

Тот упирается, а она тащит. А Гришка, понятно, драть. Чуть не влопался. Ладно, баба сырая, а то обоих бы захватнла. Ну, денек!

А денек уж сгасал. Печальным, серым стало небо. Одна полоска веселая, розовая осталась. Да не греет. Люди в дома заспешили. Ветер злее задул.

Путаются ноги одна за другую, а делать нечего. Поплелся на кладбище. Между вокзалом и городом, на пустыре оно. Стенами каменными огорожено, а калитка не запирается. Деревья на нем сейчас от ветру скрипят. И снег не весь растаял. Студеные ночи бывают. Но в яме у них, в углу меж двух стен, потеплее. Два раза осмелели: костер жгли. Но часто нельзя. Дознаются.

Пришел Гришка со вздохом, а там радость ждала. Ребята пищу «настреляли» и Гришке оставили. Две девчонки от сытости песню тихонько заиграли. А они, мальчишек четверо, друг другу про день свой рассказывали. В яме сидели плотно. Тесно, а лучше. Теплее, да и по ночам не страшно. А то ночью на кладбище жуть сходила. Когда ветер шумит и темно — лучше. А когда месяц на небе выпялится и тихо кругом — страшнее. Далеко собаки пролают. Там, где живые. А здесь тихо. Одно слово — могила. Чудится, затаился кто-то и рот зажал, чтобы не дышать, а сам смотрит. Из ямы выглянешь, кресты месяц освещает. Все кресты да памятники стоят прямо, застыли. Тоже будто затаились, а грозят. Сегодня ночь темная, ветреная. Ветром живую жизнь от города доносит. Васька конопатый, как сытый, всегда рассказывает. И нынче начал. Девчонки тоже замолчали, слушать стали.

Разговор зашел, что, бывает, живых хоронят. Васька н рассказ повел:

— А вот я вам, товарнщи, расскажу, какой случай был. В одиом городе... Ну, дак вот, барышия одиа так-то... Не то реалнстка, не то емназистка... Прншла ето домой да «ах, ах»... да «ах, папаша, ах, мамаша, помираю». Дрык-брык, да иа пол упанула. Мамашка ето к ей, папаша к ей, а оиа «помираю да помираю». Ну, канешио, сичас за дохтуром. Дохтура привезли. Вот так н так, господии дохтур, памирать хочет. Дохтур ее вызволять. Ну, канешио, н квасом и шнколатом, а она, «нет, нет, помираю». Дрыг-брык, и ие дышит. Ну, дохтур уехал, канешно. Маменька это повыла, повыла, да в гроб ее обрядили. Ну и схоронили. Вот эдак же иа кладбище. Оиа, канешио, там лежала, лежала, да давай шебаршиться. Слушает сторож, шебаршится! Слушал, слушал да к отцу с матерью барышниным. Они людей понабрали, могилку разрыли, а оиа уж вдругорядь померла, канешио. А, видать, шебаршилась. Ножку одну, вот эдак под себя подвериула. И говорит тогда дохтур: с ей был листаргнческий сои. И в газете так пропечатали. Я тогда маманьке с папаинькай своим приказал: меня не хороинте, пока я не прокисиу и ие протухиу. Да-а.

Ребята слушали, затаив дыхаиие. А как коичил, Полька-дура завыла: «Боюсь».

Грншка ее урезонивал:

— Дура, чего воешь? Набрехал все Васька.

А Васька божится:

— Ей-бо, лопни мои глаза, в газете было пропечатано. Не то реалистка, не то емназистка.

Петька, старшой, сам паршишка,— ровесник Гришкин, а строгий. Командир здесь. Он прикрикнул:

— Реви, реви, кобыла. Сторож услышит, он те пострашнее Васькиного покажет. А ты, пустобрех, заткнись!

Васька обозлился:

— Ишь ты! «Заткнись»! Я, што ль, в газетах печатал? А вот как дам тебе бляблю хорошую, так поверишь.

В это время в лесу: бах-бах! За стеной кладбищенский лес сразу начинался.

Дети затихли.

— Стреляют,— прошептала Анютка.

Тихо сказала, но страха в голосе уж не было. Не в первый раз они выстрелы слышали.

Гришка в темноте деловито брови нахмурил.

— Это которых на расстрел. Контрреволюционеров.

— А пошто?— Полька пискнула.

Петька отозвался:

— Вот дура. Который раз тебе говорю: супротив Советской власти которые.

Завозился молчаливый Антропка:

— А я боюсь, когда человеков стреляют. Больно.

А в лесу опять: бах-бах! Затаились. Слушали с любопытством. Мертвых боялись, а смерти еще не знали. И не пугала мука тех, в кого бахали. Антропка только задрожал. Он войну в своем селе видал.

У него сердце в комочек захватило. И тоскливо, слезы проглотив, тихонько сказал:

— В тюрьму бы их лучче.

Петька презрительно сплюнул:

— А который подлец бесконечный, сам сколько поубивал. Его как?..

— А в тюрьму его...

— А он убегет, да опять убьет.

— А солдатов к ему приставить, он не убегет...

— А он солдатов убьет.

— А у него ривольверту нету, не убьет...

Крыл Петьку. Подумал — и сказал только:

— Ты дурак, Антропка!

А Гришка ничего не говорил, а думал.

«Как в их стреляют, жмурят они глаза али нет?»

И увидал вдруг словно: жмурят. Сердце, как у Антропки, защемило.

Затихли выстрелы. Дети выжидали: не будет ли еще? Не дождались. Пришел сон, веки смежил и всякие мысли отвел. Антропка только во сне взвизгивал тихонько.

Утром, как солнышко обогрело, все стало живым и радостным. Тьма скрылась и тоску с собой унесла. За стеной кладбищенской в губчека и в расстрел играли. Петька председателем губчека был. В одной руке будто бы револьвер держал, а в другой из пулемета стрелял. Польку с Анюткой расстрелять водили. Антропка с Гришкой расстреливали. Гришка весело командовал:

— Глаза жмурьте! Жмурьте глаза!..

В звонких детских криках не было ни кощунства, ни жути, ни гнева. Они в просто-

те жизнь больших воспроизводили. А солнышко грело жарко. Будто лаской своей обещало: новую игру еще придумают, эту забудут.

День веселый удался. Парижскую коммуну праздновали. В детской столовой без карточек кормили. Кладбищенские жильцы в близкую очередь попали и покормились. А потом по улицам с народом за красными флагами ходили. «Интернационал» пели. На площадях ящики высокие красным обтянули. На них коммунисты руками размахивали и про Парижскую коммуну что-то кричали. Один Гришке больше всего поглянулся. Большой да кудлатый, орластый. Далеко слышно! По ящику бегает, патлами трясет, а потом как по стенке ящика ударит кулаком:

— Шапки долой, буду говорить о мучениках коммуны!

Здорово и ятно рявкнул. Гришка слова запомнил, а потом сам в толпе кричал:

— Шапки долой, буду говорить о мучениках коммуны!

Около бабы какой-то закричал, она ему затрещину влепила.

— Свиненок, вопит без ума! Кака така коммуна-то — не знает, а орет!

Гришка голову, где влетело, погладил и дальше радостный помчался. Как не знает? Знает. Коммуна — это у коммунистов, а Парижеска... Город такой есть. За Москвой где-то. Слыхал еще в детском доме: «большой город Париж, в его приедешь — угоришь». Нет, Гришка, брат, знает. И снова в буйном восторге заорал:

Сваею собственной рукой!

Народ опять остановился. Не то баба, не то барыня на ящике тоненьким голоском визжала. Что — не разберешь, а смотреть на нее смешно. Расходуется. Гришка ее тоже тоненьким голоском передразнил: и-ти-ти-ти! И дальше пошел. А из толпы пьяненький выскочил.

Пальто чистое, и шапка с ушами длинными набок, а на груди бант красный прилеплен. Худенький, щербатенький и глазом косит. А сам руками машет и орет:

— Товарищи, прашу вас апракинуть капитал!

Его за пальтишко хозяйка его, видно, ухватила, а он рвется к «ящику»:

— Убедительно прашу вас апракинуть капитал!

Подлетели к нему два конных и под ручки подхватили. В толпе захохотали:

— Вот те опрокинул капитал!

— И чем натрескался?— завистливо удивился хриплый бас.

Гришке новая радость. К кладбищу с криком звонким летел.

— Товарищи, прошу вас опрокинуть капитал!

Однажды ночью кладбище оцепили. Крупного кого-то искали, а нашли — Гришкину коммуну. И в призрачный час предрассветный, спотыкаясь спросонок, плелись малолетние правонарушители знакомым путем. Усталые красноармейцы ругались, но не били.

IV

После ночной отсидки опять в наробраз повели. Партию в пятнадцать человек. Три милиционера провожали. Старший всю дорогу кашлял, плевался и ребят отчитывал:

— Ну, какие из вас человеки вырастут, как вы сызмальства под конвоем? Навоз вы, одно слово!

— И на что вас рожали? Тьфу. Ну ты, голомызай, не веньгай! Биз тибе тошно.

А башкиренок косоглазый не понимал по-русски. Визжал и бежать хотел. Рябоватый милиционер ему винтовкой погрозил, потом за длинную рубаху взял и за нее за собой тащил. Тюбетейка в грязь упала. Старший поднял и набекрень ему ее нахлобучил. А башкиренок рвался в сторону и кричал. Неподвижным оставалось скуластое желтое личико, крик был скрипучий, но монотонный.

— Ига кайттырга ты-лэ-эм (домой хочу)!

Ворчал старший в ответ:

— Қатырга, катырга... Знамо, каторга. И вам, и нам с вами. А ты не скрыпи! Қоли тебе жизня определила каторгу, скрыпи не скрыпи — толк один. Навоз, как есть навоз! Не скули!

А башкиренок скулил. Как щенок, на которого люди впопыхах наступили. Проходящие на ребят оглядывались. Седой господин, с воротником и в нынешний теплый день поднятым, остановился. Головой покачал и громко сказал:

— Безобразне! Детей с винтовками провожают. Били, верно, малайку-то?

Старший к нему дернулся:

— А жалостливый, дык возьми к себе! Кажный день таскаем. Жалеете, а кормить не жалаете?

Господни возмущался. Дети дальше брели.

В наробразе, известио, в комнату по делам несовершеннолетних. А там уж на полу сидят. Стареиький делопроизводитель в бумагах заплутался. Мается и листочки со стола на пол роняет. Барышня с челкой завнтой в шкафу роется. Другая, постарше, со стеклышками на носу, шнурочек со стеклышек теребит и сердится.

— В губисполком всех отправлю. Куда хотят, пусть девают! Что это...

А в дверь еще с ребятами. Всякими. И в казениой одежде, и в одном белье, и в ремушках разиых.

В приемник Гришкину партию отправнли. Там сказали:

— Некуда. Не прнмем.

Назад прнвели. Старшнй сопровождающий плюнул и ушел. Двое другнх цигарки завернули н на пол иа корточкн прнсели отдохнуть. Гришку замутнло. И от голода, и от воздуха в комиате тяжелого. А больше от тоски. На пол сел, мутными глазами в потолок уставился, крепко губы сжал. Лицо стало скорбным н старым. А в комиату бритый, долгоносый, с губами тоикими вошел. На голове, острой кверху, кепка приплюснута была на самые глаза. Ступал твердо. Точио каждым шагом землю вдавливал.

И башмаки, чисто лапы звериные, вытоптались. Как вошел, на стул плюхнулся. И стул тоже в пол вдавил.

— Што? Навертываете? Все с бумажечками, с бумажечками? В печку все эти бумажки надо. А ты, башкурдистан, чего воешь? Автономию просишь?

Глаза узкие щурил и тонкие губы кривил. Над всем смеялся. Как говорил, руки все тер ладонями одна о другую, ежился, ноги до колен руками разглаживал. Весь трепыхался. Смирно ни минуты не сидел. Каждый сустав у него точно ходу просил. Дела.

— Подождите, товарищ Мартынов,— затянула жалостно старшая барышня.— Всегда вы с шумом. Вот голова кругом идет. Куда их девать?

— Сортиры чистить, землю рыть... Куда? Место найдется. Эй ты, арба башкирская. Долго еще проскрипишь?

И похоже передразнил:

— И гы-гы-гы...

У башкиренка глаза высохли. Губы в усмешку растянулись. И скрип свой прекратил.

— Ну, так, барышня, как? Все бумажечки, бумажечки? По инструкции, с анкеточками?

И опять ладони одна о другую.

— Десять этих барахольщиков я у вас возьму. Десять могу.

— А вот хорошо, товарищ Мартынов,— обрадовалась старшая.— Мы вам сейчас отберем. Тут есть такие, у которых дела уж рассмотрены.

— Я сам отберу. У меня своя анкета.

И к ребятам со стулом поверииулся. На белобрысого высокого мальчншку взглядом уперся.

— Эй ты, белесый! Воровать хорошо умеешь?

Тот скрасиел и затормошился.

— Меня занапрасну забрали. Это Федька Пятков украл,— а я...

— Врать хорошо умеешь. А драться любишь? Врукопашиую илн с ножиком?

— Нет, я не дерусь.

— Не дерешься? Дурак. А ты што прозеленел?

Это Гришке он.

Гришка гляиул, как он на стуле вертелся и руки одна об другую скоро, скоро шваркал, н засмеялся. Вспомнил:

«Обезьяиу эдакую беспокойиую в зверннце видал. Похоже. И руки длииные, и мордой чисто дразится».

— Что смешио? Рожа-то что у тебя зеленая?

Грншка иосом шмыгнул н в ответ:

— Прозеленеешь. Не пнмши, ие емшн, с утра тут!

— Не привык разве без еды?

— Привыкашь, привыкашь, а все брюхо ноет.

— Из тюрьмы, што ль, бежал?

— Какая тюрьма? Я малолетний. Из моиастыря бежал.

— Постришку уж делалн? Это, друг, у иих ие монастырь, а меди-ко-пе-да-го-гический городок зовется. Сукины дети — прндумают? Што же ты бежал?

— А так. Неохота там.

Старшая барышня учеиые глаза сделала и сказала:

— Дефективиый. Очевидио, категория— бродяжников.

— Вот и под пункт тебя подвели. Умные! А звать тебя как?

— Песков Григорий.

— Ага. Ну, так, Григорий Песков. В тюрьме, говоришь, не сидел?

— Как не сидеть! Сидел. Сколь раз. А только как теперь не полагается. Малолетних правоиарушителев устроили.

Захохотал иегромко, иутром, и лицо человеческое стало — не обезьянье.

— Слышите, товарищ Шидловская, правоиарушителев устроили? Ха-ха-ха. Сортиры чистить будешь?

— Дух от их иехороший. А иадо, так буду.

— Ну, ладио. Со мной поедешь.

— Куда?

— Там увидишь.

— Скушио будет — убегу. И через часовых убегу,— со злым задором Гришка кииул.

— У иас часовых иет. Беги. А плохой будешь, так и сами вышибем. Под задинцу коленкой! Нам барахла ие иадо. Этого беру.

И других ребят с усмешкой выспрашивать стал. Смирных да ласковых ие брал. Трех девчонок отобрал, шесть мальчишек да башкиреика скрипучего.

— Через три дия иа вокзал приходите, а завтра здесь ждите. Для тела покрышку иайдем.

— Так ведь их иадо куда-нибудь устроить, товарищ Мартыиов, иа эти дии. Нельзя же их без надзора.

— Как же! Гувернантку им с французским языком приставить надо. Парле франсе, Григорий Песков!

Почти все ребята засмеялись. Даже башкиренок. Морду больно хорошо скроил Мартынов.

— Вы всегда с шуточками, товарищ Мартынов. Даже раздражает! Вы не понимаете, что они сплошь дефективные...

— Как не понять! Наркомпрос разъяснил в инструкциях все как следует. Накормить их, барышня, надо да на работу, камни ворочать! Ну, вот что, которых отобрал, пойдемте продукты получать!

— Ну, слушайте, это же безобразие! Надо же список хоть на них составить, потом выяснить, куда их на эти дни определить, охрану вызвать, чтоб до места проводить.

— Насчет списка навертывайте, как хотите, если писать больно любите. А охрану не надо. Я их к себе на квартиру возьму. Айда, продукты получать!

— Да ведь они у вас все разбегутся!

— Убегут, в дураках останутся. Опять в ваш медикопедагогический монастырь попадут. Пишите список. Ребята, сейчас за вами приду, пойду снабжение пощупаю.

На ходу мазнул рукой Гришку по голове и ушел. Гришке отчего-то радостно стало. Длинная рука ласково по голове прошлась. И подумал Гришка:

«Этот ничего. Мужик стоющий».

Никто из десяти не убежал. Не три дня, а неделю прожили с Мартыновым в его маленькой комнате под вздохи квартирной хозяйки. Но вздохи эти слышали только в

первый день, когда к вечеру пришли. В остальные дни возвращались поздно. Ко сну сразу. Целые дни гонял их Мартынов за получениями во все концы города. В одном месте посуду достал, в другом мануфактуру, в третьем крупу. Потом в теплушку грузили ящики со стеклом. С кучером Николаем на заимку за коровами ездили. Отовсюду собирал в колонию, как хозяин домовитый, Мартынов. Лазейку нашел во все склады, для других замкнутые наглухо. У председателя губчека, к улучшению жизни детей свыше приспособленного, в кабинете часы стенные для колонии снял. И все на ходу потирал ладони одна о другую. Над всеми посмеивался. На ребят покрикивал:

— Эй вы, барахольщики, что брюхо распустили? Навертывайте, навертывайте. Башкурдистан, с Николаем воду носи! Скот напоить надо.

И понимал башкиренок русскую речь по жестам живым. Летел во двор с гортанным криком.

Гришка ожил. Главное дело — весело. Сколько народу за день переглядишь.

Высыхает уж земля. От деревьев дух сладкий, весенний пошел. Солнце тороватое стало. Почти весь день греет. Дождик, если пойдет, так радостный. Только умоет, и опять допустит солнышко все обсушить.

Бегать легко! В первый же день, как из наробраза вышли, в парикмахерскую их Мартынов повел. Головы всем обрили наголо. Даже девчонкам. Потом в бане отмылись и в штаны короткие обрядились. И девчонки. Чудно! А ничего, привыкли. Одежда

легкая. И не хочешь, да скачешь в ней. Штаны до колен, рубашки без воротников и рукавов.

Дорога вся в колонию была для Гришки — как первый сон чудесный.

В двух теплушках ехали. Худых коров и лошадей вместе с собой везли. На остановках убирали за ними. Воду носили. Широко расставив ноги, Мартынов воду качал. На ребят покрикивал. Во время хода поезда с ребятами про них разговаривал. Не расспрашивал, а все сами про себя наперебой ему рассказали. Гришке он сказал:

— Родителей нет — это, друг, хорошо. Родители — барахло! Мать юбкой над сыном трясет, сын бездельник выходит. Родили — и ладно. Сам живи.

— Да, а милиционер говорил: вы — как навоз.

— Навоз — хорошо. От навоза — хлеб хороший будет. Ну, ну, друзья, коров на этой остановке подоим. Молоко пить будем. Молоко — это хорошо.

Мяса не ел, над ребятами смеялся:

— Барбосом закусываете? Зажваривайте, зажваривайте.

Гришка визжал от восторга:

— Это говядина, не собачатина!

— Все равно. Один черт. Барбос! Вот молоко хорошо. Это, друзья, хорошо!

В одной теплушке Мартынов верховодил, в другой кучер Николай. Вот и вся охрана. Ребята менялись. То одни с Мартыновым ехали, то другие. Сами очередь установили, какой пролет кому с кем ехать. На душистом сене валялись. Песни пели, кто

какую знал и хотел. Лучше всего у башкиренка вышло. Слова непонятные, не запомнишь. А похоже, что выходило:

Ай дыи бинды дыиды биида.
Ай дыи бинды дыиды бинды.

Чудно! Пять раз пропел. Ребята просили. Глаза закроет, ножки под себя крест-накрест, качается и поет. Хорошо! Еще пять раз Гришка слушать готов.

В широко открытые двери теплушки вольный ветер степной, духовитый врывался. И буйную радость с собой приносил. Гришка криком, визгом, прыжками восторг свой в степь посылал. Для него мчится этот поезд. Для него паровик ревет. Первый раз так почуял: все Гришкино, все для него! И кричал в открытую дверь во всю силу легких:

— У-гу-гу-гу-гу!..

Вечером, когда кругом прохлада легла и тихонько быть захотелось, молоко пили. Теплое парное молоко. Сами надоили. Ух, и молоко! Да разве расскажешь? Первый сон чудесный разве расскажешь? Ну, как расскажешь, как сами лошадей из вагонов выводили, сами телеги запрягали? Как темной ночью по лесу незнакомому ехали. И сладкой жутью лес обнимал. Как в сказке!

V

Гришка через озеро громким голосом горы спрашивал:

— Кто была первая дева?

Горы отвечали:

— Ева-а!

Смеялся Гришка.

— Ишь ты, каменюги, разговаривают.

И снова, грудь воздухом подбодрив, орал:

— Хозяин дома-а?

Горы сообщали гулко и раскатисто:

—... Ома-а!

— Эха это называется. Ха-ар-ашо!

Во всем здесь жилки живые трепещут. Все на Гришкин зов ответ шлет. Не в городе. Там собачонка лаять может, а молчком норовит укусить. Дома не подхватят голос человеческий.

Радостно на камне стоять. Солнце еще раскалиться не успело, а камень теплый. Вчерашнее тепло за ночь не растерял.

Волны на камень несутся. Ровным голосом тянут:

— У-у-у-х... у-у-у... у-х.

Одна большая нарастет. Разбахвалится. Голоса всех прежних покроет и раскатится.

— У-ух-ху-ху-у-у!..

И Гришкины босые ноги обольет. Они все в царапинах от камней и кустарников. Как солнышко обсушивать начнет — саднит. А хорошо!

— Дери, матушка-вода, отмывай.

Штанишки короткие долой. Рубах не носят мальчишки в жаркие дни. И в воду. Охватила, прильнула, и опять кричать охота. С волнами, с небом, с лесом, с горами, с птицами, зверями и человеками говорить.

— Го-го-го-го!

А с горы ребячий отклик несется.

— Песк-о-ов! Гришка-ка горласт-а-а-й!

И трое, по пояс голые, в штанишках ко-

ротких, с горы несутся. Ногами камни с крутого спуска сбивают. Впереди всех Тайчинов. Башкиренок, с которым вместе Гришка сюда приехал.

Голову набок и, как лошадь степная, ржет. Потом прыжком, по-звериному легким, с последнего уступа к Гришке на берег.

— Рожка трубить скора нада! Зачим пирвый драл? Работать ни будишь, исть рази будишь?

— А я-то не работал? Магомет прилипучий! Раne всех воду из бочки носил, молоко мерил. Ты глаза-то не разлепил?

— Ну латна, латна. Айда, башкой мыряй, глядеть хочу.

А сам уже в воде. Радостно визжал. Гришка послушно на песок выбежал. На руки вниз головой стал, в воздухе ловко перевернулся. И в воду головой.

Тайчинов восторгом захлебнулся:

— Баш... кой мырят! Башкой! Уй-уй-уй!..

Синеглазый полячонок Войцеховский тоже «башкой мырнул». Белым, будто хрупким, а сильным тельцем в воздухе сверкнул.

Степенно в воде пофыркивал крепкий плечистый хохол Надточий и вдруг басисто рявкнул:

— Ого-го-го! Оце ж так озеро! Всем озерам озеро-о!

Озеро хорошее. Ныне синее, радостное. А когда с утра дыбом встает. Сердится и белой пеной отплевывается. А само серым станет. И всегда шумит. Морю шумом не уступит. Когда тихое, чуть не до дна всю жизнь озерскую разглядеть дает. Какие-то тут приезжали со снарядами всякими. Озеро

вдоль н поперек мерилн. Ребят с собой в лодку по очередн бралн. Так вот эти говорнли по-учеиому: вода в нем радноактивная. Ребята с гордостью друг другу передавалн:

— В иашем озере вода радиоактивная.

Большое озеро. Как нз лесу выйдешь к иему, шнроко н вольно сразу станет. Берега горамн вздыбнлнсь,—горами высокнмн, леснстымн. Облакам грозят. Но озеро не теснят. В чаще горной вольно колышется чистое. И лес озеру радуется. Березкн кланяются. Сосны и елн смолистый запах шлют. В лесу дома-дачн прячутся. А которые близко на берег выпялнлись. На крутизие иадбережной семь дач красуются. Колоиня детская. Отошла подальше от деревии и другнх дач.

Веселый берег у колоннстов. У прнстанн четыре лодкн качаются. И лучше всех белая парусная «Диаиа». На палках двух высокнх холстиия иадписью яркой манит:

«Трудом н зиаинем побеждена стнхня».

Любнл Грншка эту надпнсь. Как на лодке в прнстань возвращался, всегда громко чнтал:

— «Побеждена стнхня». Во-о!

Слово-то какое! Стихня. И не объясиншь, а как услышншь — богатырем охота стать. И озеро — стнхия. Оттого н шумнт.

Весь берег каемкой разноцветной у воды украснлся. Круглымн, серыми н белымн камешками и песком золотым на солице. В одном месте нз лесу большой старый пень выступнл. Детн на нем голову старнка в красиой шапке разрнсовалн. Красками разными. И глядит пень, как живое

лицо старинковское. Только бородой белой не трясет. А то прямо живой! Вон, с берега глядит.

А на круче, как зверюга лесной, только без шерсти, голоногий Мартынов. Тоже в коротких штанах, как ребята, и в сетке редкой до пояса. Шел и камни на круче вдавливал. Издали гудел:

— Эй, вы! Интернационал чумазый! Проплескались? Будить других пора. Скорее! У меня чтоб — хны!

Четверо мальчишек на разные голоса отозвались:

— Хны!.. Хны!.. Хны!.. Сергей Михалыч, хны!..

Никто в колонии не знал, что это слово значит. А у Мартынова оно все. Хны — хорошо, хны — плохо. Хны — быстро и ловко. Что хочешь. И только в колонии Гришка от него это слово услыхал. В городе не говорил. Это мартыновское здешнее слово. Для своих.

Гришка первым в кухню примчался. Сегодня Гришкина компания дежурит. Восемь человек. Четыре девочки на террасе сейчас хлеб раскладывают. Ух, и обед сегодня будет! Вчера сговорились кашу манную по-новому сварить. С тыквой. Сами ребята готовили, сами и обед придумывали. Состязались дежурные компании каждый день. Кто лучше накормит. Хлеб не навыкли еще печь. Пекарка была. А остальное все сами. Дрово вон гора на день наготовлена! С вечера рубили. Гришка лихо и скоро колол. Мартынов увидал, рожу скронил и руки потер.

— Ага, Песков — хны!

Весь вечер Гришка похвале радовался.

Ну, сейчас все готово. Молоко, кипяток. Хлеб девчата разложили.

И певуче, ио властио запел рожок:

— Ту-ру-ру-туру-ру-туру.

Берег скоро усыпало. Разиоголосые, разиоголовые, сииеглазые, чериоглазые,— всякие. Мылись, плескались, барахтались. Крякали, ухали мальчишки иа своем купальном месте. У пристаии девочки купалнсь. Визжали тоико, проннзительно. Но были стриженые, легкие в прыжках. На мальчишек походили.

Второй раз запел рожок.

С озера гомон в дачи хлынул. Девчоики белыми безрукавками замелькалн. Голые торсы мальчишек солицем золотились. Мчались все на террасу-столовую, как на приступ.

Махонькая черноголовка-девочка прозвеиела из толпы:

— Дежурные, чай пить идем.

Гришка, в сером халате кухоииом, с террасы закричал:

— Эй, эй!.. Я стих составил. Слушайти-и:

Рожок поет,
Чай пить зовет!..

Надточий в ответ рявкнул:

— Не чай, а кофю...

Мартынов тут как тут. Морду скронл и, как дьякон в церкви, пробасил:

— Я без чаю ие скучаю, кофю в брюхо наливаю. Графья, ие хотнте ли кофею?

Смех волной все кругом покрыл. А Мартынов уж на дворе у склада.

— Кто лукн разбросал? Хиы! Эй, раззявы, прислужииков нет. Петруха Федяхин,

ты вчера в ночное ездил? Еще кто? Опять скачки устраивали?

Расставив ноги, в землю у склада врос. Завхоз около него тонкие губы поджимал. Жаловался.

— Кучеров не велите нанимать. Николай все в отъезде больше. А это какие хозяева? Перепортят весь скот. Одна слава, что работники!

— Работники — барахло! Научатся. Песков, чего иноходцем с кипятком скачешь? Не видишь, из чайника льется. Хны!

А Песков Анну Сергеевну увидал. Идет высокая, беленькая, тихонькая. На ребят уголком рта дергает. Это улыбка такая у ней.

Ничего и никого Гришка раньше не любил. Все все равно. А в колонии всех полюбил. Анну Сергеевну больше всех. Как солнышко она. Горы, озеро, лес — хорошо! А солнышко лучше всего. Почему она солнышко? Так. Не знал Гришка. Только, как посмотрит, все кругом еще краше станет. Как вместе дежурили, таз с помоями с ней, как икону, нес. Мартынов два раза заприметил. Крякнул.

«Растет, мерзавец!» — подумал и «хны» сердито сказал.

Но потом пригляделся. Весна у Гришки. Здоровая, чистая. Нет хватанья и мути во взглядах. Вся короста шелудивая, от прежних скитаний, отсохла. Нет следов. Здоров. И прояснился.

— Григорий Песков, хны!

Смотрел и за другими зорко. Были с девчонками взгляды нежные. Лысяева Нюрой большой ребята поддразнивали, но не было

мутиого вожделения, раио созревшего. К девчоикам привыкли. Прикосновеиия ие обжигалн. Не было того, что в городах в детских домах часто случалось. Сам днвился.

— Вот оиа мать-природа н труд! Вылечили. Сколько город иа этнх детей иалепнл иечистот. Отмылись. Как надо, как здоровое растут.— Морду скроил, по иогам себя ударил и мыслью закоичил: «В свое время хороший приплод дадут».

Терраса широкая гудела. Вся колоиия здесь. И дети, и воспитателн, н кучер с пекаркой, и прачка со швеей. Взрослых не сразу найдешь. Девять их только в колоннн— н сотня детей.

После чаю все в разиые стороиы партиями рассыпались. Одиа партня в лес грнбы собирать на зиму отправилась. Лошадь с телегой тихо по дороге шла. Ребята в траве кувыркались. Тоненькнй, легкий, стройной сосеике родня, татарчоиок впереди дорогу иа грибное место указывал. Первый ходок в колоиии. Все места знал. На ночевку в лес одии раз за семь верст ходнли, одеяла забыли. Сбегал — одеяла приилес. Потом целый день с охотииком за птицей вприпрыжку без устали ходил. И сейчас шел, точио крылья за спиной помогали. Вдруг остановился и закричал:

— Место! Айда!

За работу приинялись.

Другая партия на лодке с песиями отплыла. На тот берег за рябииой ярко-красной. Еще мороз ие хватил ее. На сушку иабрать надо. Озеро у берегов шумит, а посредине ни складочки. Ну, день сегодня!

Грншка в третьей партни. С большнми самымн, версты за трн иа ферму, с песиями пошлн. Мартыиов с иими. Новую дачу отвоевал. Поместье целое. Там постройка шла. Колоннсты сараи строили, ямы копали, доски возили, камнн таскалн, киркамн камень долбнли. Упорно.

Ноги иа работе в кровь избнвали, а радость не сгасала от боли. Там Мартынов придумал оранжерею на зниму устроить.

В наробразе смеялись:

— Электрифнкацию в своей колоиии не затеваете ли?

Посменвался, руки потнрал, а заявлял твердо:

— Затеваю. Электрическую машину иа знму поставлю.

Дружио иад иим издевались. А машииу из губернского города, действнтельно, привез.

В наробразе дивились:

— Ну, хват!

А ребята говорилн:

— Мартыиов, это — хиы!

И когда Мартыиов рассказывал, как колоння на всю окрестность засветит, как разбросает три, десять, двадцать такнх колоннй кругом, детн верили. И по-другому смеялись. От радости. Как смеются, когда дух захватывает.

Гришка думал:

«Всяких людей видал, а этакого нет. Рвач!»

Дети в колоиии всякие были. И от родителей бедиых взятые. С копей. И сироты из детскнх домов. И правонарушители, как

Гришка. Только хилых и больных Мартынов не брал...

...Ходу здоровым! Вор, мошенник — давайте. Коли тело здоровое, выправится.

Не все выправлялись. Где-то прочно внутри заседала гниль. Томились в обстановке постоянного труда. Отставали в работе, хмуро смотрели после. Кроил гримасу Мартынов и в город назад их отправлял.

Воспитателей много назад угнал.

— Инструкции пишите,— это у вас хорошо выходит.

Барышня одна беленькая, красивенькая приезжала. Рисованью обучать хотела. Все цветочки рисовала и платочки на голове по-разному повязывала. Один раз после бани повязала, на икону похоже.

Гришка, как увидел, громко запел:

— Богородице деву радуйся!

И прозвали ее «богородицей». А если оденется, как все воспитательницы, в штаны широкие и рубашку, то на шее золотая цепочка с побрякушкой болтается, на руке браслет. Ребятам смешно. Ехать куда подальше соберутся, все спрашивает:

— А дождя не будет?

Тайчинов визжал:

— У-уй... Страшна! Размокнит.

Ходить долго не могла. Раскисала. Один раз устала и ребят попросила нести себя. А ребятам что? Руки сплели, посадили. А она улыбки, как подарочки, во все стороны.

Мартынов увидел и рявкнул:

— Николай! Утром на станцию Клавдию Петровну увезешь. Ее в город надо срочно доставить.

И увезли.

До обеда все в разных местах работали. После обеда в колонии. Кто белье себе стирал, кто двор убирал, кто с плотниками работал. Работу свою кончив, в библиотеку шли. Книжки читали. Но читающих мало было. Не тянула книга. Еще мертвыми слова книжные казались. Картинки любили смотреть. В шахматы и в шашки резались. Перед вечером до темноты играли около Дома культуры. Так дача называлась, в которой библиотека и зал собраний были. Играли в баскетбол, в городки, в лапту. После ужина пели. Иногда рассказы слушали. Иногда плясали. Пели Гришкин любимый «Интернационал» и русские песни проголосные.

У одного воспитателя голос хороший был. И у Нюры-большой. Ух, и пели! У Гришки в горле щипало и мурашки по телу ходили. Рассказы были хорошие и похуже. Слушать не заставляли. Гришка один рассказ больше всех любил. Как целое государство от голода на новые земли пошло. В горах крупных поселилось; и был у них стрелок один. Яблоко с головы у сына сшиб. Вильгельмом Теллем звали. Ух, хорошо! Кабы, говорит, не сшиб,— другая стрела для тебя припасена. Это правителю он. Вроде царя который.

И казалось Гришке, что все это в их горах было, где колония. И озеро тут... Все похоже. Из книжек тоже читали. Про Тараса Бульбу больно хорошо.

Но сам Гришка, как и большинство ребят, читать не любил. Живая жизнь книжку заслоняла. После ужина время минутой одной пролетало. И хоть уставали за день, но,

когда кричал Мартынов: «Спать, спать»,— уходить не хотелось. Но он, посменваясь и руки потирая, выталкивал всех из Дома культуры. По дачам рассыпались. На постель сразу плюхались. И сразу сон слетал. Легкий, без виденнй печальных. И тут мальчншки охальннчалн спервоначалу. А теперь не видал Гришка. Главное дело — целый день ие прнсядешь. Постель сразу успокоит.

А лето деиь за дием иа иитку иаинзывает. И конец скоро его нитке. Солнышко сдавать стало. Заиедужило. Погреет, погреет, да и отдыхать спрячется. Паутинки меж деревьев затрепеталн. Листья перед смертью позолотой стали покрываться.

О мартыновской колонии разговоры пошли. Из города смотреть приезжали, ие хвалили.

Одна комиссия сказала:

— Образовательной работы нет. Слишком миого тяжелого фнзического труда. Вредно в этом возрасте.

Мартынов дергался, рукн потирал и похохатывал:

— А вам бы для картнночки только работать? Дальше танцуйте, дальше от иас. Здесь свое образование. Зима придет, за киигу засядут. Сейчас некогда. Работать иадо, чтоб зимой не сдохиуть. Зимой детские дома закроете, а мы выживем. Больиых у меня вндалн? Хны!

Московская одиа баба, худая, рыжая, приезжала. Подкормиться послали, а между прочим по делу. Все везде нюхала и губы поджимала:

— Здесь моральио-дефективиые есть. С иими работы отдельиой ие ведется.

Мартыиов по ляжкам себя хлопал и опять смеялся.

— Вы киижечку об этом иапишите. Нам иа подтирку пригодится.

И вдруг свирепел:

— Воров из города привез. Где замки у иас? Только иа складах. А ключи у кого? У воров этих самых. Что пропало? На иочь в швейиой открытой всю мануфактуру оставляем. Что пропало? Ни двери, ии ворота ие запираются. Сторож — собачоика Михрютка одна. Вои правоиарушитель Григорий Песков. Всю Сибирь исколесил. Весь материый лексикои изучил. А теперь приглядитесь. Хоть в помойку вашу его отпустить — ие страшио. Правоиарушителей у меия миого. Укажите, которые! Ну, иу. То-то! Хиы!

Пожимала плечами москвичка.

— С родителями вы очеиь грубы. Бедиые матери повидаться приедут, а вы через деиь их гоиите.

По ляжкам себя хлопал и весело соглашался:

— Это — да. Матерей ие люблю! Барахолят тут. А ребятам барахолить иекогда. Да и сами оии с иими ие сидят. «Ах, мамашеиька...», «Ах, сыиочек». Это, товарищмадам, можио, когда гиидой живешь. А сейчас работай, сам себя спасай! Хиы!

Губы иадула и уехала московская. Ее тоже на работу потяиули было.

В полуверсте от колоиии дачи здравотделом заияты были. Курорт. Отдыхать советских служащих присылали. Барыни жир иа-

гуливали. Приходили и по колонии прогуливаться с кавалерами. Мартынов раз стерпел, два стерпел. Потом один раз из кухни в халате белом с поварешкой выскочил. Дежурил в этот день. И давай чесать:

— Что, бульвары тут для вас? Мадамы, не желаете ли посуду помыть? Нет? Так в калитку пожалуйте. Проваливайте! Барахольничать тут нечего. Жалуйтесь, жалуйтесь. В Совнарком телеграмму пошлите. Хны!

Еле калитку нашли.

А ребята картинку потом нарисовали. Забор свой решетчатый. На заборе у калитки Мартынов в образе медведя ревет. Внизу Михрютка лает. И подпись:

«Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок».

Сам Мартынов всегда в поисках. Книжек не читал, не рассказывал. Некогда было. Накрутит в колонии и в город за мукой едет. Потом лесу для колонии достает. Все в свой муравейник тащит. Затворки герметические для печек печники потребовали. К зиме колония готовилась. Нет затворок. Пошел сам с Николаем в пустых дачах у здравотдела вывернул. Начальство курортное в губернию жаловалось: дачи пустые, но ремонтировать будем, а он стащил. К ремонту здравотдел уже год готовился.

Мартынов бумажку из города получил.

— Хны!

И бумажку изорвал. Что с ним поделаешь?

Осень свою нитку до середины допряла. Березы облетели. Бор глухим, сумрачным стал. Насупилось небо. Злобно плакало про-

ливным дождем. Озеро больше не синело. Прочериело и с ревом берега било. Птицы улетели. Волка на пашне видели. В дачах печки протапливать стали. Мальчишки штаны длинные надели, девчонки — юбки. Курорт опустел. С гор ветер злой подул. В дачах пустых гулял. В колонии в крыши злобно бил. Сорвать хотел.

И не только дождь и хмарь с осенью пришли. Голод поближе к колонии придвинулся. Мартынов из города злой приехал. Своим «хны» не ласкал, а ругался.

На собранье детям сказал:

— Сколько есть муки, на месяц должно хватить.

Хозяйственная комиссия подсчитала и паек определила: без четверти фунт хлеба. Мяса не стало. Рыба из озера поддерживала. Но трудно пришлось ребятам. Работа тяжелая. Пашню пахали. Места мало было для пашни. Пни в лесу корчевали. На ферме работу заканчивали. Техник приехал электричество налаживать. Обрадовались, усталь забыли.

Гришка про Америку недавно услыхал, а теперь глазами засиял:

— Товарищи, на ферме у нас новая земля. Это — Америка. А в старой колонии Европа. Вот дак ух!

И ребята подхватили:

— Айда в Европу! Кто в Америке сегодня ночует? Чей черед?

Партиями с техником на ночь по очереди оставались. Вечерами одеяла стегали. И мальчики, и девочки. Надо было спешить. Вату поздно достали. Вторую швею привезли. Но швеи одежду верхнюю шили.

А ветер с гор все свирепел. С воем злобным в окна швырялся, выл в трубах. Скоро выстывали печи. Дров много надо нарубить и привезти. Сугробы лягут, не проберешься.

Деревня близко от колонии была. Совсем сникла. В деревне и летом хлеба не хватало. Ягодами, грибами, картошкой кормились. Картошка не уродилась. В хлеб кору прибавлять стали. Ребятишки голодные в колонию прибегали стайками. Как воробьи за крошками. Детский дом в деревне был. Заморились там ребята. И летом было — не как в колонии, а теперь смерть дохнула. Мальчишек из детского дома у завхоза курортного во дворе поймали. Мясо украли.

Мартынов колонистам рассказал.

Гришка затрепетал. Глаза помутнели и стал просить:

— К нам их, в колонию!

Собранием постановили своим отделением считать этот детский дом. Хлеб и на них распределить. По полфунта пришлось на каждого. Хозяева были еще плохие. Летом что запасли, подъели. Грибов совсем мало осталось. Картошку поздно выкопали. Половину деревня украла. Огород мало дал. Из города ничего! Крупа кончилась. Щеки у ребят поблекли и втянулись. Уставали, раньше спать расходились. Но смех еще часто звучал.

Мартынов посмеивался еще и командовал:

— Пояса потуже! Чемоданы подтяните. Хны!

Но реже морды кроил и часто на станцию ездил. Ночью одной озеро разбушева-

лось. С гулом тоскливым о камни билось. Потом злобой вскипело и раскатывалось:

— У-ух... У-ух. У-уф!

Ветер стены рвал. Разбить хотел. В трубе гудел: вышибу-у, вышибу-у. Когда стихал, вой доносился. Волки или собаки голодные? Электричество еще не провели. К стеклам темная ночь прилипла и дачи мраком жутким затопила. Дети уснуть не могли. Разговор тоже все обрывался. Слушали, как стены трещали и озеро выло. Будто горы разорвать хотело. И всем, кто близко, проклятье посылало.

Гришка покрутил головой:

— Стихия.

Но богатырем стать уж не думал. Вся колония маленькой, хрупкой представилась. И всеми забытой. Одни, в горах. А кто-то за стенами плачет, грозит, воем похоронным отпевает. Отчего сегодня у всех такая жуть? Тайчинов с тоской сказал:

— Смирть близка гулят.

Входная дверь хлопнула. Все вздрогнули. Войцеховский крикнул испуганно. Но поступь тяжелая успокоила.

Гришка радостно встретил:

— Сергей Михалыч?

— Я!

И в спальню вошел. Гришка у двери спал. На его кровать тяжело вдавился.

— Не спите еще. Разговорчиками занимаетесь? Хиы!

У Гришки жуть прошла. И другие мальчишки радостно завозились.

— Сейчас уснем! Я, Песков, за всех ручаюсь. Мигом уснем!

А Мартынов устало сказал:

— Дело табак, Григорий Песков. Дело— хны!

— А што?

Тайчинов с кровати к Мартынову скакнул. Все завозились.

— Телеграмма из губоно. Велят вас в город в детские дома свозить. Продуктов нам не дадут. А сами ведь — хны. Не прокормимся.

Взвился Гришка:

— Сергей Михалыч, тут подохну, не пойду. Недарма тоска сегодня!

Затрясся весь и головой в коленки Мартынову. Никогда Мартынов не обнимал и не целовал детей. Когда видел, девочки обнимаются, ворчал:

— Сантименты!

А тут рукой Гришку к себе прижал, и его дрожь самому будто передалась. Дернулся на кровати тревожно. Загалдели ребята:

— Зачем в город? Помирать — дак тут!

— Корой прокормимся!

— А там чем кормить будут?

— Не налезай, Васька! Тут колония лопатся, а он в ухо.

— Сергей Михалыч, не дозволяйте!

И все загудели на разные голоса:

— Тут останемся! Никуда не поедем!

— Да-да, други... И девчонки сейчас. Плакали, а тоже говорили. Тут надо все обмозговать. Хны! Сами знаете, работа, а еды мало. Помереть — не помрем, а изведемся.

Надточий успокоительно забасил:

— Хабаж до новины не дотягнэм? Дотягнэм. Пашня у нас своя.

Гришка в руку Мартынову вцепился:

— Я, Сергей Михалыч, через день есть буду. Пропади я пропадом, коли каждый день!

И вдруг все детские нотки в голосе поблекли. Точно сразу взрослым стал и с глубокой тоской протянул:

— Не отдавай нас опять в правонарушители.

Глянул Мартынов ему прямо в глаза, не увидел, а почуял в них страшную человеческую скорбь. Дернулся, морду скроил, руки потер и сказал:

— Не отдам.

ПЕРЕГНОЙ

Повествование

I

Про Ленина слухи разные ходили. Из немцев. Из русских, только немцами нанятый и в запечатанном вагоне в Россию доставленный. Для смуты. Бывший старшина волостной Жиганов очень этим человеком интересовался. Всегда из города новый слух привозил. Вчерашний день за полночь вернулся. А не утерпел: в земскую библиотеку в окно постучал. Испуганно к окошку от стола щуплый, низкорослый библиотекарь Сергей Петрович метнулся. С газетами все засиживался.

— Кто там? Что такое?

Жиганов вплотную к стеклу черную бороду свою придавил и сквозь двойную раму зычно крикнул:

— Сбежал! Не пужайтесь. Благополучно вам вечеровать! Из городу сейчас. Сбежал!

— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Кто сбежал?

— Ленин. Из банков все забрал. Вчистую. И скрылся. Погоня послана. Завтра все расскажу!

— Зайдите, Алексей Иванович. Сейчас открою.

— Неколи. Дома ждут. Завтра все расскажу!

— Газеты привезли?
— Привез. Только старые, в них еще не пропечатано. По телеграмме... Ну, ты, большевицка холера, т-пр-у!
И в сенях уж сам с собой проговорил:
— Не стоится! До дому охота, жрать охота! Сказано — скотина!
А назавтра радость сникла. Обманули в городе: утром какой-то с бельмом на глазу, с «мандатой» приехал и непонятные слова на сходке чтал: «Совнарком — исполкомам всех совдепов». Не сбежал Ленни. Он на этаком языке разговаривает.
Про Ленина разговор больше в Небесновке. Народ книжный в ней живет. Сектанты. Как из России сюда пришли, хвалили. На небеса, говорят, попали. Так и прозвали: Небесновка. Все сектанты для чтения Писания священного грамоте обучены. От Тамбовки, хоть одно село Тамбовско-Небесновское, столбом с доской отгородились. И доска для грамотных. Белым по черному прописано: Небесновка — мужеского пола 495 человек, женского 581. Под самой доской почти крайний дом тамбовский, а народ разный. В Небесновке почище. В Тамбовке тоже кто пообразованней и помоложе о Ленине осведомлен, а бабы да старики про большевиков слыхали одно: войну кончают. Откуда большевики — в точку не смотрели. Короткий народ. Не дохватывают. Старшина Жиганов из Небесновки был. Солдатье тамбовское отменило его от должности. А сейчас не разбери-бери какое правленье. Солдат Софрон верховодит. На сходке к Жиганову прицепился:

— Эй ты, ботало молоканско! Каки слухи про нову власть распускашь?

Немалого роста Софрон и плечистый, а жигановские глаза на него сверху черным блеском дразнятся. На голову выше Жиганов. И неробкий, но сметливый. Зря в драку с дураком не полезет.

— Чего, как петух на куру, наскакиваешь? Что в городе слыхал, то и рассказал. Мне брехали, и я брехал. По чем купил, по том и продаю.

Мужики уж дышат на них, сгрудились. Приезжий с мандатом чай пить ушел. Сход не расходился: Собрать из домов трудно, а как соберутся деревенские — не разгонишь.

Туго мозги поворачиваются. Пока все выспросят, много часов пройдет. За Жиганова наставник сектантский Кочеров вступился:

— Гражданин Софрон Артамонович, нехорошо этак на морду налезать! Алексей Иваныч — человек с интересом. Узнал в городу — сообщение предоставил. А ежели заблуждение вышло...

Софрон человек без резона. От тихой вразумительной речи Кочерова взбеленился, заорал зычно на весь большой класс. В школе все сходы собирались.

— Товарищи! Граждане! Небесновка вся — кулаки! Сладко поют, им не верьте. Сейчас я вам слово скажу! Как я сам председатель этого митингу, слово скажу!

И сразу за стол, откуда речи говорились. Солдаты отпускные к нему подались. Солдатки и рванье из-за оврага, где бедность

осела, тоже за иимн. Небесиовские за купцом из Тамбовкн Сычуговым было к дверям, да шепот жигаиовский им быстро передаи был:

— Не расходитесь! Кочеров Софрону отчитку делать будет!

Кудрявый рыжий волос Софроиов всегда торчком иад головой, как сияиье. Борода тоже рыжая, и иет в ией степеииости. Клочковатая, во все стороны. И в глазах строгости нет. Одиа сииь, в гневе темнеющая, но без свинца. От того иестрашиая.

— Товарищи! Богатеи иебесиовски иас сомущают. Мы на фроиту кровь проливали, оин, которы за богом прятались! Вера, дескать, ие дозволят иа войну идти! А сейчас им опять нашу кровь подавай! Котора власть за войну, эиту им иадо! Нашу не иадо.

Гулом сход отозвался:

— Правильно! За богом-то сидючи брюхо иагулялн!

— И иаши на войие были! Одии добротолюбовцы отказывались!

— Мы каторги не боялись, иа войну ие шли!

— Теплоухов только-только с каторги вернулся...

— Дело говори! Это все слыхали!

— Теплоухов у инх в каторге! А у иаших руки-ноги оторваты! Это тебе как?

— Ни за што почиташь?

— Не шли бы и вы!

— Ах, ты, пузо наливиое! Землн-то в вечну награбасталн! На семьи хватит, и на каторгу можио...

— Чего разговаривать! Бей их, толстомордых!

— Тише! Слова дайте сказать!

— Слабода слова...

— Говори, Софрон!

— Нечего говорить! Все слыхали!

— Пролетарии, которы пролетают! Старались бы, так и у вас в вечну...

Шум разрастался. Голоса свирепели.

Во всю грудь Софрон, чтоб перекричать:

— Товарищи! Апосля посчитамся! Этак не слыхать! По череду все скажем.

Жиганов своих успокаивал:

— Помолчить! Помолчить! Кочеров ему завертку сделат!

Стихли. В глухом, рассерженном, но затихающем ворчании ясный густой голос Софрона заиграл:

— Товарищи! Вон энти ободранные, заовражные... Энти нам теперь товарищи! Мы то есть вам товарищи! А небесновски мужики богатые. Им все равно, чья земля. Им все равно, коли нас опять в окопы. Дарданеллов им надо! Вот каки они! Они вас сомущают — все от бога. От Писания. Им ладно на бога-то уповать! Богатому легче войти в царство небесное. На земле жиром наливаются, а помрут...

Жиганов не выдержал. Зычным окриком из толпы:

— Клеплешь на Священное писание! Там сказано: бедному легче в рай...

Софрон затряс кудлатой головой. Распалился. Яростно, громче прежнего, будто лбы разбить хотел, в толпу кричал:

— Недосмотр в Писанье вышел! Богатый человек богу угоден! Богатый мужик чистый, обходительный. С чего я псом кидаться стану, когда кажный передо мной шапку ломает? А бедному всяк по загривку. От этого в ем завсегда злость. Обязательно! Богатый с господами за ручку, всему обу :ен. А бедный-то и молитвы по-матерному вывернет, потому ничего не понимат! В Писанье сказано: не укради. Обязательно украдешь, как трескать нечего! В Писанье опять же: не убий. Обязательно убьешь!..

Взревели небесновцы:

— Эт-та хорошо! Значит, кradь, убивай!

— Вот оно ново-то ученье!

— По словам человека узнают!

— Слыхали, каки большевики-те!

— Истинно, острожинки у них коноводы!

Заовражные свое:

— Заткни хайло, толстопузый!

— Кого убили? Кого нашниски убили?

— А следоват! Бей их, чертей вальяжных!

Старуха Митрофанова поняла: спор на веру перешел. Дребезжащим выкриком из толпы заовражинских:

— В православной церкви святы дары, а в ихнем молоканском чо?

В шуме потонули слова. Задвигались руки, загудели, засипели, зазвенели разные голоса, все слилось в дикую музыку стихийно взметнувшегося рева.

Софрон сначала кулаком по столу стучал, потом табурет поднял. Сиденьем его по столу стал колотить. Затихли было, но прорвался надрывный выкрик Редькина.

— Наша власть! Будя! Оии себя пообихаживали!

И опять стон, рычаиье толпы, не привыкшей говорить, знавшей только вой и дикий гомон. Не стояли иа месте. Надвигались друг на друга, грозили кулаками, толкали, теснили, давнли. Близилось побоище.

Кочеров протискался к столу, отвел чей-то увесистый кулак сильиой рукой и, выхватив у Софроиа табурет, застучал им сильно и часто по столу. Небесновцы стихли. Софрои своих уннмал. Опять глухое стихающее рычаиье. Выделился мягкий, ласковый, приятиый басок Кочерова:

— Братья! Злобствие для зверя оставлено, человеку иадо миром и любовью.

Была в мягком голосе привычная властность, увереииость иачетчика. Укротила. Один Редькии плюиул и нехорошо выругался в ответ. Остальиые замолчали.

— В гневе у человека глаза не видят, уши ие слышат. Зачем так-то? Зачем брат Софрои злобе дал себя оседлать? За веру свою от старого правительства большое иаказанне мы прииимали. Из России сюда спасать свою веру уиесли. В чужую холодиую стороиу пешком с семействами шли. В вечио владеиье землю купили. А как? Этого вы, братья, не видалн? Миром купили, всем миром! Не только что потом, кровью иаша землица полнта. Да, да! Как старо правительство наших иа каторгу гиало, вы тогда иас жалели. На войну у нас добротолюбовцы только не шли. А много ли их у иас? Мы, еваигелические хрнстнане, шли.

У меня сын на военной службе. Мы с вами тяготу несем.

Правду говорил Кочеров. Голос, будто священным елеем смазанный, был ласков, проникновенен, умиротворял. Толпа сникла и сжалась. Только Софрон крякнул, да Редькин больным звенящим выкриком запротестовал:

— Книжники! На Писаньи насобачились...

На него прицыкнули, и он смолк.

Ровно и убедительно говорил Кочеров. Будто капли успокоительные больному подносил.

— Насчет большевицкого ученья мы не против. Войны мы не хотим, как в Писании сказано — не убий. Бедного человека, по Писанию, мы также подымать должны. Но ученье человеческое — не божье. Оно всегда с собой муть грехов наших несет. Отобрать, да отдать — обида и зло. Нашу, к слову, землю как отбирать? Мы не подарком ее взяли. Все это надо обсудить в мире, в тишине, в спокойствии. Я поинтересовался насчет большевицкого ученья, в город съездил. Разузнал, что главный их учитель был Карла Марксов. Ха-а-ра-шо. Был он человек нерусский, записал по-иностранному свое ученье. Вот узнать бы досконально подлинность Карлом Марксовым прописанного. Русский народ, он у нас скоро уверяющий. Как нам подали, так мы и глотаем. Разбору нету у нас в привычке. Насчет образованья, касательно иностранных языков, слаб. Если к иностранному несумнительно допустить — Ленин чего приписал, как узнать? Надо ино-

страниые языки уразуметь и Карло Марксово писанне с русскими свернть. Вот тогда можно: пролетарии всех страи! В таком деле, как политика, без доскоиальиости иевозможио. На уразумленье время надо, верных людей надо, тишину и мир надо. А так, очертя голову, в иовый хомут лезть...

Болью подлииной вытолкиуло из тишины свистящий выкрик Редькина:

— Залнват! Товарищи, глаза вам молоканский начетчик отводит.

Сразу Кочерова оборвал. Запиулся на слове от неожнданности.

Софрои крепко, зло н властно крикнул:

— Будя! Напустил туману! Мы едак ие умеем! Товарнщи, за землю дюржится! В ее вцепился, нас обхаживат! Будя!

Опять многоголосый крик:

— Верно! Правнльно! Обхаживат! Заткни глотку!

— Охальиики! От слову доброго отвыкли!

— Пущай говорит Ефим Кочеров!

— Правнльно нзъяснял!

— Дербалызии его по затылку-то, забудет, как изъясиять!

— Софрои, твое слово! Ты по-нашински!

Но на стол Редькин забрался.

Худой, иескладный, с воспалеииым взглядом злых чериых глаз, с яркими пятиами иа скулах, ои бил себя кулаком по впалой груди и хрипел со свистом:

— У меия девять ртов! Мои ребята, хучь малые, своими бы зубамн землю выборонили. А игде она? Игде у меие земля? Ну,

игде? Мово брата на войне убили. А игде у его семейства земля? А этот брат Андрей, вам известно, в сектанты передался. Кочеров его накормил? Землю дал? Как не так! В работниках гнулся. Сын у Кочерова взят! Знам! В портных сидит, в спокое! Ему, Кочерову-то Ефиму, сколь добра привез, как на побывке был. А он нам заливат! Кабы у мене достаток!

Выкрикнул, закашлялся, большой плевок крови в руку выхаркнул, махнул рукой и слез с трудом со стола.

Софрон мигом на его месте вырос. Лицо у него побелело, глаза будто чернью подернулись, и в первый раз строгим взгляд стал.

— Товарищи! Нечо долго разговаривать! Мы не начетчики, не умем. Айда, вот что сделам: записывайся всем миром в большевицку партию. Больше нам делать нечо! Эй, Митроха, писарь, айда, записывай.

Заколыхались, встрепенулись, закричали вразброд.

— Вот дак командер!

— Припечатай еще! Антихрист завсегда с печатью!

— Каин тоже меченый!

— Записываться! Правильно!

— Записываться! Записываться!

Софрон старался перекричать всех:

— Скопом, миром за себя постоим! Они нас одурить хочут! Эй, беднота, заовражнински, двигайся! Которы не запишутся, нет им земли!

— Правильно! Не хотят с народом, как дурну траву из поля вон!

— Айда, вываливай, которы не наши!

— Митроха, записывай!

Семнадцатилетний смешливый белобрысый Митроха, закрывая рот рукой, пробрался к столу. Мигом перед ним — лист серой бумаги.

Но крикнул библиотекарь:

— Товарищи граждане! Слова прошу!

Все время бурного схода он простоял в кучке у окна. Там были учительницы, священник и он. Все они давно шептались, но в передрягу не ввязывались. Шум в глубине класса не стих, но у стола замолчали.

— Так, граждане, нельзя! В политическую партию так не вступают!

Софрон вцепился ему в узкое плечо.

— Ты с нами не запишешься? Говори, ты не согласен?

Библиотекарь голову в плечи втянул, еще меньше стал, но ответил твердо:

— Нет! Вы сами не понимаете, куда лезете!

— А, так. Ладно. Не понимам? А эдаких, понимающих, нам не надо! Пшел вон к своим богачам!

Неожиданным взмахом руки Софрон схватил его сзади за воротник и пинком ноги толкнул в толпу. Библиотекарь не упал только потому, что ткнулся головой в грудь рослого старика. Повернув к Софрону бледное, перекошенное обидой лицо, он взвизгнул по-детски:

— Насильники! Тупая сволочь!

Заовражинские на него кинулись, но стеной плотной закрыли его небесновцы. И Софрон новым криком остановил:

— Опосля сосчитамся! Подходи записываться! Хто не запишется, сосчнтамся. Узнам, которы нашн!

Небесновцы завопилн. Но Мнтроха уже запнсывал:

— Крученых Павел с семейством...

У стола теснилнсь желавшне запнсаться.

Кочеров рукой махнул н пошел к выходу. Небесновцы почти все за ннм вышлн. Осталось только пятеро.

У стола гулом стояло:

— Софрон, а Софрон, бабу отдельно запнсывать ай с собой?

— Бабов, для счету, отдельно. Теперь для нх права вышли! Ребятншек не запнсывай.

— Ой! А как на их землн не дадут?

Солдатка Ульяиа к Софроиу кинулась:

— Каки права для баб вышли?

В толпе засмеялись. Мнтроха из-за стола звонко крнкнул:

— На мужнках сверху лежать. Айда, запнсывайся!

Взъерошенный, как нахохлнвшнйся воробей, ннзенькнй Артамон Пегих солдатку оттолкиул.

— Запнсалн, н не тарантн! Сказано, для счету!

Ожнвшнй Софрон будто вырос. Глазами опять радостно снял и, поворачнваясь во все стороиы, объяснення давал.

— Баба, она, дивствнтельно, корова! А промежду прочнм — человек. Теперь так полагается, ее голос примать.

Через два часа Софрон передавал на

въезжей квартире оратору из города лист.

— Вот тут, сто пятьдесят восемь человек записались. В большевики. Передайте список, а нам документ пущай вышлют, что есть мы теперь большевицка партия.

У того от радости даже бельмо на глазу будто засняло.

— Да как это так? Вот так успех! Поразительно! Что значит вовремя приехать. Спасибо, товарищ! С радостью передам! Скоро еще приеду. Вы, товарищ, фронтовик?

Софрон охотно и радостно рассказал о своей солдатчине, о ранении, об отпуске домой, о том, как в армии о большевиках узнал. Ему хотелось говорить о себе подробно и долго, но приезжий оратор засуетился, собираться стал, и Софрон вышел.

Хрустящий снег под ногой, далекое, молчаливое, будто застывшее осужденьем беспокойной земле небо, отголоски разговоров еще не заснувшей улицы, обрывки частушки — все будоражило Софрона, поднимало новое чувство торжества и тревоги. Будто на войне отряд вывел.

По сделанному им распоряженью, в этот час подъехал Артамон Пегих к библиотеке, разбудил библиотекаря и объяснил:

— Укладайся! В город тебе сейчас повезу.

— Как в город? Зачем?

— Сход приказал. Нам эндакого не надо! Айда, укладайся.

— Да я не хочу ехать! Это насилье!

— Не поедешь, Софрона разбужу. Приказано.

Отплевываясь и ругаясь, библиотекарь начал связывать свон вещн. Обида жгла лнцо румяицем. Софрои, пьяичужка, всемн презираемый в былые дни! Он одии с иим возился. Отмечал, ценил его тягу к кииге, а теперь вериулся с фроита комаиднром! Вынырнул иовый, темиый, злой. Другим хмелем хмельиой. Д-да! Пожалуй, правда, пропала Россия.

Когда в последиий раз вощел в библиотеку, чтобы посмотреть, ие забыл лн чего, вспомнил:

— А ключи кому?

— Софрон сказал, ему завезти.

— Ну, ладно. Ему, так ему! Поедем.

А Софрон стоял уже у подводы, около библиотеки. Когда подошел библиотекарь, он протянул ему зажатую в кулак руку.

— На-кось.

— Что это такое? А?

— Трешница! Тебе от меня. Так что много довольны. Никогда не обижал. Возьмнкось, там в городу прнгодится!

Из-под иахохленных рыжих бровей застенчнво блесиувший свет и мягкую пуглнвую улыбку вместе с трешницей принял, с екнувшим сердцем, бнблнотекарь. Не сумел отказаться.

II

«На трех китах стоит земля, говорнлн старики. Одиого, видио, вытащили из-под иее. Зыбкая стала. С июля года тысяча девятьсот четырнадцатого. Не стало твердо-

сти и нерушимости ни в чем. У земли учились жить. Она закон поставила человеку: все живое должно принести плод. А у девок румянец желтизной отдавать стал. Твердели, теряли молодую хрупкость, дожидаясь мужа. Жены солдатские ходили без плода, нагульных ребят вытравляли у них равнодушно жестокие бабки-повитухи. Оттого чаще маялись скрытыми бабьими своими болями. Оттого в работе сдавали. Рыхлели. Оттого от тоскующего в бесплодии чрева рождались похоть и грех. Деревенские бабы и девки, как городские, от закона земли оторванные стали. Грех для греха, не для деторождения, приманивать начал. Больше покупали наряды. Приучились к мылу духовому, возили из городу пудру, дешевые духи и безобразные медяшки-брошки. Пошили, вместо шуб широких, короткие «марнетки», из-под платка пухового клок волос взбитых выставляли.

Денег у деревни много стало. Продала сыновей. Откуп получала. Пособия семьям солдатским на уплату за примаки на грех шли. Семейные мужики на блуд с чужими бабами, с девками льстились. Оттого свой род хилел. Слабей оплодотворялась и земля. Не хватало рук. По накатанной за годы войны дороге из города катились в деревню его пороки, дурная хворь и беспокойные, будоражливые мысли. А с году девятьсот семнадцатого город деревню вертуном завертел. Новое, новое, новое. Слова незнакомые гвоздили вялую, годами жившую своим обиходным мысль. Порядки, новизной пугавшие, налетали неустанно в приказах.

Все старое иа слом обрекали. И обо всем этом надо было думать. Удар за ударом, и все в башку, в башку, в башку! Тряси мозгами деревня! Ошарашилась она, шалая ходуном заходила, за поводырей хваталась сослепу. Не стало в ней крепкой приверженности к своему исконному, деревенскому. Была жизнь подневольная, трудная, ио истовая и мерная, многими поколениями позади утвержденная. Когда разрывалось тихое течение дней драками, боями на улицах, в пьяном угаре, пожарамн, смертями, то и самые тревоги эти былн старыми, понятными. Хмель и драка на праздниках во всем буйстве н дикости нх были привычны и иестрашны. Играет ведь река в половодье, грозит и крушнт, а потом уляжется, спокойная, мирная поилица. Теперь не то. Самую страшиую стихию — кровь человеческую — разбудили, чем и когда ее утихомиришь?»

Все это передумал не раз и не два, много раз, умиый широколобый Кочеров. И только в этих думах узнал, что бывает н разумному в жизни препоиа. Не осилишь! А позиав бесснлие, познал и сам непреоборнмую злобу, бешеиой хваткой терзающую человека. Глядеть не мог на Софрона: иа другую сторону улнцы переходил, когда встречался. Один раз Софрон приметил, что избегает его Кочеров. Оскалил белые здоровые зубы и заорал на всю улицу:

— Эй, молоканский поп! Чо в землю буркалы-то упираш? С небом, видно, разлучку сделал? Правнльио! Под ногами-то говно, а бывает и золото.

Нехорошо, мутно Кочеров на Софрона взглянул, ответил без крику, с достоинством. Только голос не был по-всегдашнему ровен. Осекался.

— Остановите ваши неприличия, гражданин Софрон Артамонович! Вы теперь на виду, не подобает по-прежнему озоровать. Как бывалыча в пьяном виде.

Весь яд затаенный в намеке на прошлое Софроново выцедил и, взбодрив голову, прошел, плотный, степенный и видом благожелательным всякому приятный. Только подоплека рубашки горячей стала. Сердце в гневе сразу всего разогрело. Заходили гневные мысли в голове:

«Неразумные слова, как лай бестолковый, собачий. Прошел спокойно и не слыхал! Кабы только слова! Нет, ведь власть таким вот теперь дана, горлопанам. Самая что ни на есть дурнота наверху, куражится. Пьянчуга Софрон. Земли у него не хватало! Какой есть клок, и тот ребятишки старшие да бабы на срам всему селу засевали. А он, пьяный, по дворам куражился или спал под забором. Никогда старанья крестьянского не имел. Чужаком был. Савоська-кузнец — конокрад меченый. Башка боком приросла. Шею повредили, когда всем селом за чужих коней били. И живому-то не быть бы, кабы вот не я да другие небесновцы. От греха отвели, добить и не дали. А теперь он небесновцам за это отплатил! В молитвенный дом евангелических христиан пришел, всех изматерил, самое стыдное показал и про бога, в мыслях нельзя повторить, как выразился! Редькин, у которого

внутри все сгнило, потому что всю силищу растаскал по новым местам: все искал, где лучше. Митроха-писаренок, с речью всегда похабной, — срамник. И другие-то: батрачье, измотанное по чужим дворам. Все корявые, хилые, дурашные, самая шваль. Затерялись среди них трое богатых солдат небесновских. Не слыхать. Софроновы оборванцы над здоровым, хозяйственным, правильным за начальство поставлены. И там-то, в столицах, тоже, по газетам видать, в управителях половины русских нет. Евреев насоприглашали, оттого что крику в них, цепкости больше. Э-эх, мать-Россия! Как испоганили тебя татары, так устою в русской крови и не стало. Все под чужаков прешь, на бунт нарываешься!»

Не видел, как и домой в думах дошел. А дома опять новость. Красивая, рослая жена, в сорок лет молодым румянцем приманчивая, в слезах его на дворе встретила.

— Приказ тебе из волости от Софрону... Ты, Жиганов, Глебов да еще каки-то, уж не дослушала, в десятски наряжены. Айдате по дворам народ на сходку сзывать.

Сразу понял: для насмешки. Всегда в десятских самая рвань ходила. Мальчишек из школы тоже наряжали. А теперь Софрон измывается: самых уважаемых, богатых из Небесновки выбрал.

— Кто приказ передал?

— Артамон Пегих. Да в избе он. Поди спроси сам.

Оттого, что на стуле и не в кухне, а в горнице сидел и дымил вонючей махоркой взъерошенный, будто год нечесаный Арта-

мон Пегих, горница хуже стала. Золотые буквы изречений евангельских и наставлений учителей, что на стенах в рамках под стеклами висели вместо икон, казалось, потускнели. На крашеном лоснящемся полу от огромных заплатанных валенок лепешки талого снега и грязь. Занавески городские и вязаные скатерти на столах в дыму потонули. Сурово сдвинул Кочеров брови, снимая шапку.

— Брат Артамон, табачное зелие почитаю для человека вредным и богу неугодным. Пристав, когда заезжал, тут не куривал. Упреждаю вас обстоятельно: прекратите табакокурение!

Артамон шмыгнул носом, плюнул на папироску и кинул на пол.

— Что же, кады вера ваша молоканска така! Брошу. А вот как вы полагаете, иконов не надо, а эти вот, в рамках, этта почему? Опять же табаку не надо, а с бабой спишь? В ей греху-то боле. Староверы, энти которы...

— Не время, брат Артамон, нам сейчас об вере разговоры рассуждать! Свою-то забыли вы. Како дело до чужой! За делом за каким ко мне, ай как?

— Ы-ы-х ты, какой спесивый! Не вашего, дескать, уму дело!

Вдруг взъерошился и громким звенящим голосом на всю комнату:

— Врешь, нашего! Под задницей-то у вас сидели, свету не видали. Теперь обвязан ты все рассказать. Обвязан! И я желаю знать, чо к чему. Рассказывай про свою веру!

— Не кричи, брат Артамои! Господу злоба иеугодиа, и я в грех с тобой входить ие стану. Зачем прнслан?

Сам прозелеиел весь н пальцы в кулак, а держнтся, не кндается. Только в глазах уже сладостн нет. Кровью налнлнсь.

Артамон сплюнул.

— Нужон ты мне с разговорамн! Так я, поучить. За брюхом за твонм прнслан, вот зачем. Иди-ка, потряси его! С бадожком под окнамн походн: на мнтннгу, мол, товарищи. Вот зачем!

— Софронова выдумка?

Дух с хрнпом перевел. Артамои удивлеино-восторженно головой затряс.

— Вот чо, аж вздохом подавнлся. Ну, ну... Во какн! Срамотно мнр нзвещать, под окошками ходнть. А мы ходим, ннчо. Много спеси, много у богатого! Пойдешь ли, чо ли? Жиганов не пошел. В исполком уволоклн. В холодной сндит за ослушанне. Тебе как поннмать? Тоже в холодиу?

Все забыл Кочеров. Хватил стулом об пол так, что разлетелся иа частн.

— Пшел вон, пакость!

Артамон от иеожнданностн мигом в дверь, согнувшнсь, выкатнлся. Но оповещать о сходке Кочеров пошел. Степенной обычной своей походкой шел по улнце, только на лнце смнренье н страданье нзобразил. Медлительно, кротко батожком в окна постукивал.

— Граждане! Братья! На сход пожалуйте.

За ннм по всей улнце шепот смущенный и возмущенный:

— Кочеров под окнами ходит!
— Ну, Софрон! Экого растряс!
— Ат, халиганы! Измываются!
— Христос терпел и нам велел.

Опостылели сходы, но шли. Опасались дома оставаться. Ждали решенья насчет земли, хозяйства. Но приходили уже к распре готовые. Каждый своим еще дома возбуждался. И до начала схода стоял гул спора, препирательств. Нередко были драки. Сегодня взволновало сообщенье об аресте Жиганова. Толпились в сенях около запертой на замок клетушки с оконцем. Под замком сидел Жиганов. Около двери молодой парень с винтовкой стоял. Небесновцы старались словом перекинуться. В дыру оконца кричали:

— Алексей Иваныч, потерпи!
— Одежу-то баба прислала ли?

Парень-караульный отгонял:

— Не подходь к арестованному! Нельзя! Подале! Подале!

Редькин мимо прошел, лицо улыбкой непривычной перекосил:

— Других долго саживал. Сам, старшина, посиди!

Сход начался по новому порядку, который Софрон с солдатами установил. Чисто молебен сходки начинали. Пеньем... Запели «Вставай, проклятьем заклейменный». Шапки все поснимали, но пели только Софрон, солдаты отпускные да ребятишки, везде поспевающие. Несмотря на увесистые подзатыльники и цыканья, всегда на сходах терлись. И самой большой угрозой старикам было их неверное, ломкое, но всегда радост-

ное пенье... Мужики постарше, даже из буйных заовражинских, пенья этого стыдились. Головы в тулупы прятали. Нехорошо. На селе зубоскалы дразнятся:

— Как есть чертова обедня! «Проклятому» молитву поют!

Небесновцы все светские песни бесовским игрищем считали. Пели только свои псалмы на голос песенный. Оттого их хмурое молчание было привычным.

Нынче Софрон праздничный, радостный. Изнутри в глаза бьют свет и ласка. Оттого зорок и чуток. Как спели, без ругани, по-доброму сказал:

— Пошто стеснились, старики? Голосу в песню не даете?

Отозвался смущенно Артамон Пегих.

— Ладно уж! Свое отпели. Молодых послухам!

Софрон весь в его сторону подался, трепетный и радостный.

— Товарищ Артамон Петрович, как мы партейные, понимать должны. Песня эта для пролетарию складена. Интернационал значит: всякий, который неимущий, жид ли, хрестьянин — все вместях. Понимашь? И как раньше нас проклятым обзывали, мы им для ответу! Покажем, дескать, каки мы прокляты! Понимашь?

Прямо в рот Артамону лез, старался. А тот подальше подался и совсем сникшим голосом сказал:

— Сумнительно. Слово черное, а промежду прочим дозволям! Все одно уж...

Фронтовик Семен Головин вступился.

— А что касательно слову интернацио-

иал... Это слово большевицкое. Большевицкий язык трудиый, ио ежели в кореиь дела взглянуть, обстоятельиый. Хлесткий!

Артамон Пегих деловито, без улыбки, подтвердил:

— Куды хлеще.

Небесновцы засмеялись. Но Кочеров, мучась нетерпением, не выдержал, крикнул из толпы:

— Довольно бы, братья, обученья-то этого! Дела разобрать иадо. Зачем склнкали иарод!

Толпа задвигалась, загудела:

— Дело... Дело изъясияй.

Всегда мучимый болью и злостью, Редькии надрывно прокричал:

— А это не дело? Слова городски иадо знать! Штоб ие оммаиули.

И крик его был близок и поиятен многим из софроновской партии. Прнияли гиет новизны. Отшиблись от своих учителей-стариков. Городу передались, а исконного иедоверья к нему еще не изжили.

Вдруг толпа закачалась, раздвинулась в удивлении.

Пятнадцать человек фронтовиков и молодых безусых парией с виитовками за плечами пробирались к столу. Сразу тихо стало. И четко, торжествеино прозвучали слова Софрона:

— Революционна охрана!

Минутное жуткое молчание толпы подчеркнуло для всех: наступает новый час. Борьба здесь вот, в своей деревне. Оттого твердый, спокойный голос Софронов отозвался, как браиный клич:

— Вся земля в волости общая. Мир — хозяин. Отдельных хозяев нету. Разобьем на участки. Всех людей в нашей Тамбовско-Небесновской, по-теперешнему Интернациональной, волости тоже разобьем на коммуны. Каждой коммуне по участку. Миром сеять и убирать. Кто в коммуны не желат, пущай на печи лежит. Ни хлебу, ни сена не дадим!

Вздох или стон в толпе, и опять миг молчания, потом дрогнувший голос Артамона:

— А машины как?

В годы войны по всем деревням затосковали по машине. Увидали, как справлялись легко богатые с ее помощью. Наслушались от военнопленных о царствах, где машины кормят и спине передышку дают. Но купить их могли только многоземельные, сильные. Разом подхватили Артамонов вопрос:

— Машины... Машины как? Машины?

— Из городу дадут?

Софрон опять твердо и победно:

— Приказ есь. Все машины у хозяев реквизированы! Мало ль у нас богатеев! По коммунам разделим.

Радостное, тревожное, протестующее в гуле. Неподвижные, хмурые мужики с винтовками у стола. Волной толпа к столу, но через миг сникла, от стола подалась. Будто спрятаться хотели. Только Кочеров, забыв всякую осторожность, не своим, резким, крикливым, голосом прямо с места заговорил:

— Это грабежу подобно! Небесновцы миром землю покупали. Последнюю лапотину за ее отдавали! У господ отбирать ладно.

А мы как трудящие? Над трудящими изгиляетесь? Свово брата-мужика зорите? Небесиовцы допрежь вас коммуиой жили! Сообча землю покупали. Всей Небесиовской обчниой. Грабители вы, а ие устроителн! Свово брата-мужика!

Закрнчал миогоголосый зверь.

— Верио говорит!

— Не дадим!

— По́том, кровью нажнвали!

Разобрать слов уже иельзя стало. Все слнлось в одно грозиое: а-а-а-а! Но торжествующий крик Софронов все услышали:

— Силой отберем!

Если б ие «революцноиная охрана», разорвали бы Софрона. Двниулись небесиовцы к столу, а парни ружья наизготовку, сзади заовражиискле и тамбовские мужики с грозиым ревом. Кочеров зубамн заскрнпел, ио поиял: да, сегодия снла Софроиова. Гурьбой, будто сговорнвшись, миогоземельные повалили к выходу. Оставшимся в школе Софрон горячо объяснял:

— Брешут иебесиовцы, что нх иеправнльно. «И у нас тоже коммуиа». Брешут. Что ии дом, то разна секста. Бога-то свово иа клочки разорвали. Добротолюбовцы, субботиики, баптисты, евангельски хрестьяие. Грызутся, как собакн. Теперь заодно, как за свой кус нспугалнсь. «Землю всем обчеством покупалн!» А разделили как? Кто сколь деиег дал! Маломочны, так н есть маломочны! А у Жигаиова четыреста десятнн. У Кочерова трнста пятьдесят. «Трудящне». Пузо-то не больио иатрудили! Все работниками! Кочеров-то за попа гал-

дит да портняжит — и не нюхат землю-то! Жиганов на нас сидел! Пертрясем! Всех пертрясем! Нашего дню дождались!

Среди оставшихся была половина Небесновки. В первый раз властное требованье земли и хлеба слило вместе «православных» и «молокан».

Расходились опять за полночь. Софрон дольше всех в школе топтался. Охрану отпустил. Большебородый фронтовик остерегал:

— Изобьют на улице!

Но Софрон успокоил:

— Седни не тронут! Напужались!

А сам в нетерпенье крутился по классу, ждал, когда уйдут. Как надеялся, так и вышло. Ушли все, и открылась дверь в коридоре. Выглянуло тонкое белое личико.

— Разошлись!

— Ушли, Антонида Николаевна! А вы чо не спите?

И в дрогнувшем голосе Софроновом большая благоговейная радость. Непрошено, нежданно вошла в душу чистенькая барышня из города. Учительница. Как в исполкоме главным заделался, захаживать по делам стала. Разговор о деле, а улыбка такая домашняя, греющая. И потянулся на нее. Сгасал только на миг, когда мысль приходила: как все бабы. На почет льстится. Бегали раньше учительницы к старшине и станового привечали. Эта к новому начальству под крыло. Знал, а совладать с собой не мог. Каждому человеку праздника хочется. Бабы деревенские, с жирными тягучими голосами, с красными загрубелыми руками и грубыми тяжелыми словами —

будии. Прнвычные, постояииые, надоевшие будии. И жеиа Дарья, рожающая, кормящая, на своей широкой спиие выиосящая всю работу по крестьяискому хозяйству, не иужна сейчас, в эти иовые, торжествеииые дии. Раиьше, когда читал кииги, очеиь любил Софрои писателя Дюма. Так иепохоже было все в его кингах иа Софроиову жизнь. Оттого прекрасно н иедосягаемо. А рассказы о крестьяиах н рабочнх чнтал только для того, чтобы уважить бнблиотекаря, Сергея Петровнча. Нн к чему, казалось, пальцами в своем гное ковырять. И призиавал эти книгн иеобходнмымн только для богатых. «Им черного хлебушка охота, белый надоел. А иам беленького хоть кусочек. Заместо пряиика к праздинку!» Таким пряииком праздинчиым, ннкогда не пробованиым, была Аитонниа Нниколаевна. Раньше водку пнл, чтобы в пьяиых мечтах не вндеть настоящего. Теперь буйиым хмелем допьяиа иапоила революция. Водки ие надо стало. Но мечта во хмелю одолевала: все празднннчиое, иензведаииое теперь будет. Был Софрои от плоти н костн деревии, ио ие старой, кряжистой, а иовой, встряхнутой, нщущей. Оттого иад ним мечта большую силу возымела. Жнганову, Кочерову н на ннх похожим иужиа была здоровая, широкозадая баба для продолжеиия рода, нногда для блуда. Софрои от кннги заразу любвн восприиял. Аитоииа Николаевиа для иего дурманиым, расслабляющнм соблазном пришла. Не мог с собой совладать. Тяиулся к ней.

— Ну, что же, посидим здесь. Поговорим иемиого. Сторожа уж спят?

— Не видать что-то. Стало, спят.

Легкая, вспрыгнула на стол и ножками тоненькими, но крепкими, в тугих черных чулках, заболтала.

Думал, до боли в сердце, нежно.

«Пташечка... Касатушка...»

Сказать не мог бы вслух. Мял в руках папаху. Стоял среди класса смешной, взъерошенный, с растерянной улыбкой, сразу глуповатым сделавшей лицо. И то, что к себе в комнату не пускала, остерегалась, и то, что близко не подходила, только глазами ласку посылала, не сердило, а умиляло.

«Беляночка... Голубушка...»

А она скрыла легкой гримаской позевоту и спросила:

— Ну, как приняли новость? Кричали очень. А я за вас боялась.

Ведь все понимает, хоть женского полу! Слова такие легкие, к месту всегда. Так охота говорить с ней. Все бы рассказал, а язык во рту как бревно. Слова неудачные вылезают, нескладные. И еще комкает их огромная нежность.

А она одобряла.

— Вы совершенно правильно рассуждали, земля не может быть чьей-нибудь собственностью.

Поднимала для внушительности круглые тонкие бровки. Говорила залетевшие в уши чужие слова, но так уверенно и свободно. Будто свое, передуманное.

А дома толстая, неповоротливая Дарья будет лениво почесывать поясницу, скрести пальцами в свалившихся косах и сонно тянуть:

— Светат, ннкак... К стеике лягешь ли чо ли?

Антоннну Нжолаевиу заннмала н услаждала власть над новым волостным воеводой. Искушенная городскимн, пакостными, без обладаиня, шалостямн с гимназистамн н офнцерамн, она видела, как мает н корежит мужнка взбунтовавшаяся кровь. Поннмала, что в узде держнт только благоговейиая вера в особую чнстоту ее. Это было иово, смешно н радостно. Ножкамн играла, возбуждала, а кротким, чистым голосом н взглядом невнннным предостерегала. Жутко было при мысли — чем кончится? Поцеловать бы не могла! В ннтимностн, наверное, отталкивающе груб. Нескладный рассказ Софронов оборвался. Почуяла: опасно затягнвать частые паузы в нх разговорах наеднне. Спрыгнула со стола.

— Поздно уж. Вы утомилнсь сегодня.

Под окном на улнце заскрнпел под ногамн снег. Кто-то осторожно карабкался на подоконннк. Насторожнлась н лнцо сделала строгое, а сама пуглнво поежилась.

— Подглядывают. Нехорошо говорнть будут! Заходнте завтра днем чай пнть. Сама вам песочники состряпаю!

И ручку нздалн протянула! Э-эх! Какая сила в бабе бывает!

Зацеловал бы, а боится. Глядит, как на солнышко. Только взглядом всю выпил н руку до болн сжал. Каждый день видятся. И всегда вот так: в сторонке держнт.

Когда вышел, видел: от крыльца метнулнсь к амбару две черные фигуры... Насторожился, вынул из кармана револьвер н выст-

релил вверх. Испугало только тревожное «ах» за дверью. Крнкнул туда молодо, радостно:

— Не сумлевайтесь!

И пошел по мертвой белой улнце, которую будилн, ио не оживляли шалые взвизгн собачьего лая. Два ряда темиых, живое дыхаиие затанвшнх домов были печальны и предостерегалн, как угроза. А душа не боялась, ликовала.

Оттого, что рука была настороже у револьвера, оттого, что в своей деревие в первый раз шел с опаской, росла н шнрнлась горделнвая смелость. Оттого, что думал о желаниой беленькой, по-весеннему шумело в голове.

А дома скверно стало. Вонь какая! Почнстнться надо. Прнбраться. Жирное тело Дарьино, рядом иа кроватн, будило тошнотную тоску, но притянул его резко к себе, охваченный нечистым, злым, отражеиным желанием.

III

Совсем мало спать стал Софрон. Такая радостная бурливая полоса пришла, что страшно спать. Неохота спать. Жнзнь расцветилась, занграла перед трндцатилетинм. Стал как пареиь молодой. Все хватай, лови, тормошнсь! В городе забнрал дерзкие приказы. Узнавал короткие, тревожные и смятенные, как набат, слова.

В селе кричал: наша власть! Смотрел, упоенный, торжествующий, как учатся сги-

баться перед низко в жнзнн поставлеиными непрнвычные к поклону спины. Любовался, как заходнла бестолковая, рваная рать «маломочных» в грозном беспокойстве. Но в торжестве, для самого незаметно, впивал яд командирства. Не замечал, как в словах, в распоряженнях, в снисходительных шутках со своими маломощными похож стаиовился на старшииу Жигаиова.

Для Антоиииы Николаевны мужицкую одежду на городскую смеинл.

Словца городские обходительные усвонл. В городе Софрона уж выделяли. Одиу его речь даже в газете, подправив и сгладив, напечатали. Газету Аитонине Николаевне трепетио подсуиул. Думал, обрадуется. Но она только ласково протянула:

— Ах, ваша речь здесь. Очень интересно! Вечером почитаю.

И больше о газете ии слова. Неужели забыла? Ведь для Софрона эта газета как грамота жалованная. По ночам просыпался, огоиь зажигал, ее перечитывал. И казались напечатаиные слова большими, крепкими. Читал их вслух внушительным шепотом. Вырастал будто, в иих вслушиваясь. Неужели забыла?

Из нмеиья господина Покровского уездиый Совет передал Интернациональной волостн большую библиотеку и часть обстановки барского дома, которую не успели разворовать, растащить.

Софрон сам сопровождал от завода до села воза с книгами и мебелью. Всю обстановку в бнблиотеку приказал доставить. Новый дом для библиотеки определил. Верх

в доме Жиганова. Дом большой, двухэтажный был. Жиганова в нижний этаж выселил. Жиганов не сопротивлялся, но в неделю одежда на нем обвисла и взгляд волчий стал. Обида прожгла. Сам Софрон установкой шкафов и мебели руководил. Надеялся Антонину Николаевну в библиотекарши определить. Смотреть сбежались со всего села. Даже хмурые небесновцы пожаловали. Потное лицо Софрона сияло, глаза искрились, когда помогал по лестнице пианино втаскивать.

— Заиграм теперь на городской музыке! А тя-желенная, почеши ее черт! Товарищ Кочеров, подпоешь под музыку?

У Кочерова в лице давно уж румянцу не стало. А тут скраснел и сердито пробурчал:

— Не по нам плясы, гармони да матани городски. Это вы уж для всей волости, Софрон Артамоныч, первый гармонист. Забавляйтесь.

Софрон намек понял, но только сплюнул. Не огрызнулся. Когда пианино втащили, Митрюха-писаренок сразу пальцем попробовал.

Потом ладное что-то подобрал. Кочеров вздохнул.

— Все бесовски утехи! Гвоздей бы лучше на деревню дали.

Когда стали разбирать картины, Софрон сам смутился. Голых баб много.

Артамон Пегих пальцем в одну ткнул:

— Все как есть! Соблазн. Это для господского распалу, а нам ни к чему. У своей бабы видали.

Небесновцы плевались. Софрон распорядился:

— Сожечь!

Митрюха-писаренок спохабничал:

— Знамо дело — куды нарисовану-то...

Кочеров вздохнул.

— Сжигай не сжигай, все одно разблудился народ!

Книжки были в дорогих красивых переплетах. Долго гладили и щупали их тугими иегнущимися пальцами. Такие в руках держали первый раз.

Артамон Пегих опять головой покачал:

— Не для мужицких рук. Засусолим! А чтение-то како в их?

Кочеров открыл том Пушкина на «Русалке». В глаза бросилась картина — опять голые. Сердито бросил на стол книжку.

— Непристойность одна!

Но Митроха-писаренок живо со стола подхватил.

— Э... Лександр Сергеич Пушкин! В школе слыхали. — И уткнулся в книжку. Потом вдруг закричал: — А занятно про самозванца тут!

Зачитал вслух. Скоро могучий хохот бородатых, пожилых мужиков покрыл чтение Митрохи. Очень понравилась сцена в корчме. Небесновцы ворчали, но подвигались поближе, будто ненароком. Хотелось слушать. Кочеров возмутился.

— Братья, светско чтенье для греха, для пустой забавы! Одна для нас книга — Библия. Можно когда и для пользительных сведений что почитать. А эту забаву прекратить бы. Не по нам!

Софрон торопливо стал перебирать книги.

— Всякие есть, всякие. Вот тут и по землепашеству есть. А эту тоже сожечь!

Артамон Пегих спросил:

— А про божественно есть што? Про божественно люблю.

Кочеров зло и презрительно хихикнул.

— В большевицку партию записался, а про божественно запросил. Они про бога-то как сказывают?

Неожиданно от стола лохматую седую голову поднял Иван Лутохин, небесновский сектант. Пророком звали. Всегда по Священному писанию предсказания делал. Глухо и торжественно его голос зазвучал:

— По Библии, по священной книге нашей, большевики поступают. В руках бога все поступки их и по бога велению. Написано у пророка Исаии: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал господь Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые — без жителей... И будут пастись овцы по своей воле, чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых».

Как все сектанты, целые страницы Библии знал наизусть.

Кочеров, как громом оглушенный, выкатил глаза и руками в стороны развел, будто увидал свои руки пустыми, а свое оружие в руках врага. Потом опомнился и яростно рявкнул:

— Ложь! Суесловие! Осуждат Священно

писанье поступки, дела и слова ваши. Осуждат! Гибель им предрешат. Сказано про конец, про ваш, у того пророка Исаии: «Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком странным, непонятным». Это про вас сказано! Про слова большевицки. Разнесет вас господь...

Но была ярость Кочерова больше от гордыни, чем от боли. Потому горели одни слова Ивана Лутохина, а кочеровские сказались и сгасли. Артамон Пегих тоже с дрожью в голосе в спор вступил:

— Большевики по-божески хочут!

И многие из софроновской партии сбились у стола, торжествуя. Рушить старое хотели, но привычно обогрело небесное покровительство. Вековым пластом темная вера насела. И как от стены глухой, Софроновы слова, в городу заученные, отлетали.

— Попы на нашей темноте наживались! Правильно поем: «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и не герой».

Артамон Пегих головой затряс.

— Про бога выхерить из песни! Не желам без богу!

Фронтовики загалдели. Семен Головин махал руками, буйно кричал:

— А нам твово богу не надо! Кому помогал? Богородица в девках родила.

Увесистым, сильным ударом отшиб его к стене плечистый, сумрачный сектант. Головин с наскоку на него и начал душить. Софрон разнимать кинулся. Ворочались на полу трое пыхтящим клубком. Ревом нестройным, бестолковым гудела над ними толпа. Визжала забежавшая на шум снизу баба:

— Задушили! Стриганова задушили!

Митроха-писаренок тоже разнимать кинулся. Его сзади Жиганов за шиворот схватил. Вцепились и в Жиганова. Скоро мужицкая рукопашная крушила вовсю. Стекла от шума звенели. Ломали стулья. Топтали тяжелыми сапогами дорогие переплеты упавших книг. И в драке кричали дико и зычно про веру, про бога. Прибежали бабы за своими мужиками, царапались, ловили за ноги, пронзительно визжали. Только когда избитому, в разорванной одежде Софрону удалось выбраться к двери, он послал верхового за охраной.

Сцепившихся в драке разливали водой, били прикладами и выгоняли из библиотеки. Семену Головину отшибли что-то внутри. Остался лежать на полу большой, замокший. По серому усу из поблекших губ текла тонкой струйкой кровь. А на лице ни страха, ни боли. Удивленье застыло.

Тонко, с причитаньем бабьим, проголосным, у ног его плакала жена.

Жиганов, уходя, зловеще и хрипло бросил Софрону:

— Вот эдак и тебя разутюжат.

Кочеров печально покачал головой:

— Темнота!

И тоже ушел. Софрон с оторванной полой по-городскому сшитого френча, с налитыми кровью глазами дико, похабно ругался, размахивал руками. Зол был на себя, что револьвера не взял.

— Не приучился еще ходить с ним. Тоже, солдат!

Наутро приехал из другого села фельд-

шер, написал удостоверение о смерти Семена Головина. В тот же день хоронили. Богатые, почетные жители галдели.

— Хоронить без погребения! Богохульник!

Но старик Головин в ногах валялся:

— Мир честной, сымите грех с души! Пустите сына до бога!

Смилостивились. Послали за попом. Старенький, совсем в селе неслыший иеромонах, вместо сбежавшего попа, был дня за два только до побоища в село прислан.

Он отпел богохульника. Когда гроб несли на кладбище, Артамон Пегих и Степан Гладких с дровами навстречу ехали.

Лошадь остановил Артамон, шапку снял и, кивнув на покойника, спокойно и ласково сказал:

— Домой поехал.

И в мудром взгляде его, проводившем гроб, не было ни жалости, ни страха.

Впитал за долгие годы единой с природой жизни: «Земля еси и в землю отыдеши».

Жена Семена Головина на кладбище дико, заунывно причитала. А вернувшись домой, вытерла слезы, надела старую одежду и сказала свекру:

— Айда ли, чо ли, в хлеву убирать.

И ни одной самой мелкой работы насущной в этот день не забыла, не перепутала. А вечером пришла к Софрону спрашивать:

— За мужика выдадут како способие, аль как?

Была за Семена из небесновских отбившихся взята. Грамоте сектантами обучена,

считать хорошо могла и хлопотать за себя сама умела. Долго и упорно с Софроном торговалась. Только ночью, все управив, в глухой и темной тоске залила едкими слезами грязную, засаленную подушку. Молодой мужик-то был и желанный. Опять же дети остались.

От Небесновки выборные к Софрону приходили:

— Нельзя ли дело об убийстве Семена Головина затаить. Для богу старались! Ненароком до смерти-то!

Но Софрон распалился из-за того, что его всего синяками украсили.

Дело требует на людях быть, а куды с такой мордой выйдешь? И френчу новехоньку раздерюжили.

Распорядился, и увезли сумрачного сектанта, начавшего драку, и еще трех мужиков небесновских в город в тюрьму.

Когда сошли с лица синяки, Софрон снова за устройство библиотеки принялся. Починили мебель, повесили на стенку портреты, печатную надпись «Курить воспрещается».

Внизу под этими словами Софрон рукописью подписал: «так же и плювать на пол». Прямо против выхода повесили большой плакат: великан-солдат разинул рот и кричит. А надпись на плакате: «Подписывайтесь все на военный заем». Нагнали баб. Те вымыли полы и окна и долго не хотели уходить. Пялили глаза на невиданные мягкие кресла, большие столы, шкафы с дверцами стеклянными. Ульяна-солдатка деловито щупала обивку на мебели:

— Рубли по три поди за аршин при царе плочено.

Дарья Софронова тоже убирать в библиотеке пришла.

Повяла баба, как муж начальником стал. Все молчит больше.

Бабы распаляли, про учительницу говорили. Губы подожмет и молчит. Строгая. А, видать, мается. Глаза в черных кругах, и старанья в одежде нет. Долго книги смотрела. От шкафа к шкафу ходила. Будто пересчитывала. Потом вдруг сказала:

— Попалить бы их.

— Кого?

— А книжки. Грех в них один. Народ из-за них беспокоится.

И ушла, хлопнув дверью. Когда шла по улице сторонкой с морщинкой скорбной у рта, по дороге новенькие городские сани проехали. В санях Софрон сбочку на сиденье, а рядом учительница Антонина Николаевна, лебедкой, свободно, по-господски расселась.

Белый платочек пуховой и нежный румянец на лице в глаза Дарьи ударили. Слезы выступили. Остановилась, кинуться хотела, закричать режущим бабьим визгом, исцарапать, заплевать. Но будто что-то вспомнила. Круто повернула и почти бегом до дому добежала.

Дома гнев на младшего сынишку излила. До синяков избила. Потом прижимала к себе вздрагивающее от всхлипываний пятилетнее тельце и жалобно тонко голосила:

— О... о... о... и... и... и... Смертынька-а-моя... О... и... м-а-а-м-ы-ы-нь-ка-а...

А в библиотеке Софрон перед барышней

старался: заглавия книг в шкафах читал, указывал, что все по-городскому.

— Здеся читальня и завроде клуба. Здеся вот книжки получать, а там дале для библиотекарши комнатка. Полюбопытствуйте посмотреть!

И торжественно дверь распахнул. Туалетный стол под белой кисеей, дорогие флаконы с духами. Кровать с блестящими шариками под атласным господским одеялом с двумя подушками, обшитыми кружевом. Дорогой, маленький, как игрушка, письменный стол на отлет от стены поставлен. В углу диванчик, мягкие пуфы и стол круглый, с белой скатертью. Все из дома господина Покровского.

Сияя радостной голубизной глаз, Софрон пояснял:

— Нарочно в городу у барышни одной досмотрел, как расставляют и что для барышнев полагается.

— Очень милая, очень милая комнатка. У вас вкус есть, Софрон Артамоныч.

Эх, теперь бы облапил! Сейчас бы посмел, глядит так задорливо. Да бабы мешают. В дверь гурьбой, как овцы бестолковы, суются. И Антонина Николаевна застесялась, опять в библиотеку прошла. Там мужиков уже много набилось. Артамон Пегих допрашивал:

— Этта самый Ленин и есть?

Софрон гордо, как своего знакомого, представил:

— Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Артамон голову набок, губами пожевал:

— Ничо, башка уемиста, мозговита.

И глазом хнтер. Волосьев только на голове мало.

Софрон заступился:

— Ты столь подумай, сколь он, н у тебя волос вылезет!

— Знами, их дело — не нашннско. Волосья нн к чему. Таскать за их некому. А форму-то для его не установилн еще?

— Каку форму?

— Ну, обнаковенно, царску. С пуговнцами там, с медалями, с аполетами. Эдак-то, в пинжаку не личит. Для Россен срамота: не одела, мол, сvово-то!

Софрон засмеялся и к Антоинне Николаевне повернулся:

— Необразованность наша! Все на старо воротнт.

Антоннна Николаевиа по-умному брови собрала н наставительно сказала:

— Новое правнтельство — от рабочих н крестьян, потому и в одежде не хочет роскоши.

Артамон Пегих, приподияв клочковатые седые брови, зорко осмотрел ее с ног до головы, губамн пожевал, но ничего не сказал. К портрету Троцкого повернулся:

— Этот ничо из себе, бравый! И шапка господска. Случаем не из жидов?

Софрон грозио прицыркнул:

— Ну, ты! Теперича жндам отмеиа вышла. Есь евреи, такой же человек, как мы. Почитай вои у Максима Горького, как иад ими при царе-то нзмывались.

Артамон Пегнх губами пожевал:

— Горького-то всем хватило тады. Все нспилн, зато теперь и в большевики запи-

сались. Сладкого-то мало ели. А я не для укору, у нас в Небесновке свои субботники есть. Парень бравый!

На столе, в рамке красного дерева, стояла кабинетного размера карточка Луначарского. Но подписи на ней не было. Антонина Николаевна и то не знала. Спросила:

— А это кто?

Софрон смутился.

— Кажется, по земельному делу комиссар. Чтой-то я запамятовал.

Артамон Пегих успокоил:

— Должно, сродственник Ленину какой.

Небесновцы на портреты мало смотрели. Больше читали через стекло названья книг. Кочеров пустой передний угол заметил и одобрил:

— Икону не навесили, это правильно! Всякому вхоже. Мы вот, к слову, икон не соблюдаем, башкирин тоже в нашей волости водится. Эдак-то для всех равно.

Артамон Пегих вздохнул:

— Да уж чо весить-то? И православны-то отбились! Тады за веру поругались да человека укомплектовали. Не примат нас теперь икона-то. Ы-хы-хы!

Бабы у плакатов сгрудились. Ульяна-солдатка сочувственно сказала:

— Милай, в роте-то все прочернело, как орет. Чо это он?

Но никто ей не ответил. Софрон властно объявил:

— Ну, буде покамесь глазеть, граждане. Завтра часы установим, когда за книжками ходить, тогда пожалуйте. А сейчас закрыть пока надо.

Артамон Пегих затылок почесал:

— Ладно. А по часам-то уж небесновски пущай ходют. У нх есь. А мы по брюху: до обеду да опосля до ужину. Прощенья просим. Занимайтесь!

За Артамоном пошли и остальные. Кочеров на Антонину Николаевну, уходя, искоса взглянул.

На крепкие крючки Софрон дверь закинул и к Антонине Николаевне взбудораженный, радостный вернулся. А она опять тихонькая, строгая за столом стала. Как подойти?

— Дак вот, Антонида Николаевна, для вас расстарался! Получайте, хозяйствуйте!

Она тревожно в окно выглянула и улыбнулась Софрону. Но бегло, испуганно.

— Это вы про что?

— В библиотекарши вас определям! Для вас старался! Седни и переехать... А?

Голос мужским горячим нетерпением дрогнул. К ней за стол пошел. А она боялась, ежилась... Но комнатка уж очень хороша! Протянула ему руки. Как перышко на руки поднял.

— Софрон Артамоныч, Софрон Артамоныч... Куда?.. Девушка я...

— Баба будешь!.. Лапушка!..

Нес и давил лицо губами раскаленными. Будто отпечатать поцелуи мужицкие хотел. Но в дверь выходную забили настойчиво, часто. Антонина Николаевна с силой уперлась руками в грудь.

— Пустите... Ради бога!

Даже губы побелели! Какого черта принесло? Рвется Антонина Николаевна, ногами

бьет, а в дверь стук все сильней и тревожней. Не донес, выпустил. И злой, багровый, взлохмоченный к двери кинулся.

— Кто там?

За дверью голос Дарьи, властный и дерзкий:

— Открой!

Антонина Николаевна тоненько, по-заячьи, взвизгнула сзади и в дальнюю комнату кинулась. Софрон сразу опамятовался: внизу стук услышат. Торопливо откинул крючки. Дарья вошла бесстрашно, лицом и грудью вперед. Софрон отступил. Не то испугался, не то растерялся. Дарья сама оба крюка опять накинула.

— Всей волости начальник, а ум-то, видно, в ж... ушел! Средь бела дня эко дело завел. Где б... то?

Голос у Дарьи оборвался, лицо пятнами пошло, а в плечах дрожь, в глазах — мука.

— Дарья! Убью!

— Не маши кулаками-то! Неколи. Небесновцы сговорились тебя за блудом поймать. Солдатка Кочеровска выболтала... Страм, страм какой! Прибегла я...

И голос оборвался.

— Придут, дак жена тут! Лучче сама топором зарублю!

Диким выкриком последние слова сорвались.

Софрон в разум пришел. Отвела баба беду. Не простили бы битому за блуд! Главный в волости — и за такое дело битый. А то и убили бы сами. Сразу стихшим голосом сказал:

— Жена, как же теперь?

У той лицо злоба скосила:

— Пакостить умеешь, а концы хоронить учить надо?

И властно к дальней комнате пошла.

— Барышня, госпожа! Айда суда. Бить не буду. Опосля рассчитаюсь. Иди суда, сволочь!

И за руку Антонину Николаевну вытащила. У той от испуга слезы высохли. А волосы и юбку с кофтой уж поправить успела.

— Придут, виду не кажи, Софрон...

А в дверь застучали. Дарья кивнула на дверь.

— Открой.

Софрон откинул крючки. Первым вошел Артамон Пегих. За ним Кочеров и еще четверо. Три мужика небесновских, три тамбовских, а на лестнице бабий бестолковый гомон. Учительница городская — штучка тонкая. Сразу подбодрилась. Как ни в чем не бывало на вошедших глянула, Дарья глаза в землю, а тоже спокойная. Разом увидал Кочеров, что сорвалось.

— Прощенья просим, Софрон Артамоныч. Слыхали, что вы здесь еще, насчет газеты зашли. Спор у нас вышел.

Артамон Пегих простодушно заявил:

— Кака газета! Сказали, с учительшей в новом помещенье грехом занимашься. Старики обиделись. Поучить хотели: блуди, да место и время знай. А, промежду прочим, и нехорошо.

Антонина Николаевна тоненько охнула и руками всплеснула. Дарья грубо и спокойно заявила:

— Брешут все из ненависти небесновски.

Софрон мне приказал прийтить, как все уйдут. С учительшей, говорит, чайком побалуешься на новоселье.

Артамон сердито в ответ буркнул:

— Како новоселье! Не дозволям здесь учительницу! Мужчину надо, из городу. Эдака чо разъяснит?

Софрон поспешно подтвердил:

— Знамо, попросим из города.

Антонина Николаевна все порывалась сказать что-нибудь и слов не могла найти. Вся пунцовая у шкафа стояла.

Кочеров задумчиво бороду погладил и сказал:

— Ну, нам здесь делать нечего. Мир прислал, не своей волей пришли. Айда-те, граждане!

У Софрона все кипело внутри, но Дарья смущала. Сдержанно и спокойно ответил:

— Не след старикам бабью брехню слушать. Необразованность одна!

Мужики вышли. Задержался только Артамон.

— Ты, Софрон, башковитый. А, промежду прочим, остерегайся. Дыму без огня не бывает.

Потом ясно, умно на Дарью взглянул и улыбнулся:

— Баба-то у тебя разумная. Не в пример прочим!

И ушел.

Как остались одни, Дарья опять властно сказала:

— Айда, барышня, одевайся да уходи. А то кипит, сгребу! Спарились ай не успели?

Антонина Николаевна опять заплакала.

— Господи, как вам не стыдно! Где моя шубка?

Софрон угрюмо сказал:

— Помолчи, Дарья, ничо не было...

Его тянуло к плачущей Антонине Николаевне, но боялся дикости Дарьиной. Потому тяжело дышал и смотрел, будто безучастно, как надевала шубку учительница. Только, когда к двери пошла, сказал просительно, робко:

— Антонида Николаевна, лошадь на дворе. Мальчонка жигановский отвезет.

Учительница поняла, что так лучше будет, кивнула в ответ головой и вышла. Дарья проводила ее загоревшимся злобным взглядом.

— Ну, айда домой, Софрон. Только вот тебе мое слово: зарублю, если еще! Ты думаешь, я кого пожалела? Детей своих пожалела! Как был ты пьянчуга распоследняя, под забором тебе подымала, сколь раз молилась: умер бы, господи... Жалеть бы не стала. Люди бы не надсмехались. И на детях покор: пьянчужкины, Софроновы. А как выправился ты, детей никто не шпынят. А кто кольнет, так из зависти. Из-за детей себя скрутила! Помни, Софрон, еще не стерплю. Зарублю.

Встретились глазами, и не Дарья, Софрон свои в сторону отвел. Отвердела баба: зубы стиснула и в глазах черных — упорство.

Всегда так размышлял Софрон:

«Баба — народ подлеющий: потому в ей дух на острастке только живет».

А сейчас острастки не находил, сам оробел и поверил:

«И весьма просто, эдака зарубит».

Ночью, когда помирились н обмякла баба от ласкн мужиниской, обимая, всетаки подтвердила:

— А разговору нашего ие забывай.

IV

Баба в жизни всегда препоиа. Одолела Софроиа Антоиииа Нниколаевна. Лезет в душу ежечасно и мешает в делах. От разлуки еще больше распалился. В школе видались часто. Только все иа людях. Старался киигами заияться. Напрасио бился. И к библиотеке охладел. Из города ответили: прислать в библиотекари некого. Образоваииый иарод к большевикам иа работу идти не хочет. Советовали из своих кого-нибудь приспособить. Из мужиков некого. Всех позаиимал новый порядок. Председателей и секретарей миого потребовал. Артамон Пегих недаром жаловался:

— Куда нн плюиь, иа председателя попадешь!

И все на грамотных спрос. А в селе оин наперечет. В сельской школе почти все обучались, да позабывали учеиье. Одии раз пришла к Софрону жена Семена Головнна, прошеиие прниесла о пособнн, которое Софрои за мужа обещал, да выдать позабыл. Все слова в прошении к месту были подобраны, н буквы чнтать можно, вполне разберешь.

— Кто писал прошенне тебе?

— А кто будет? Я сама. Начетчики-те

нашинские, спасибо, с малолетства обучили. Все письма мужу на службу сама писала.

— Ну, ладно, будешь у нас по книжной части. Жалованье получишь, вот тебе и пособье.

И назначил Головиху библиотекаршей. Комнату, для Антонины Николаевны приготовленную, заперли. Открывали только на случай приезда городских, а Головиха приходила с утра, свекра и ребятишек двух малолетних накормив. Сидела до полудня, потом опять домой шла, кончала с обедом и до вечера опять в библиотеке.

Обязанности свои она выполняла старательно. Сказал ей Софрон, что надо в тетрадку выданные на дом книги записывать. Так и делала. И неровным, но разборчивым почерком записывала в тетради:

«Качиров молоканский поп узял откуда появились люди на земле».

«Дед Евстроп узял без заглавию».

Книги давать на дом очень не любила, выбирала только старенькие и без картинок:

— Наляпате еще что на книжку! Не трогай — пущай стоит! Вот эту можно.

Два раза в неделю мыла в библиотеке полы и в эти дни посетителей не пускала.

— Пущай обсохнет! Завтре придете.

Сама очень любила смотреть картинки в иллюстрированных журналах. Читала мало — некогда. Больше, сидя в библиотеке, занималась починкой и вязаньем крючком кружев на продажу и узорчатых чулок, которые в моду в деревне вошли. Очень боялась ребятишек и парней. Орлицей кидалась за ними к книжному шкафу.

— Упрут чо, н не опомннщься!

Но отучнть нх от бнблнотеки не могла. Онн былн самымн частымн посетнтелямн. Барабанилн на пнаннно, смотрелн картннки н чнтали кинжки. Мужнки заннмалнсь больше газетамн. Заовражннские прнходнлн слушать. Кто-нибудь нз небесновцев чнтал обычно газету вслух. Головнху скоро одобрять началн. Баба разумная, со всемн соглашается. Начнет Кочеров говорить, что оттого неустройство у нас, что бога забылн н божьего слова не знают. Головнха вздохнет н поддакнет.

— Совсем народ спутился! А без богу как?

Говорнт Софрон, что попы обман делалн, народ обнралн, тоже головой кивнет:

— Сказано, у попа глаза завидущн, руки загребущн.

Когда «Интернацнонал» пелн, она подпевала. В церковь ходнла по праздннкам нередко. Уважнтельностью своей всем угождала. Платье и прн муже иосила по городскому образцу, только кофточку навыпуск. Теперь голову стала держать н в комнате непокрытой, а волос не взбнвала. Добро бнблнотечное зорко храннла. Это тоже ценнлн мужнкн.

— Домовнтая баба попалась!

В городе как-то вспомннлн про бнблнотеку. Софрона запроснлн: много лн кинг нз именья господнна Покровского доставлено? Софрон сообщил: трн тысячн. Ахнулн н напнсалн, что прншлют нз города знающего человека книгн просмотреть н порядок в бнблнотеке устронть.

Бурлнвые, беспокойные дни череду свою вели. Потеплело дыхание ветра. Оселн, побурели снега. Из-под иих пахнуло иа людей волиующей истомой земли, ее весениим желаньем и предчувствнем оплодотворения. Чаще беспокоилась в стойлах скотииа. Изводились похотливым мяуканьем иа крышах коты. Румяицем жарким чаще приливала кровь к щекам девок. Податливей стали на ласку, разомлели и льнули к мужьям бабы. В сумеркн вместе с густеющей темиотой иадвнгалась на молодых сладостиая тоска, от которой беспокойным становнлось тело. Старики мудрыми, знающими глазами определяли, когда иа дворе и в семье будет приплод.

Хватками мучить стало Софроиа любовное томлеиие по Аитонине Николаевне. Часто, грубо н жадио ласкал жену, но только сумрачней и злей стаиовился после этих ласк. А Дарья стихла. Двигалась плавиее и мягче, бледией лицо стало. Взгляд виутреннни, теплым и мягкнм светом засветился. Ребенка понесла. Ее бояться Софрои перестал. Но Аитоиина Николаевиа сама ловко встреч иаедиие избегала. Пожелтевший и хмурый, ои каждый вечер метался в школе н уходил домой замученный. Всегда у Аитонины Николаевиы другие учительиицы или солдатки.

По-городскому развязиые, дерзкие, они больше всего мешали Софроиу. В хитром смехе, в скользиувшем иамеке они давалн поиять, что видят тоску Софроиа. Ои иастораживался н уходил.

В одии вечер, по-весениему истомиый,

Софрон, желтый и усталый, разговаривал с мужиками. Стоял в классе бестолковый, мутящий голову галдеж. Шли перекоры о земле, о весеннем надвигающемся посеве, о том, как распределять засевы озимых, о сделанном учете сельскохозяйственных машин. В школу вошел приезжий в городском меховом пальто нараспашку, в штанах галифе и френче, с красной звездой на черной кожаной фуражке, с пузатым черным кожаным портфелем под мышкой.

В споре его не приметили сразу. Растолкал народ и прямо к Софрону. Спросил скороговоркой:

— Где здесь исполком? Это какое собрание? Ячейка в селе имеется?

Софрон ни на один вопрос ответить не успел, а он уж опять скоро-скоро сыпал словами.

— Здравствуйте, товарищ! Я вас в городе видел, сразу же узнал. Вы, кажется, здесь предволисполкома? Ага, отлично! Поедемте в библиотеку сейчас. Вот мой мандат. Это собрание ячейки? Слышал, слышал, вам удалось сразу многочисленную организовать. Здравствуйте, товарищи, готовитесь к выборам в Советы? Какие планы у вас земельного распределения? Да, да, знаю, разбились на коммуны! А где здесь меня чаем напоят?

Артамон Пегих даже головой покачал и внимательно в рот приезжего посмотрел. Подумалось ему:

«Чисто машинка кака внутре слова выгонят. Так и сыплет! Рвач ай пустобрех?»

Пока приезжий стрелял без отдыха вопросами и сам отвечал на них, Софрон прочитал мандат и, уловив минуту, объявил собранию:

— Инструктор по просветительной части. Вам желательно библиотеку посмотреть?

— И библиотеку, и в ячейке вашей позаняться. Программу проштудировали? Обратите внимание на вопрос о нашей земельной программе. Я вам сейчас объясню...

Передохнул, потому что Антонина Николаевна вошла. Улыбнулся ей широко и радостно, отчего сразу милым стало курносое, скуластое лицо.

— Здравствуйте, здравствуйте, а я ведь забыл, что вы здесь обретаетесь! Право! Совершенно забыл! Вы ведь помните меня? Ну, да, да! В партию еще не решились записаться? Надо, надо! Интеллигенция саботирует, но у вас здравые суждения. Чаем напоите? Я сейчас вот.

К мужикам повернулся и сразу умным и острым, странно противоречащим беспорядочной говорливости, взглядом в лицо Жиганову уперся.

— Вы из крупных хозяев? Сельскохозяйственные машины есть? Это неизбежно, вспять ничего не повернете! Пролетариат сумеет заставить признать его волю.

В полчаса метко, верно выделил из толпы взглядом и вопросами представителей разных толков расколовшейся, смятенной деревни, наговорил много слов, но уже приучил понимать его скороговорку.

Артамон Пегих утвердил:

— Рвач.

Софрон засмотрелся на его подвижное, будто брызжущее мыслью, движением, словами лицо. Даже об Антонине Николаевне забыл. Вспомнил, и заныло привычным, нудным ставшее томление, только когда инструктор сказал:

— Поедемте с нами, товарищ, в библиотеку. Вот мы с предволисполкома... товарищ Конышев, да? Я помню. Фамилии сразу запоминаю. Ну, поехали! Втроем не тесно в санях? До завтра, товарищи! С сектантами мне очень интересно побеседовать. Небесновка у вас где?

В санях дорогой вдруг притих. И было непонятно Софрону, слышит он его или потонул в своих думах. Лицо в сторону отвернул — не слушает, видно. Но Софрон, путаясь, продолжал рассказ о волостных делах. Кровь жгла, потому что тесно втроем в санях. Плечо и нога Антонины Николаевны через полушубок слышны. Говорить все-таки легче, чем молчать и слушать буйный трепет желанья. Но слова неровные, негладкие выходят.

А инструктор, оказывается, слышал. Выходя у библиотеки из саней, сказал Софрону:

— Вы правы: трудней всего с сектантами. Книжники, каждую букву учтут, а декреты у нас того... Не всегда ясные. Что? Не хватает людей? Город поможет, только и там мало. Товарищ Хлебникова, прыгайте! Приехали!

Головиха закрывать библиотеку собиралась. Препиралась с молодежью, не желав-

шей уходить. Увидав вошедших, сразу поняла:

«Из города начальство».

Поправила кофточку и, приветливо улыбаясь, поклонилась чуть не поясным поклоном.

Инструктор сразу уперся взглядом в плакат, изображавший солдата с разинутым ртом. Заливисто и громко засмеялся:

— Это вы что же, все на заем свободы подписываетесь? Товарищ Конышев, как же это вы проспали? Товарищ Хлебникова, а? Снять, снять! Запоздали. Ах, чудаки! И книжки у вас, верно, так же: на стенах — рядом с Лениным — заем свободы, а в шкафах — вместе с Марксом — Иоанн Кронштадтский. А? Товарищ библиотекарша. А? Не читали книжек-то? Иоанн Кронштадтский есть? Убрать, убрать вместе с плакатами.

Головиха сконфузилась.

— Где их тут все-то углядишь каки! Да новы-те трепать не даю. Стоят, и не видать каки. Так, тряпочкой обмахну....

— Тряпочкой! Большевики, товарищ, народ такой: хотят, чтобы все скоро и первый сорт. Мы срочно сделаем всех грамотными и умелыми. Библиотеки сразу все поставим по последнему слову библиотечной техники. Вы не слыхали про десятичную систему Дьюи? Таблицы Кеттера здесь есть, товарищ Хлебникова?

Головиха вдумчиво повторила:

— Ке-кеттера.

И по привычке согласилась:

— Да, да... Кетера.

Инструктор взгляиул в ее карие ласковые, со всем соглашающиеся, но умиые глаза и засмеялся сиова.

— Откуда вас товарищ Конышев откопал?

И броским шагом пошел ходить от шкафа к шкафу.

Головиха вдруг испугалась и растерянно-беспомощио всех осмотрела.

Инструктор вытащил из пузатого кожаиого портфеля, который все время ие выпускал нз рук, две белеиькие киижечки и стал объяснять всем, как ими пользоваться при приведении в порядок библиотеки.

Головиха, округлив глаза, виимательио смотрела ему в рот. Подростки и два шестиадцатилетних пария сгрудились у пиаииио. Двеиадцатилетний сыи Софроиов Ваиька, случайио взгляиув иа Головиху, громко фыркиул.

Иистуктор оборвал речь и повернулся к иему. Но в этот момеит Головиха подошла к иистуктору и ласково тронула его за плечо.

— Слышьте, господии... Товарищ то ись. Больио трудиа этака грамота. Поиять можно... Отчего ие поиять? Но так што, детиая я.

Иистуктор смолк и в первый раз ие поиял:

— Что, что?

— Детиая, мол, я... Уж смилуйтесь! Куды тут Кеетер. Одиому подотри, другого покорми, третьему рот заткии. Трое их у меия, детей-то... Уберешь да суды айда. А тут тоже, полы два раза в иеделю мою. Уж сде-

лайте такую милость, попроще как изъясните.

И в карих глазах такая оторопь и тоска, что у инструктора смех ласковой нотой оборвался.

— Детная, говорите? Ну, ничего, подмогу вам дадим. Все-таки грамотная, а? Нет, товарищ Конышев, ведь это трогательно: «детная»!.. А мы в планах намечали: библиотекарь должен быть универсально образован. Но «детная» — это хорошо. Мобилизуйте учительниц, товарищ Конышев. Библиотеку обязательно привести в порядок! А вы не беспокойтесь, товарищ библиотекарша, очень понятно все изъясним. Привыкнете! Для полов подмогу найдем.

Инструктор долго и ласково с Головихой говорил. На свои вопросы отвечал сам, но она расцвела улыбкой и кивками головы все ответы утверждала. Потом с молодежью занялся. Ванька Софронов поразил его и отца. Требовательно, с дерзкой усмешкой в серых глазах, он задавал инструктору вопросы о новых порядках, о распределении земли, об отношении города к деревне.

— Дать-то еще ничего не дали, а шерсть собрали! На ново войско то и дело: полушубки, валенки, хлеб! У хозяйства дело делать не дают. Все мужики в председателях да делегатах. Как мужицко хозяйство будет? Войну, сказали, кончам, а еще друг с дружкой схватились.

В дерзости слов, которые бросал срывающимся напряженным голосом, в вызывающей усмешке глаз — смятенная ищущая мысль.

Хотел инструктор отделаться фразой «лес рубят — щепки летят», но, неожиданио для себя, обиял за плечн Ваньку, стал ходить с ннм по комнате н посыпал мелкнй, но четкнй горох своих слов, зазвучавшнй глубокой полнотой человеческой искренности.

Говорил о том, что пластом тяжелым земля придавнла деревню. Была сытее, но темнее, глуше. Миллионы иарода жили, как кроты, с тяжелымн мыслями, с упорством мертвых, отживших верований, с тупой покорностью всякой палке. Все условия быта обрекалн на продолжение такого существования. Кто приобретал знанне, в деревню больше не возвращался. Огромная могила при жизнн для миллионов людей: только труд, пьянство, днкие суеверья.

Пока царил прежний порядок, ни школы, ни тумаиные картины, ни разговоры изменить порядка ие моглн. Они только толкали к тому, что совершилось. Надо было разрушить систему этого порядка.

— Я ие буду тебе рассказывать, что иадо для города, а для деревни надо: облегчнть труд, освободить человеческие силы для того, чтобы ум работал. Для облегчения труда иужны машииы. Везде, где можио освободить тело человека от иатуги. Машииы делают в городах. Чтобы их сделать так много, как надо, необходимо освободить рабочих от хозяев, устроить хорошо их жнзнь. Освободилн. А чем кормить? Деревня для своего освобождения должиа тянуться?

Он говорил долго и, в общем, несвязно.

Когда замолк, Ванька Софронов сразу простым детским голосом вывод сделал:

— Стало, деревню отменят? Привезут суда всяки машины, все по-городскому устроют. Вон чо!

Видно было, что еще не решил, хорошо ли это — отмена деревни. Но глаза его засветились мягким блеском. Он застенчиво улыбнулся, бережно снял руку инструктора со своего плеча и выбежал из библиотеки.

Софрон не верил своим глазам и ушам. Старшего сына своего он два раза бил тяжким мужицким боем, потом старался не замечать. Сквернослов, курильщик, забияка, он не был изувечен мужиками только потому, что отец в силу вошел. Кроме похабной частушки и дерзких ответов, дома от него ничего не слыхали. А сейчас он так глубоко, хозяйственно язвил инструктора, что, видно, много узнал за это время и передумал. Знал все мужицкие тревоги.

Инструктор взволнованно сказал:

— Д-да. Умный мальчишка! Замечательный молодняк у России.

И Софрон раздумчиво, как будто размышляя, ответил:

— Да, пожалуй, эдаких никто задницей не придавит! Вырвутся!

Неожиданной волной колыхнулось отцовское удовлетворенное чувство.

— Мой халиган-то. Сын.

— Замечательный мальчишка.

Узнав о приезжем человеке, набрался в библиотеку народ. Антонина Николаевна на пианино играла, а все старательно, долго, на церковный медлительный лад, сближая

«Интернационал» с национальной заунывной песней, тянули:

> Никто не даст нам избавленья,
> Ни бог, ни царь и не герой...

Инструктор уехал к Антонине Николаевне чай пить. Ночлег ему был приготовлен в библиотеке. Когда он вернулся, из библиотеки еще не разошлись. Заговорились, и беседа была необычно мирной.

У Софрона екнуло сердце, когда инструктор вышел с Антониной Николаевной. Но рассеял и отвлек разговор с народом. Говорить ему хотелось. Ожили, двигались и беспокоили мысли. Когда вернулся инструктор, на душе стало совсем легко. Шел домой и гудел:

> Кто был ничем, тот станет всем...

Дома прежде всего спросил Дарью:

— Ванька дома?

— Спит.

Ванька спал на полу, у печки, с братьями. Кровать была только одна, супружеская. Софрон посмотрел на разметавшегося во сне сына, усмехнулся и неловко, но бережно поправил азям, которым сын одевался.

Инструктор прожил три дня. На второй вечером Софрон опять был угрюм и лицом темен. Щемила ревнивая тревога.

Целый день Антонина Николаевна и другие учительницы работали в библиотеке с инструктором. И Софрон в этот день видел, как шли они рядышком по улице. Инструктор под локоток Антонину Николаевну под-

держивал. А она заливчато смеялась и сияла глазами.

Софрон, мучаясь своей болью, избил ночью Дарью. Проснулся Ванька и кинулся на отца. И кричал отчаянно и звонко:

— Я знаю, с чего тебя корежит! Уходи от нас, а мамку не трогай!

Дарья так была поражена его заступничеством, что плакать перестала. Ванька всегда нехотя, с издевательством с ней разговаривал. Обидой глубокой терзал ее материнское сердце. Софрон махнул рукой и, хлопнув дверью, вышел на двор. Потом, в одном летнем пиджаке, без шапки, как был, почти бегом двинулся к школе. Тяжелый от револьвера карман бил его по боку. Теперь он его никогда не забывал. В школе было тихо и темно. Софрон стоял долго, продрог и, опустив голову, пошел домой. От ворот круто повернул к библиотеке. Там еще горел свет, и в освещенное окно Софрон увидел инструктора. Он размахивал руками и что-то говорил. Сердце застыло в вопросе: с кем? Но в этот момент хлопнула наверху дверь, и донесся голос Митрохи-писаренка:

— Ладно. Заночую. Сичас до ветру только схожу!

Легким стало тело. Сразу почувствовал Софрон, как продрог и как хочется спать.

Ночью, накануне отъезда инструктора, Софрон опять дежурил у школы. Закутавшись в черный тулуп, прилип к черному сарайчику во дворе школы. В окнах комнаты Антонины Николаевны был огонь, но занавески, пропуская свет, разглядеть, что делается в комнате, мешали. Час или год

стоял? Так велика была мука, что о времени забыл. Когда застучали засовом выходной двери, вздрогнул, как от удара.

— Ну, спи!

— Завтра провожать приду!

— Не стоит, рано уеду. А? Да, да, в городе увидимся!

Рванулся было за ним, но одним прыжком очутился на крыльце, у незапертой еще двери. Стояла, стерва, вслед смотрела, хоть и скрылся любезный уж за углом!

— Кто это? А-а!..

Стиснул ей рукой щеки и рот и, подхватив под мышку другой рукой, втащил в ее, недоступную для него в такой час, комнату. Для него недоступную, а для этого, городского... Зубами скрипнул, а глаза и уши, как на охоте, ловили все... Никто в сторожке не зашевелился. Крепко спят. Повалил ее на пол у двери, и, прижав коленом рот, запер дверь на крючок.

— Только закричи, сволочь, башку разможжу!

Выхватил револьвер, махнул перед остановившимися, будто окаменевшими от ужаса и удушья глазами и освободил рот. Она с трудом и болью передохнула и встала.

— Только заори, попробуй!

— Не буду, Софрон Артамоныч!..

— «Артамоныч»... Заигрывала, а давалась другому. Показывай, не обсохла еще? Ах ты, шкура, б...

Бурный, прерывистый поток ругательств, самых безобразных, ошеломил ее. Попятилась от него к окну. Но он рванул ее грубо к себе, уронил опять на пол и, разрывая

платье, навалился, закрыл собой и широко по полу разметавшимся тулупом.

В скверности и жестокости этого обладания самой едкой обидой, ранящей человеческое, было ощущение: ее тело привычно отвечает:

— А-ы-ы-х!

Встал, плюнул ей прямо в лицо, толкнул ногой и повернулся к двери. Тонкие, белые руки вцепились в него. Вскочила, прижалась телом, сегодня еще так страстно и свято желанным. А сейчас стало противно. Рванулся и заорал, не думая ни о какой осторожности:

— Ну-у!

— Софрон Артамоныч... Софрон... Не говорите никому... Я вас люблю... Я буду вашей... долго... всегда. Не говорите никому... Не сра-а-мите меня...

«И ведь лезет после всего! Только бы людям чистенькой казаться...»

В глазах мука и отвращение, ноги ноют от грубого мужицкого обладания, а губы шепчут:

— Я буду вашей... Не говорите...

— Ах, шкура! Па-а-кость!

Рванулся, выбежал, не помня себя от злобы и отвращенья. Деревенская девка морду бы искусала, а эта барышня... Он-то на них снизу, на беленьких, из своей-то грязи, как на бога. Ах, стерва, стерва!.. Притворялась недотрогой, мужика одуряла. А-а!..

Антонина Николаевна утром рано с инструктором в город уехала. Софрон весь день в кровати пролежал. Голову мутило, думать не давала обида. Перед кем с прахом себя

мешал? Все они, городские, такие! Видом обманные, а сами подлые. Учителя! Спасители!

Дарья подходить к нему боялась, детей отгоняла и на них цыкала. Только раз спросила:

— Может, квашеной капусты на голову-то? Поможет.

— Не надо...

Мужики приходили, притворялся спящим. А Дарья с непритворной тревогой говорила:

— Трясучка ай сыпняк.

Ночью, когда Дарья осторожно улеглась рядом, стараясь не толкнуть мужа, он вдруг бережно, любовно притянул ее к себе и прижал губы к белой, набухающей в беременности груди.

Не мыслью, звериным чутьем, никогда не обманывающим, почуяла всю глубину его нежности и тихонько заплакала.

— Софрон... Желанный, соколик...

— Помолчи, Дарья... Помолчи, мать. Дура моя деревенска...

V

Слова, как набат, короткие, звонкие, звуком чуждым пугающие, все чаще и чаще доносятся. Еще заставами неснятыми мешают им сто пятьдесят верст до уездного города, сто десять до ближайшей станции. Еще дыхание великой тревоги только колыхнет и сгаснет в промежутке между бурей и глухой, мужицкой, застарелой тишиной. Но уже нет старого, унылого, в безнадежности страшного покоя. Еще живут за печью

бабкины поверья, но уже пугаются и прячутся от криков новых деревенских коноводов.

Вернулся в Интернационаловку. Тамбовско-Небесновку тож, Редькин. Он долго пропадал в городах. Был не только в своем уездном, а и в губернском, порядки проверял. В селе дивились, что вернулся живой. Говорили:

— И чем жив человек? Костяк один остался, и тот некрепкий. Гнутый. Спина дугой. А все ерепенится! Еще лютей стал.

Только Артамон Пегих, на улице Редькина повстречав, зорко в лицо его посмотрел и деловито сказал:

— А недолго тебе, Филимон, гомозиться-то! С ручьями смоет тебя.

Редькин взъерошился, обругаться хотел, но только сплюнул и отозвался глухо:

— Гляди, не твой ли черед? Отбатрачил до пределу, старик. А я еще потяну. Худо дерево два века скрыпит!

И в жарких глазах беспокойная мольба к жизни: дай эти два века!

Артамон губами пожевал и раздумчиво отозвался:

— Все может быть. Упористы вы, нонешние-то. Жадности до белого света в вас много.

И пошел к своему двору, старый, сгорбленный, до света белого нежадный, спокойно взглянувший в близкий свой предел, но на ноги еще крепкий, о внуках радеющий, большевик Артамон Пегих.

А Редькин Софрона по всему селу искал: допросить, долго ли будет слюни распускать,

с молоканами манежиться. И не нашел его в селе.

Софрон на соседний хутор Хворостянский уехал, где переселенцы горемычные на каменистом, мало плодном, будто для них средн окрестных угодий плодородных вынырнувшем участке осели. Теперь волисполкому заявление подали:

> «Мы нижеподписавшие крестьяне деревни Хворостянской в шестьдесят четырех дворов собравшись на сходе в числе сто три человек постановили дать нам землю Небесновских молокан как на камне ничего не растет а к тому как земля ничья как тому пункту есть декрет большевицкого правительства, которому единогласно придерживамся как есть буржуи которых бить есть наше согласье к сему руку приложили».

Заявление написано лихим почерком Макарки, по прозвищу «Пройди-свет», присяжного хворостянского писальщика жалоб и челобитных. А под заявлением корявые буквы подписей и унылые кривые кресты неграмотных.

Обидой, барышней нанесенной, взбодрило Софрона. Горьким дымом разочарования, как лекарством едким, прочистило глаза. Появился в сини их свинец, которого раньше не было. Отошел туман мечты, и увидал Софрон: тянулся в плен к чистеньким господам, а в них правды нет. Защиты от них не

будет. Издали только приманчивы. Сверху улыбку шлют, а рядом стать ие дозволяют. Рылом, дескать, не вышли! А, ие вышли? Наша власть! И как всегда бывает, когда ожжет кнутом обида, ожили старые боли, казалось, нзжнтые н забытые. Бежал с фронта одичавший, жестокнй от дурмана бойни. Тогда ие боялся, ие жалел иикого. А в своей деревие отошел, разиежился иикогда раиьше ие испробоваиным почетом и доверием. Бей их всех, сволочей! Всех, кто слово поперек! Наша власть! Сразу увидал, что иичего еще ие делал, только мечтал и сам «маломочиых» одурял. Скуп н резок иа слова стал, на книжки, иа библиотеку господскую плюиул. На другой же деиь, как встал, за иебесиовцев прииялся. Большой гурт скота отобрал, в город иа прокормленье Красиой гвардии послал. Когда узиал, что в молитвеиом доме евангелических христиаи иа собраиии в слове своем Кочеров поступок его осуждал, Кочерова самолнчно иагайкой исхлестал и в город в тюрьму отправил. Молитвеиный дом печатями запечатал:

— Будя! Попели псалмы, на работе брюхи потрясите!

К хворостянцам поехал распалеииый и готовый выполнить просьбу их.

Там, вместе с криками «будет, попили иашей кровушки!», «иечо валаидаться, прикрутить богатеев!», передали ему жалобы на то, что товаров иикаких в деревне нет, деготь дорог стал, что доктор в Романовке старого правительства «придорживается»: лекарств никаких ие дает, от дурной хвори солдат ие вылечивает. В гомоие крепкой

мужицкой брани, несвязных слов и крика раззадорился сам и распорядился:

— Лавошников перетрясти всех. Где запрятали товары? Нещадным боем бить, пущай скажут! Дохтура тоже поучить и в город отправить, а для округи в больницу за дохтура Пантелея-санитара поставим. Он всяки порошки знат. Выдавать будет. А сам я завтре в город, ищет требованию: какие есть наши права?

И уехал. А следом за ним, на дровнях три подводы с хворостянскими. На перекрестке расстались. Софрон в волость к себе, а хворостянцы в Романовку: доктора учить и Пантелея-санитара на место его поставить.

Бурый снег под ногами проваливался. И в сумерках вечерних лежал по краям дороги, потемневший, пасмурный. А в степи тишина была переполнена ожиданием весенних бурь. В этой, затаивший в себе крик нетерпенья, тишине дышалось тревожно. Софрон понукал кучеренка Саньку и ерзал беспокойно в санях.

В Интернационаловке уже зажгли светцы и кое у кого керосиновые лампы, когда Софрон приехал. Мелькали в окнах и огоньками своими сгущали мрак в углах улиц, у ворот. Оттого не разглядел Софрон, что у его ворот стоит Редькин, и вздрогнул, когда тот отделился от забора черной длинной фигурой.

— Ктой-то?

— Я, Редькин. Куды раскатывал?

— В Хворостянку. Айда в избу! Дело есть.

Редькни рассказал мало. Похожий иа сурового угодинка с иконы старого пнсьма, худой, с бороздиикой глубокой и сумрачиой меж бровей, он ннзко опустил голову, смотрел строго исподлобья н только кашлем да отрывнстымн редкими словами прерывал рассказ Софрона. Оба решили иа свету выехать в город. На огоиек заглянул Артамон Пегих и тоже с ними выпросился. Ванька сидел у стола за кйижкой. С отцом и матерью разговаривал по-прежиему скупо, иеохотио, но реже стал убегать вечерами иа улицу. Услышав о сборах в город, вдруг подиял голову. Будто нехотя лениво процедил:

— Меня до городу не подвезете?

Софрон усмехиулся одним углом рта. Лицо светлее стало.

— Это куда же ты собрался, товарищ?

Глядя в угол, Ванька ответил:

— Там видать будет — куда!

Софрон рассердился.

— От, сопляк, разговаривать еще ие хочет! Поучу вожжами, так заговоришь.

И, хлопнув серднто дверью, вышел с Редькииым.

Но иа заре, когда подъехал иа хорошей паре, в ковровой большой кошеве, захвачеииой в именье Покровского, Артамои Пегих, Софрон разбудил Ваньку.

— Одевайся, в город поедем.

Артамои Пегих одобрил:

— Тоже возжелал на город поахать? Ладно! Вы там к господам, как начальство, а мы на улках на городских поглазем. Я тебя везтн вызвался. Нуждишка до городского базару есть. Виучка наказывала.

Раньше город чистенький был. Теперь, когда взметнулись на домах присутственных красные флаги, появились вывески с непонятными названиями, взъерошился, засерел солдатскими шинелями, потускнел и сразу прибеднился. Господа в одежде прибожились. В магазинах полки и прилавки уныло просторны и пусты стали. На базаре только то, что для еды, осталось. Редко-редко ларек с городскими пряниками, и тот с запасами скудными.

На улицах людных, шелухой семечек и орехов засыпанных, грязных, заназоженных, и народ все больше серый. В домах присутственных красногвардейцы с винтовками, начальники в одежде из кожи с револьверами, мутящий туман махорки, стриженые женщины с мужскими повадками, с папиросами и козьими ножками в зубах, бестолковый гул несмолкающих разговоров, окурки на полу и кучи сору в углах. Похоже, что из домов этих хозяева выехали, а эти новые — квартиранты. Останутся ли жить, еще не знают и не хотят домов обихаживать. И народ служащий непоседливый стал. За столами не сидят, все кучками собираются, руками машут и галдят.

Нет, не глянется этот новый город Артамону Пегих. Размышлял:

— Главно дело, не разберешь, который начальник над котором выше! Все руками машут, все приказывают, все речи говорят, и все с револьверами. У женского полу примату женского нету. Ну, к чему подобно: дымят, шапки мужицки понадевали, кричат

без острастки и везде, как мужики, налезают, не ужимаются. Тьфу!

Недовольиый и сумрачиый вериулся иа двор, где лошади стояли, и в сеиях спать под тулуп завалился. В дом куда пойдешь? Номер в гостиниице Софроиу, как начальнику, предоставили. Хоть и грязио в ием, а все не иа постоялом. Непривычио. Разбудил его Ваиька толчком в бок.

— Деда Артамои, деда! Вставай! Купцов по городу водют!

Еще не развеялась соиная истома, ио уже уловил в Ванькином голосе необычайное дрожаиье ие то от радости, не то от испуга.

— Чтой-та? Это ты, Ваиька?

— Айда иа улицу скорей! Купцов с мешками водют!

Побежали иа главиую улицу. Дорогой Ваиька рассказал: муки в городе мало, из деревии скуп подвоз. Очеиь вздорожала мука. Рабочие в исполком: почему? Исполком запретил вывозить из города муку на продажу в губериию и цеиу иа иее установил. Сегодия на заре крупные мучные торговцы пытались вывезти. Их поймали красногвардейцы. Возы отбили. А рабочие торговцев из домов вытащили в чем застали, иаложили мешки камиями, дали иести и водят по улицам, а на углах бьют.

— Наши все, деревенски, бьют-то! Видал, с базару хворостянски, романовски, тамбовски побегли и из Демократической волости. Сейчас иа главну улицу вывели. Я тятьку искал, да ие нашел, тебя разбудил.

Со всех сторон на главную улнцу бежали любопытные. Колыхалась сотнями голов главиая улица. Стоял над ией то вздымающнйся, то опадающнй смутиый гул разговоров, восклицаиий, криков. Одинаково жадно налезали друг иа друга, толкались, орали и те, кто хотел бить купцов, и те, кто жалел нх и возмущался расправой. Искреиними были у всех только глаза: иетерпеливые, жадиые. Хорошеиько бы разглядеть, как бьют! Орала в толпе толстая Максимовна, торговавшая щами иа базаре:

— Православны! Выпустите! Бока сдавили: задохиу!

А сама пролезала, толкаясь локтями в обе стороиы, к середиие, туда, где шли с мешками купцы. Впереди, смешно семеня ногамн, сгнбался под тяжестью мешка бывший городской голова Зелеиков. Ои был в одиом белье и иочиых туфлях. Толстый живот тоже обвис, как мешок, иад короткими иогами. Благообразиое лицо, с размазаниой кровью из рассеченного виска, исказилось болью, натугой и обндой. Бурые густые волосы смокли, прилипли ко лбу и вискам. Ои таращил из-под бровей иалитые испугом, покрасиевшие глаза и молил робко, задавлению, как мяукал:

— Братцы!.. Товарищи!

За ним спотыкались связаиные вместе чьей-то опояской два прасола Жериховы, отец и сын. Седой старик с чериыми жнвописнымн бровями н молодой, похожий на поросенка, безбровый, с белесыми заплывшими глазами и носом пятачком. Даже в испуге лицо его не осмыслилось, ие очело-

вечилось тревогой. Ои и вскрикивал, как хрюкал. Старик матерился и тряс головой. Оба успели одеться, ио у старика сукоииая бекеша и то, что было под ией, располосоваио пополам. В разрез выступила желтая старая спииа. За иими трое гуськом: приземистый, чериый, как жук, широкоплечий хлебиый торговец Ишматов, в брюках, иижией изорваииой сорочке и подтяжках. Ои был сильнее других и под мешком сгибался меньше всех, ио скрипел зубами и выл ие от боли — от ярости. Чериозубый, с иизким лбом, высокий, длиииорукий владелец паровой мельиицы Мякишев лязгал в страхе зубами и часто спотыкался, иаступая иа оторваииую штаиину. Сзади всех молча волочил больиые ревматические иоги в меховых сапогах старик с кротким икоиописиым лицом и серебряиыми кудрями. Первый в городе богач Миляев, продавший в рассрочку с жестокими процеитами сельскохозяйствеииые машииы крестьяиству всего уезда. На ием от одежды остались одии лохмотья да сапоги. За купцами, подгоияя их, размахивая тяжелым засовом от ворот,— высокий желтолицый мужик в грязиой белой шапке с одиим ухом, в рваиом полушубке. Ои зычио орал иараспев:

— Граждаие! Глядите! Эт-ти вот муку вывозили! Глядите! Эт-ти иаши буржуазы, грабители!

Сбоку, рядом с купцами, размахивая руками, солдат в грязиой шииели, с походиой сумкой за плечами. Вытаращив глаза — оии одии жили на сером землистом истомлеиием лице,— он дико орал:

— Имперялистов поймали! Вот они идут! Бей имперялистов!

В толпе разноголосые выкрики:

— Бей толстомордых! Га-а-а!

— Выпустить им кишки!

— Мукой животы набить!

— Теперь слобода, а они муку вывозют!

— Все перва гильдия!

— Бей их по первой гильдии!

— Какая дикость! Какая жестокость! Где же власть?.. Это Зеленков впереди?

— Звери! Изверги! Убьют! Да не налегай ты, паршивец! Спину всю протолкал!

— Господи, что же это? Господи, что же это? А их уже били?

— Сенька-а, пролазь суды! Тута всех шестерых видать!

— Гра-а-жда-а-не! Эт-ти вот муку вывезли!

Семь солдаток визжали около самых купцов, наскакивая на них с двух сторон, стараясь ударить на ходу, подскакивая и подпрыгивая, как в диком танце. Прасковья Семенчихина всех визгом покрывала:

— У мине муки на квашню нету! На квашню не хватат!

Худой, косенький, однорукий курьер торопливо, широко шагал за солдатками, чтоб не отстать от купцов, не потерять их из виду, и громко, радостным, захлебывающимся тенорком рассуждал:

— Действительно, им там всяко прованско масло, а нам на муку нету! Де взять, когда ка-а-жный божий день надбавка! Кажиный божий день! Бить их следует! Я согласен.

Густым диким ревом орали крестьяне, сбежавшиеся с постоялых дворов.

— С энтого вон шкуру содрать! За цабан иссушил мене. Всем потрохом заплатил.

— Мы каждый пуд слезой поливали, а нам кака цена?

— Нутре надорвали над хлебушком. А они на ем наживаются!

Играла в мужицкой крови обида вечного податника, боль натруженного, для чужой утробы, горба.

Играла стихийно мужицкая ненависть к белоручкам.

— Пузо наливали! На нашем хлебушке наживались.

— Бей их, сволочей!

На углу, у высокого крыльца большой аптеки, высокий, в шапке с одним ухом, остановил купцов. Разом насела на них толпа. Деревенские всех отшвырнули и били истово, сильно, деловито. Будто цепами хлеб молотили. Солдатки пронзительно визжали, совались бестолково к лежащим на земле купцам и в толпу. Ругались длинными похабными фразами и причитали о своей скверной жизни.

Прискакал конный отряд милиции. Начальник милиции был впереди. Расталкивая конем толпу, он кричал:

— Эй вы, прекратите! Эй вы, слу...

Докончить он не успел. Прасковья Семенчихина вцепилась ему в правую ногу и потащила с лошади. Дюжая, плечистая солдатка обняла его с другой стороны, руками у пояса. Он только успел подумать:

«Зачем она руки мне в карманы?»

И полетел с лошади вниз головой.

— Вот тебе, командер! Постой на голове.

Ткнули бабы его головой в снег, а у пояса держат. Задрягал ногами в воздухе начальник. Толпа орет, гогочет:

— Вот так бабы! Выучили на голове стоять.

Прасковья приговаривала:

— Гладкий жеребец! Ляшки-те, как у борова.

— А ты его еще пощупай. Хорошень!

— Га-а-га... Го-го-го...

— Бей Зеленкова! Он на нас поездил!

— Подымай купцов! Еще водить!

Начальник милиции еле вырвался из бабьих рук. В разорванных штанах, избитый. Рад был, что каким-то чудом револьвер со шнура не оторвали. Но стрелять не решился. Побежал в исполком. Там члену военно-полевого штаба обо всем доложил. Оправдывался:

— Какое стрелять? Разорвали бы на куски, только выстрели. Весь в синяках. Исщипали, подлюги!

Член военно-полевого штаба, высокий большеносый человек в очках, смеялся:

— Ну, как вас бабы учили? А?

В исполком прибежал трясущийся, с отвислой нижней губой, бывший председатель уездной земской управы, купец Титов. Пропустили к большеносому.

— Что надо?

— Спасите... спрячьте... Самосуд... меня ищут тоже.

Высокий презрительно и спокойно сказал:

— Спрятать могу только в тюрьму. Сейчас напншу ордер. Идите, там прнмут.

— Благодарю вас... век ие забуду... Спасибо... Ордерочек-то скорее.

Высокий засмеялся, написал ордер, отдал Титову и, поправив иа голове кожаиую фуражку, пошел иа главиую улицу, где ревела толпа. Когда пробирался сквозь иее, вндел: иа крыльцо аптеки вскочил высокий, тоикий юноша, с бледиым до сииевы лицом и горящимн глазамн. Юношескнй голос вырвался резким отчаяииым выкриком:

— Товарищн!.. Товарищи!..

Желтолицый в папахе огляиулся и заревел:

— Племяиинк будет Зелеикову.

— А-а-а. Во-о-о... Ага-а...

Сгреблн «племяиника» опять первые бабы. Насели мужики. Ои скоро замолк н вытяиулся. Члеи военно-полевого штаба вндел в толпе красиогвардейцев. Оии ие только ие мешали расправе, а сочувствовали ей. Это было видио по оживлеииым их фразам, по яркому блеску неиавидящих глаз. Им была поиятиа ярость толпы, потому что кровиое родство связывало их с мужнкамн, которые бнли, как цепами молотили. Но толпа уже сгасала. Почти иасытились местью. Высокий член воеиио-полевого штаба подиялся на крыльцо аптеки, откуда стащилн уже пятерых. Мужествеииым зычиым голосом ои спросил:

— Что вы, товарищи, делаете?

И в простоте, холодной ясности этого вопроса была страииая спокойиая убедительиость.

Затихать стали, от жертв своих оторвались.

Неувереиио прозвучал одииокий мужской голос:

— Стащить и этого иадо!

Высокнй на крыльце услышал. Спокойно отозвался:

— Стащите. Я без охраны и отбиваться не буду.

Как бы в доказательство, руки вверх поднял, потом опустил и, будто продолжая спокойиый разговор, опять спросил:

— На кой черт с этими связались? Управу на иих иайдем. А вы убили их на улице, вас злодеямн величать будут. А их за мучеников. Отведнте живых в тюрьму! Там примут. Сейчас десяток еще арестовали. Проучим, будьте покойны! Умеем! А этих, мертвых и нзувечениых, стащите в больницу.

Холодио поблескивая очками, спокойно, будто ничего не случилось, уверенный в себе, как хороший укротитель, ои спустился с крыльца и пошел к избитым. В задннх рядах еще слышалнсь крики:

— А этому чего надо?

— За кого застаиват? За кого застаиват?

— Бей!

Но в середине, около высокого, стнхли. Расступились и дорогу ему дали. Ои спокойио взглянул иа избитых, будто пересчнтал их, повериулся и пошел к исполкому. Из толпы выиырнули оправившиеся милиционеры.

Мертвых, Зеленкова и реалнста, и троих, нзбнтых до невозможностн встать, утащили

в больиицу. Двух, которые встали и могли брести спотыкаясь, повели в тюрьму красиогвардейцы.

Артамон Пегих, яростио бнвший купцов вместе с другими крестьяиами, перевел дух, как после утомительиой работы, вытер рукавом пот и оглянулся. Увидав Софрона, пошел к иему через улицу по расцветившемуся пятиамн рыхлому сиегу степеииой мужицкой походкой.

— Слышь-ка, Софрои! Это кто же сурьезиый-то, в очках?

— Из воеиио-полевого штаба.

— Сурьезиый, и того... Без опаски человек!

— На фроиту всю войну был, чего ему опасаться? Кабы из тыловиков, так давио бы иогами задрягал!

А человек без опаски шел и думал:

«Могли сгрести! Устали уж, иасытились. Деревеиское зверье работало старательио. Д-да... стихия! С этими еще придется и иам хлебнуть... Да!..»

И привычиым движеиием руки пощупал револьвер.

Софрои расправу одобрил:

— Когда дождешься иа их, городских, по закону-то, управу? Сбыли со счету которых, и ладио!

В городе тревоги было больше, чем в Интериациоиаловке. Там, в деревие, под сектаитским иачалом, еще иесмело и иестройио вмешивали иовое в старое. Больше галдели, мало рушили. А в городе уже гулял хмель мести и разливиого гиева. Ночами вытаскивали людей из иасижеиных гиезд,

отводили в тюрьму, отбирали добро. Эта тревога усиливала ненависть Софрона к господам. К чистеньким, образованным. Об Антонине Николаевне не думал. Слышал, что в город с инструктором уехала, и пожалел инструктора.

— Зряшна баба!

На заседании исполкома один раз присутствовал и одного члена исполкома изругал за то, что тот против контрибуции был.

— Эдаких беленьких-то нечо спрашивать! Им штоб и горячий блин, да штоб не обжигал. Под задницу их надо! Колготят, а от делу под закрышку.

Всякая слабость и нежность вызывала в нем взрыв гнева. Не выносил машинисток в учреждениях.

Все барышни нежненькие в машинистки определились.

В исполкоме одну с кудряшками, ласковую, изругал матерно. Когда она заплакала, сплюнул около стола с машинкой и спокойно отошел.

В городе опять в военную одежду оделся. И когда шел по улице, в шинели, с револьвером и бомбой на поясе, высокий и резкий, с суровым, свинцом отливающим взглядом, Редькин и Артамон рядом с ним казались арестантами, боязливо съеженными. Но вместе обычно они доходили только до исполкома.

Артамон не любил учреждений, махал рукой и поворачивал к постоялым дворам. Там разыскивал деревенских и проводил с ними день. Редькин заходил ненадолго,

хмуро осматривал служащих и оставался только, если назначалось собрание. Собрания были часты. Редькин внимательно слушал всех ораторов. Но возвращался обычно в гостиницу злой.

— Нащет деревни никакого решенью!

Ходил в читальню, слушал газеты. Сходил даже один раз на любительский спектакль и долго после этого хрипло матерился.

Ванька целыми днями в типографии пропадал. Один раз послал его из исполкома Софрон за газетами, каждый день стал туда бегать. Свел дружбу с наборщиками. Они ему газеты и книжки давали читать. Читал он жадно, без разбору. Все будто что-то искал в книгах и газетах. Оттого что он ясно видел, как ловко и легко все обсуждают городские и как туго и тупо понимают все новое деревенские, загорелось его сердце обидой.

— Ладно, их в школу посылали! А меня одну зиму. Больше мать не пустила. Ничо! Сам дойду!

И оттого, что сам захотел, оттого, что не преподносили ему разжеванного, питательного, тратил много времени на непонятное, утомительное в чтенье. Делал открытия уже открытого, но не растерял своего и креп дерзкий, в себе уверенный и упорный.

В городе Софрона задержали. Воздух заулыбался по-весеннему. В полдень радостно прыгала с крыш капель. Город оглашался допоздна звонкими детскими голосами. Артамон беспокоился:

— Угрузием где в логу. Сиег-то пади уж не держит! Скоро ли, что ли, поедем, Софрон? Все шалтай-болтай, а в деревне-то телеги налаживать надо. Небушко-то уж звеннть!

Софрон угрюмо отозвался:

— Успеешь еще, наладишь. Та и беда, приросли мы к земле и об себе не понимам, чтоб и земля полегче давалась. Дела еще есть в городу.

А в городе событие случилось. Получил исполком сообщеиье, что в восьми верстах от города остановился казачий полк или отряд, но много казаков. С фронта в степные станицы возвращаются. На конях, в полном вооружении и даже одно легкое полевое оруди́е с собой волокут. Люди и лошади заморенные. Будто бы на передышку встали. Военно-полевой штаб забеспокоился. Казаки — народ старой закваски.

Зачем им пушку в свою станицу? Постановил исполком послать делегатов для мирных переговоров: зачем и куда? И предложить сдать оружие. Делегаты вернулись благополучно. Казаки оружие сдать отказались, но говорят, что мирные. Идем, дескать, мимо города. Советскую власть признаем. Пропустили отряд. Но пришло распоряжение из губернского города задержать казаков. Решили спешно отправить Красную гвардию. Это было первое ее выступление. До сих пор Красная гвардия в городе занималась только охраной самого города да сбором контрибуций в селах.

В назначенный час со всех улиц потянулось к исполкому свободное, наемное войско. Бурливая, дерзкая, разная по одежде толпа. Шли с винтовками. Одни в шинелях по-солдатски, другие в крестьянских азямах и тяжелых пимах, третьи в городской рвани и опорках на ногах, четвертые — чужаки в своей одежде, военнопленные. После всех отдельно прибыла киргизская часть. Впереди несли красное знамя и на пике металлический полумесяц с бубенчиками. Низкорослые, кривоногие, скуластые шли нестройными рядами и пели гортанными голосами киргизскую песню. Будто играли на какой-то полузабытой, но в давнем родной всем и волнующей дудке. И в ответ этой дикарской песне с подъезда исполкома раздались взывающие дерзостью и новизной слова приветствия:

— ...Красная гвардия, первое в России свободное войско трудящихся, охрана революции...

Это соединение киргизской песни, бестолкового гомона разношерстной, по виду убогой, разноголосой, разноязычной толпы, собравшейся на улице мещанского захолустья, и слов огромного масштаба, истинно торжественных, бьющих отвагой вызова всем, всем, всем, было дико, страшно и бодрило душу величием, непонятным рваной кучке — рати смельчаков, появившихся во всех городишках взъерошенной РСФСР, чтобы лечь перегноем ее полей.

Эти большие слова были для них только звоном своего села. Чтобы была своя

пашня, чтоб проткнуть пузо своему кулаку Миколай Степанычу, чтобы разогнуть свою спину, из своей глотки услышать крик вольный, непривычный: наша власть! Но чутьем, всему живому, а им, простым и цельным, сугубо свойственным, ощутили они широкую радость дерзости.

Оттого и трезвые в этой толпе казались пьяными. Охмелели буйным хмелем задора. Стреляли в воздух из винтовок, орали, не сердито, а задорливо ругались. Шестнадцатилетний белобрысый паренек, путаясь в длинной, будто тятькиной шинели, удивленно-весело кричал:

— Эй, товарищи, затвор я потерял! Эй, эй, затвору никто не видал?

Бородатый фронтовик добродушно-снисходительно выругался:

— Сучий сын, сопля. Теперь орудуй без затвору!

— Затвор потерял, вояка! Титьку мамкину возьми вместо затвора!

— Зеленый еще! Доспет, солдатом будет.

— Ничо, я без затвору... Я и так... его мать, казака растворожу. Ничо!

И лихо, с выкриком, песню поддержал:

...к ружьям привинтим штыки.

Другой такой же зеленый и радостный кричал в кучу смешавших свои ряды киргизов:

— Эй, вот ты, крайний, как тебя?.. Малмалай-Далмалай, скажи: «пролетарии всех стран». Не знашь? Не умешь?

— Се умем! Мал-мал казак стрелю!

Смешанный гомон, бестолковая брань

разношерстных, таких непохожих на старую армию, пьяных задором, присутствием в рядах и от водки пьяных, были противны многим в прихлынувшей посмотреть толпе. Люди, видящие только то, что можно пощупать, окружали толпу красногвардейцев враждебным гулом.

— Да, армия! От первого выстрела убежит.

— Затворы растеряли! Штаны-то на ногах аль тоже потерял?

— Сыно-о-чек, и чо ты с ими связался! Вернись, убьют!

— Фронтовиков-то не видать. Эти навоюют.

— Начальники все пьяные! Армия!

— Они начальникам-то своим в харю плюют! Дысцыплина!

— Како войско, за деньги ежели!

— Пленных с собой понабирали! Со своеми воюют, а чужаков к себе!

— Эх, Россия, Россия, пропала! Совсем пропала!

Но и в этот гул вплетались крики своих красногвардейцам.

Артамон Пегих, не думая о том, услышат ли его, отзовутся ли, вопил:

— Которы нашенски сельчане... Митроха Понтяев, ай хто! Доржись! Нашинска волость в большевиках состоит... Доржись, робята!

— Голубчики! И одежонки-то военной не на всех!

— Ничо, не баре, выдюжат!

— Чо шипишь, чо шипишь, пузата? Охвицериков твоих не видать? Змеюга!

— А ты сам-то игде видал армию? В кабинетах своих? «Не стара армия». Игде ты от военной службы прятался? Каку армию видал? Ну!..

На подъезде появился высокий очкастый член военно-полевого штаба.

Опять загремели, колотя захолустный покой, большие слова:

— Нигде в мире нет Республики Советов. В Европе гнет капитала...

«Белобрысый» понял, что Красная гвардия должна пригрозить Европе, и радостным ребячьим выкриком из рядов отозвался:

— Застрамим Европу, товарищи!

Ванька, румяный, радостный, тоже будто хмельной, Софрона в толпе за рукав поймал.

— Тятька, определи меня с ними! Чтобы взяли!..

Голос просительный ребячьим стал, а то всегда говорил как большой, грубовато и степенно. Не побоялся бы и без позволенья отца удрать, но резче взрослых сильнее ощутил великость больших слов, в маленьком городке взметнувшихся, и увидал себя таким, каким был: мальчишкой, которому еще доверья нет.

— Определи, тятька!

— Ах ты, шибздик! Рано. Определю еще...

Шершавой рукой смазал Софрон Ваньку по лицу. Засмеялся радостно.

А сбоку от них, у забора, господин в черном пальто с барашковым воротником злобно и громко крикнул:

— Не красная гвардия, а красная сволочь!

Софрон быстро повернулся, но господин еще быстрее в толпе растаял. Софрон погрозил в толпу кулаком. Сразу потемнел и почуял: в углах враги.

Смело, товарищи, в ногу!

— Стройся! Эй ты, чертова перешница, в ряды!

— Стройся!

— А-а-а...а... ри...

Гудела толпа. Крепчал ветер. Русский весенний месяц будто обозлился на этих новых русских солдат, вспомнил, что он еще хмурый, зимний...

Начал падать снег.

— Мамоньки, никак мятель будет!

— Ничо и в мятель! Русский привычный.

VI

Софрону доктор не понравился. Тонкогубый и глаза прячет.

— Прислали, дак живите.

— Без вашего разрешения не мог распорядиться дом открыть.

— Чо распоряжаться-то? Прошло, будто, то время, когда господа распоряжались! Отдерните доски да живите.

Стоит у стола так, будто остерегается к нему прикоснуться. Одежда военная, а чистая. Левая рука в черной перчатке Софрону в глаза лезет. А доктор ее всегда носил. Изуродованный палец скрывал.

— Благодарю вас. Завтра же устроюсь. Разрешите откланяться?— И к двери.

— Слышьте! Как вас?.. Господин доктор. Вы как, из военных будете?

— С начала войны на фронте. Недавно вернулся в город.

— Ишь ты! А я думал, тыловничали. Глядеть, вша не кусала! Солдаты-те не били?

— Что?

Даже взглянул прямо. Нехороший глаз, нутра не показывает.

— Не били, спрашиваю? После, как царя отменили?

— Я всегда честно выполнял свой служебный долг.

— Ыгым. Видать, старательный! Ну, айда!

Доктор плюнул только на улице. И то первый раз не сдержался умный протопопов сын. Хоть и утешал себя:

— Все-таки здесь спокойнее, чем в городе. Спасибо фельдшеру. Пригодился большевик.

Выпросился вместо отпуска в больницу сюда поработать недели на две, ну, а там половодье. Не выбраться в город. Можно и дольше пожить. Больницу из Романовки в именье Покровского перевели: зданье для нее было в именье приспособлено. Проснулись молчаливые дома разгромленного и брошенного завода. Глухой, как гроб, только господский дом заколоченный стоял. О нем и просил доктор. Открыть для жилья себе.

Софрон из города вернулся беспокойней

и злей. Втянул ноздрями тревогу и привез ее в село. Колготили раньше бедняки, но часто сдавали. Но чем больше слабела зима, тем властнее становился призыв земли. Тем упрямее стояли за свои участки многоземельные, беспокойней и смелей тянули к ним руки батрачье и малоземельные. Оттого привезенную Софроном тревогу приняли и сразу на нее откликнулись. Парни и молодые мужики пошли служить в Красную гвардию. Грозили:

— Со штыками на пашню придем! Держись, толстопузые!

Мужики пожилые и старики тоже хмелю хватили:

— Будя! Наша земля, как мы есть трудящие!

Посредине села, на базаре, длинный шест поставили и на нем большой красный флаг. Когда протоpенной тропкой шли старухи и старики в церковь, длинный красный язык будто дразнился с шеста.

Молитвенный дом евангелических христиан все еще стоял заколоченным. Собирались у евангелиста Глебова. Пели на голос песенный державинскую оду «Бог» и стихи о жизни, которая отцветает, как трава. Но о порядках государственных говорить остерегались. Только в тайном разговоре с богом, в думах просили: порази нечестивцев. Купцов будто не стало. Ходили в мужицких азямах. Без работников, сами на дворе своем управлялись. От тоски сердце у богатых беспокоилось, будто недужили. Часто в новую больницу к доктору ездили. Человек ученый и серьезный, им по нраву при-

шелся. Возилн ему муку, яйца и масло. Пока зря ие пропало. Отбирают одежду, скот и за продукты, гляди, примутся. Бедные бывали редко. Некогда и иепривычно лечиться.

Софрон, через неделю после разговора с доктором, в больиицу приехал. Редькииа привез. Из города Редькии приехал в солдатской шинели. Висела она на нем, как на шесте. Но от военного вида ее еще страшией стал.

Доктор встретил их в белом халате.

Софрон зорко оглядел белый стол, баночки и скляиочки в шкафу.

— Много ль вылечил? Аль иа погосте посчитать?

Доктор сдержанно ответил:

— Есть и на погосте, а иекоторым помог. Деревенских лечить трудно. В грязи живут. Вот сектанты почище. Оттого что грамотные...

— Было время учиться. А ты с ними компанию водить-то води, да оглядывайся! А то самого полечнм,— прохрипел Редькин.

Доктор глаза веками прикрыл.

— Лекарств вот иет.

Редькин сверкнул подозрительным сверлящим взглядом.

— А куды делись? Найди! Ай богатый класс все выпил? Давай мие каких порошков. Нутре горит.

— Выслушать, выстукать вас иадо.

— Нечо стукать! Настукали уж. Траву давай, чтоб дыхать полегче! Под леву лопатку все шилом колет.

И закашлялся бьющим тело кашлем. Глаза выпучил.

— Легкие у вас больные. Надо питаться хорошенько, не утомляться.

— Ладно, сичас к себе в кабинет приеду и на мягку перину. Кабинет-то только у меня на подпорках, да перина тонка. Давай питья какого! Неколи растабарывать!

Доктор плечами пожал, велел фельдшеру в пузырек что-то наболтать. Все торопил. Очень мешал ему Софрон тяжелым неотрывным взглядом. А в это время в коридоре шум послышался. Без предупреждения распахнулись большие белые двери. Трое красногвардейцев внесли четвертого, бледного, с перекошенным лицом и стиснутыми зубами. Софрон навстречу метнулся:

— Откудова? Где ранили?

Правая рука у раненого была привязана кушаком к поясу, и на плече шинель заскорузла от крови. Когда положили на кожаную кушетку, старший, в лохматой шапке, ответил:

— Тута стычка вышла, с казачишками. Посылали. Рубанул его один. Не насовсем, а ровно крепко!

Раненый открыл помутневшие глаза и сказал слабым, но внятным голосом:

— Кровища льет. Заткни чем ни то, пожалуйста!

Мычал от боли, когда раздевали. Но, услышав голос доктора: «Скверно»,— сказал опять внятно:

— Ничо, у мине жила крепкая...

Софрон доктору твердо сказал:

— Этого — чтобы вызволить!

Пошел и красногвардейцев рукой поманил за собой.

В тайном разговоре все выспросил. Неспокойно в уезде. Не зря тревога с отрядом казачьим была. Разбили их, а на станицу два набега другие сделали. Богатые села бунтовать начали.

— Про Небесновку в городе тоже говорили. Ну, на тебя полагаются,— сказал старший, знакомый Софрону.

Когда Софрон с Редькиным из больницы выходили, Редькин спросил:

— В господском-то дому доктор теперь?

— Он.

— Ыгым. А кака это пика на доме?

И показал на громоотвод на господском доме. Четко вырезывался в легком, весну почуявшем воздухе.

— Говорили, чтоб гром отвести. Грозой чтоб не разбило. Господа — народ дошлый. На небо молятся, а промежду прочим, от него обороняются.

— А разговаривать через него нельзя?

— Через пику-то? А как? С кем? С богом, што ли?

— А може, проловка кака под землей. Теперь всяки телехвоны да грамофоны...

— Не знаю. Ваньку надо спросить.

Вечером Ванька по книжке из библиотеки читал Софрону и Редькину про громоотвод.

Редькин слушал внимательно. Потом спросил:

— А книжка-то как, полная али нет?

Ванька понял вопрос. Ведь бывает на книжках: полный курс географии, сокращенный курс. Потер лоб и прочитал на крышке книги:

— Издание для народа.

— А, для народа! Не все здесь прописано. Господам больше известно. Слышь-ка, Софрон, слово сказать надо. Айда-ка!

И пошли из избы. Дарья недовольно отозвалась:

— Каки от своей кровн тайности!

Но Софрон строго оборвал:

— Свое бабье дело знай!

С Дарьей жили хорошо после примиренья, но разговаривать с ней о деле Софрон по-прежнему не любил. Какой у деревенской бабы «смысел»? Ванька — другое дело. «Умственный» растет. Но раз Редькин не хочет...

На дворе, у хлева, в котором беспокойно завозилась корова, Редькин сказал:

— Зачем и к чему дохтур к нам приехал? Раньше фершала чуть выпросили. И я тебе скажу — за им купеческая дочь: панкратовска девка. С им, дознал. Я этту лекарству-то вылил.

— Ну?

— А казаки?

— Ну?

— С ими по отводу этому разговариват! Вести об деревне дает! И об нашинских солдатах.

Сказал с глубокой уверенностью. В самом сомненья не было. Софрон задумался. Заныло в сердце: ученый, одурить может.

— Ладно, сымем громоотвод, а там увидим.

В этот тихий час вечерний в господском доме сидели доктор с женой. В большой,

хорошо вытоплеииой, ио пустой комиате ие чувствовали себя дома. Будто иа пересадочиой стаиции удалось укрыться. Передохнуть от шума и сутолоки. Но придет поезд, и радостио будет уголок этот покииуть. С собой привезли только дорожиый сундук да постель. Поставили в квартиру две походиых койки и длиииый стол. Докторша лампу с собой захватила. Большая, горит иа столе, а в углах от пустоты все будто мрак. Доктор смотрел в киигу. Но оттого что на лбу беспокойио меиялись продольиые и поперечные морщиики, Клера знала: ие читает, о своем думает.

— Саша!

— Что, детка?

— Здесь тоже страшио! И как там мама с папой...

Потяиулась к иему, хрупкая. Привлекательиая больиой прелестью. Такой ииогда отмечает вырожденье. Единственная дочка у пожившего бурио папаши. С детства страдала пляской святого Витта. Лечил с двеиадцати лет этот доктор. Будто вылечил. Когда стало шестиадцать, жеиился. Взял приданое большое и любовь иераздельиую, фанатичиую, какая бывает только у больиых, грезой живущих.

Приласкал сиисходительио, как всегда. Но в сииих больших глазах тревога ие растаяла.

— Ничего, недолго, переждем. У мужиков это сверху только бродит. Сектанты со мной откровеииы. Сегодия узнал, в уезде миого иедовольных. Голова ие болит? Что печальиая?

— Нет. Томительно как-то. Предчувствия...

— Пустяки. Нервы.

С силой ударил в окиа ветер, плачем иежданным пропел в трубе. Клера затряслась, заплакала. Умело успокоил. Дал лекарство. Когда улеглись в постель, рассчитал, раскииул в уме срок, в какой соберутся и окрепиут казаки.

А Софрои ворочался иа деревянной скрипучей кроватн и размышлял: как громоотвод убрать? Не причиниит ли вреда, как за иего возьмешься? И решил: «самого заставлю».

Утром Жигаиов долго у доктора пробыл. Приехал иасчет грыжи посоветоваться, а потом долго с доктором опасливо и чутко, стены слушая, шептался. Доктор проводил его веселый. На сиделок и бестолковых больных в этот деиь по-хозяйски покрикивал.

А к Софроиу куриосый подросток в огромиой папахе, верхом на старой сивой кобыле прискакал. Привез замасленный серый коиверт. В ием: усилнть в волости охрану.

В полдеиь в больиицу явился Редькии. Нелепым казался у смертью мечениого револьвер. Как-то уиыло торчал из кармана. И шииель иа ием тоже чужая обряда. Доктора в коридоре встретил. Ои собирался сектаиту опухоль гиойиую и опасиую разрезать. Распоряжеиия прнготовить все нужное давал. Редькии его остаиовил.

— Срочиый прнказ от интериационаловского исполкома сообщить должои.

— Ну?

— Не ну, а веди, куда поговорить! Дело обстоятельное!

— У меня операция. Больной готов и ждет. Я сейчас занят.

— Ну ладно. Доканчивай. Чтоб к обеду был в исполкоме! А то солдаты придут, приволокут.

Доктор сегодня нетерпеливый. Вспылил:

— Я ведь не хлеб из печки вынимать собираюсь! Человеческое тело резать! Что значит «доканчивай»? Не знаю, когда освобожусь!

— Я тебе русским языком сказал: к обеду штоб был в исполкоме.

Перекосил лицо, но бьющий злобой взгляд Редькина страшен. Укротился доктор. Глухо крикнул в дверь:

— Операции сегодня не будет. Скажите больному! Пройдемте в эту комнату!

Дверь перед Редькиным открыл. Через полчаса вышел бледный, с крепко сжатым ртом. У двери еще раз сказал:

— Передайте исполкому: громоотвод устроен не мной. Убрать его просто не смогу! Еще раз заверяю вас, что только темнота, незнание...

— Ладно! Опосля поговоришь!

В дверях еще раз остановился Редькин. Горящим волчьим взглядом своим еще раз доктора ожег. Над чем-то будто подумал, револьвер пощупал. Потом круто повернулся и хлопнул дверью.

За обедом жене доктор ничего не сказал. Но она следила за ним неотступным верным собачьим взглядом и ничего не ела.

Первый услышал ночью слабое хрустенье талого снега дворовый пес. Залился надрывным бешеным лаем. И почти одновременно с ним — Клера.

Взметнулась с постели, в длинной ночной рубашке, так быстро, будто лая этого ждала.

— Саша, Саша!

Нежность непередаваемая, мука неизбывная в голосе, а он спит! Только когда застучали сильными мужицкими ударами в дверь — проснулся.

А Софрон приказывал:

— Мы с Редькиным здесь подождем. Волоките. В комнате нечо пакостить. Суды живого.

— Кто там?

— Отворяй!

— Я не могу так... Кто?

— Отворяй! Дверь-то высадить долго ли, чо ли?

Завозились в доме прислуга и больничный служащий Егор. Появлением своим будто ободрили доктора. Наган в руке крепче почуял. А сзади Клера. Вцепилась в плечи тонкими руками. Будто в одно с мужем хотела слиться.

— Подожди, Клера... Не открою! Кто?

Голоса за дверью тише. Будто совещаются. Издалека ветром донесло:

— Эй, ктой-та тут?

Застыли в доме у двери в ожиданье. А Егор ворота и со двора дверь открыл. Почуял: не впустишь в дом, всем отвечать придется. Доктор слышал шаги, уходят. Перевел дух и в комнату из коридора по-

шел, придерживая левой рукой Клеру. И лицом к лицу, в солдатских шинелях, с револьверами. Не крикнул, не вздрогнул, только посерел. Рукой неверной хотел наган спрятать. Но увидали. Передний курносый увидал.

— С левольвером, сволочь! Айда! Этаких на фронте много покончили. Нечо дипломатию разводить! Айда!

Взметнулась докторова левая рука в черной перчатке. Солдат за правую тряхнул.

— Айда.

— А-а-а-а-а, не пущу! Не пущу!

Крик у Клеры такой, что, казалось, все стены пробил. Но скуластый и курносый парень с круглыми глазами, стоявший впереди, не поморщился.

— Не верещи, пигола! Про тебе разговору нет. Дохтур, поворачивайся!

— Не пущу! Насильники! Палачи! Подлецы!

Плевала, кусалась, царапалась. Ощетившейся дикой кошкой кидалась.

Мешала доктора взять. В хрупких руках неестественная сила. Курносый восхищенно удивился.

— Ат, сволочь! Глядеть, дохлятина, а цепкая! Волоки с им вместе.

Скрутил сзади руки парень, потащил Клеру по полу. Будто барана свежевать. Она кричала и билась. Двое доктора вытащили. Прислуга вся попряталась.

Черными тенями на площади за домом Софрон и Редькин. Резкий звенящий Клерин крик по заводу раскатом. Но за глухими

дверямн новые людн. Их крнк ннкому в ушн не бил, н онн чужого не слушают. Плачем отозвался только Петька сторожев в больннчной кухне.

Софрон прнказал:

— Заткнн бабе глотку. На кой прнволок?

— Цеплятся.

Подол длнnной рубашкн Клерннoй комком в рот ей заткнул курносый, а рукн скрутил н держнт. Другой собаку прншнб.

— Эй ты, барнн! Снчас конец тебе. Говорн, чо по громоотводу казакам передавал.

Грозен н четок голос Софронов. С хрнпом голос докторов:

— Нельзя по громоотводу разговарнвать.

— А, нельзя. Р-р-раз!

Доктор упал. Курносый загляделся, ослабил кулакн, Клера вырвалась.

— Палачн! Насильннкн! Все равно конец вам скоро! Саша! Саша!

Заворошнлся доктор. Будто баба крнком жуткнм, крнком снлы последней, предельной, его ожнвнла.

— А, вместе хочешь? Отойдн, дура.

— Вместе хочу! Вам конец скоро-о. Вместе!

Мужа телом закрыла.

Софрон и Редькин оба:

Р-р-раз! Р-раз! Р-раз!

Сапогом Софрон попробовал. Мертвые.

— Ннчо, баба старательная была. Слышьте, волочн за ногн в яму! Помойка тут глубокая.

Когда возвращалнсь, Софрон на крыльце

барашка маленького увидал. Из открытой двери кухни выбежал и жалобно блеял. Вчера только новорожденного в кухню Егор принес. Блеял, как плакал. Софрон подошел, поднял шершавой рукой нежное, трепещущее существо и прижал к шинели.

— Бяшка, бяшка. Тварь дурашная! Напужался?

Казаков в уезде утихомирили. Помогла весна. Лога помешали объединиться недовольным новыми порядками.

VII

День за днем, как костяшки на счетах, отбрасывает жизнь в расход, взятое у нее, изжитое время. С закономерностью неумолимой приводит смену весен и зим, никогда не сбиваясь и не путая сроков, определяя каждому дню пребывания в жизни его тревогу и успокоенье, скорбь и радость. И чем ближе живое к началу бытия, тем непреложнее для него установ этой смены.

Там, за гранью, где город погнал соки жизни в голову, заставил шириться ум человека и сделал его дерзким и творящим всегда,— нет времени, твердо положенного, приказывающего: не раньше, не после, твори свое сейчас. А здесь, в деревне, где земля, выставляя свое плодоносное, готовое для зачатья или приносящее уже плоды чрево, устанавливает сроки, в какие ей нужны силы крепкого, выдубленного для работы над

ией мужицкого тела,— властеи закон установа жнзни. И в ненасытимости поглощенья этнх снл жесток.

Здесь у людей крепок хребет, густ в жилах настой звериной кровн, плодовито, как у землн, чрево. Но жадна н скупа душа, всегда мучимая собираиьем, жаждой накопления плодов земных для огромной утробы всех, кто живет, рождает или мыслит, кто сцепляет звеиья для продлеиия жизии. Здесь у людей темиым и старым, как земля, задавлена творящая сила человеческого ума, и обречен человек под гнетом тяжелой хозяйки-земли быть слепым и безжалостным даже к себе. Оттого туго открываются дверн его души, и звериной хитростью оберегает он нх от широкого взмыва боли и восторга, н только во хмелю распахивается темный, большой, о духе, запертом в сильном теле, тоскующий. А хмель радостиый сходит на него, когда земля властно позовет: творн, пришел час.

Прнказала земля мужнкам Интернацноналовки, Тамбовско-Небесновки тож, готовиться к сенокосу. Загудели, заворошились, высыпали на улицу из домов своих, прнспособленных, как у зверя, только для зимней спячки, ие для наслаждения уютом н домашннм покоем. Мужикн в будннчных портках и рубахах, ио живой, говорлнвой, как в праздиик, толпой шли, собирались у большой артельной кузннцы на выезде из Небесновки. Пряный густой аромат распаренной солнцем землн, прнносимый ветром с полей, н здоровый звериный запах навоза с дворов, как вино, тревожили кровь, ра-

достным, пьянящнм ударяли в голову, омолаживалн глухие голоса стариков, крепили нутряным, грудиым звуком звонкне выкрнки молодых, серебром переливали детские слова-колокольчики. Во хмелю нынешней радости было иовое. Заовражнискиe, которым в прошлые годы было положеио только отраженный от хозяев свет радостн принимать и супиться от мысли: чего косамн иачиркаешь,— гудели ныиче густо, как сильные. Оттого что длинной ратью выстроились у кузиицы машины н для их покоса. Солнце и радость сделалн морщины на лице у Артамоиа Пегих лучами, грязио-серые волосы серебрнстыми. Маленький и сухонькнй, сегодня он будто распрямил батрацкой работой согнутую спину и повыше, казалось, стал. Как хозяин заботлнвый кричал:

— Софрон, а Софрон! Слышь ты, Артамоныч, сколь кузнецов-то у нас?

— Деся-ать!

— Хватит ли по машннам-те?

И тревожным перекатом по заовражинскнм:

— А н то, хватит ли?

Втяиув черную лохматую голову в плечи, Редькин острые скулы свои н ямы худых щек к солнышку поднял. Будто тепла просил. И блики радостиые лицо ожнвили, оттого н голос с меньшей натугой, чем всегда, прохрипел:

— Савоська... это нашинский... Постарается. Его для иадзору поставим. А надо, так все мы закузиечим. Было б нам чем!..

Сектант Глебов — с него солнышко хмару сегодня не сгоняло — угрюмо отозвался:
— Кузнецы!.. Над машиной-то сноровку надо. Эндаки, как Пегих да Редькин, накузнечат... Каки целы зубья-то, и те переломают.
Софрон насмешливо оборвал:
— Ничо, не сокрушайся об нас, не труди печенку. Переломам, новы наварим. Сами не сумем, тебя приспособим. Потрудись, мол, товарищ Глебов, для черноты крестьянской! Э-э-х, табачком побалуюсь. Весело!
И непривычными пальцами начал свертывать папироску. Живя бок о бок с сектантами, мало курили интернационаловские мужики.
Кривошей Савоська от дверей кузницы крикнул:
— А ты, Софрон, махры-то из городу для кузнецов расстарайся. Уважим! А энти, псы-то, гавкают, знамо, со зла. Мы свое справим, вы поспевайте. Вот, к слову сказано, лобогрейка. А почему? А потому — лоб греет. За ей поспевай в ногу. Как под музыку, паря!
— Махорка запасена. Айда, музыку только готовь, поспеем. Мужицки раскоряки подладливы, только поучи. На войне не под эдаку музыку поспевали! Штой-та Жиганов Алексей Иваныч нонче смирен. Мир радуется, а он рота не раскрыват. Ай матюком подавился?
— Ха-ха-ха-ха!
— Го-го-го!
— Подавишься! Прятал, прятал машины

для себя, а теперь айда-ка к Софрону наймайся.

— Наймем ли, чо ли, братцы, Жиганова-то в работники? А?

Жиганов сплюнул, белками синими сверкнул, но ответил спокойно:

— Не было б нас, и машины-то взять негде было бы. А от работы мы не отлыним. Как, Софрон, нас в коммуны-то примате?

— А, реготали, а теперь учуяли?

Редькин завопил:

— Эдаки коммунщики только за машинами за своими тянутся. Чтоб не выпустить! По шеям их!..

— Знамо, без их!.. Пущай сено у нас покупают.

— Не примать!

— А чо не примать? Пущай идут в долю. С лошадями они.

Софрон спор прекратил:

— Пущай в ровнях с нами побатрачат. Примам. Главно дело, лошадны.

— Правильно-о!..

Артамон Пегих справился:

— Сено-то как, на душу делить? А на душу, дак примай, каки охотятся.

— Айда в школу, в коммуны записывать!

— Чо и во сне не мстилось, увидать привелось. Ко-ом-му-ны! Ну, ну!.. Ну, поглядим. Либо волосья клоками, либо сено стогами.

Повалили к школе. В кузнице началась жаркая музыка работы. Редькин около машин остался. Все ему казалось, что отнимут их. Надо сторожить верным глазом. Деревня жила переливами возбужденных человече-

ских голосов. На дворах звонко и горячо переругивались бабы:

— Таку недопеку ничем в коммуну примать, лучче нашу чушку! Скоре поверится. Я смехом, а ты и...

— Смя-яхом! «Айдате с нами»... Ды, мамынька, стыдобушка сказать людям: с Касатенковой Марькой связались. В девках-то люди обегали, до двадцатого году просидела. И мужика-то по себе нашла...

За кузницей на лужайке дети звенели.

— Которы машины Жигановски, теперь нашински!

— Как раз! Вашински! А нашински?

— И вашински!

— А жигановски?

— «Вставай, проклятьем заключенный, своею собственной рукой»...

— Ах ты, холера тебе задави! Семой год, а туды же «вставай проклятый». Иди в избу, пока не взгрела!

— А ты, тетка, не лайся на его. Старый прижим-то отошел!

Весь день, хлопотливый, горячий, ароматом с поля обвеянный, был суматошно радостен. В одно утро выборные от коммун выехали луга делить. Шумной, говорливой толпой провожали их мужики и бабы. Выстроились верховые с деревянными саженями в руках.

— Ну, анжинеры, не подгадьте мерялкой-то своей.

— Чо остерегашь? Сажени-то, знать, стары, меряны.

Гикнул передний верховой, отозвались

остальные: мужики, выборные от коммун, и ребятишки-добровольцы. Из-за радости буйной степной с мужиками выпросившиеся. Взбрыкнули ногами сивки, каурки, бурки и понеслись шумным отрядом в степь.

А степь разнотравая ластится. Белым ковылем кланяется. Мигает несчетными белыми, красными, голубыми глазами — цветами. Богатство свое показывает. И жужжит и звенит в воздухе голос ее: в птичьих трелях, в трескотне кузнечиков, в шуршанье букашек. Будто и не умирала зимой. И все в ней пахнет сладостно. Цветы ароматны, травы ароматны, и русское небо бледноватое, кажется, пахнет солнцем. Ветер дымок донесет, и он в степи горяч, прян и ароматен. Полынь, трава горькая, и та на расцвете острый, до боли сладостный запах дарит. Степь вся гулкая и отзывная. О-го-го-го! А-а-а-а! Гулом далеко-далеко. Слуша-ай! Степь голос человеческий передает. Слушай, зверушка, птица, букашка, слушай голос человеческий! А-а-а!.. Грудь сама для крика ширится.

Спешились с коней. Зашагали с деревянными саженями своими.

— Стой, стой!.. Ты как шагашь? Стой!

— «Шагашь»! Каке ноги есть, тоими и шагаю!

— Ге-ге-ге! Нет, браток, надувательско время отошло! Начинай отседова!

А степь отзывается: а-а-а!..

Ребятишки перепелок шарили по кустам. Орали, будто подряд на крик взяли. Ванька Софронов всю ученость свою в траве расте-

рял. Прыгал на одной ножке и пел звонко, заливисто:

Этта сама-д-перепелка,
Этта сама-д-перепелка,
Перепе-е-елка-а!

— Дедушка Артамон, перепелку не пымал?

Артамон похвалиться захотел: увидал в траве и схватил... вместо перепелки змею. Кинул с размаху.

— Ах ты, тварюга проклята! И очень просто, вот така обжалит.

Глебов густо захохотал. И он в степи попростел и повеселел.

— Вот оно, дед Артамон, как чужу-то землю размерять! Заместо птицы — змея в руку!

Ванька за Артамона задорно Глебову ответ прокричал:

— Ничо, змеев-то мы назад вам вернем. Пользуйтесь, вы с ним родня.

Глебов звонко, увесисто, по-матерному выругался, но больше не язвил. Хоть и не смолкал в разговоре. Целый день луга оглашались меткими мужицкими словами. Для того, что знали, видели и понимали, был у них язык ярок и хваток, переливался образами, как степь цветами.

Косить обычно начинали после Петрова дня. В этот год порядок нарушили. Выехали на целую неделю раньше. Старики ругались:

— Обычай рушите! Не зря установ: сыра земля.

— Ничо, мы горячие, высушим!

Первыми двинулись машины. За ними

уемистые рыдваны с бабамн, детскнмн зыбкамн, бочкамн, палаткамн, ведрамн, одеждой, котелкамн и чашками. Когда приехали, закачалась степь от разноголосья. Замелькалн по степи бабьи головы, повязанные платкамн с красным по желтому, с белым по красному, разноцветнымн.

Участок артамоиовской коммуны у леска начнналcя. Лесок кудрявый, малеинький. Издалн был в степи как букет небольшой на столе. А подъехалн, увиделн, теннстый и прнютный, с родннком студеным.

Завозились на стану бабы, заплакали ребятншкн. Двииулн мужнкн машнны иа луг. Демьян Колосов, заовражннскнй, с Артамоном на лобогрейке выехал. И внд у него был встревоженно-радостный, такой же, как в детстве, когда мальчишкой в первый раз на поезд попал.

Скоро на стану одна Дарья Софронова кашеварнть осталась. Далеко-далеко, куда хватал глаз, все двигалнсь по степн людн. Ванька Софронов пересчитывал:

— Нашнннска коммуна — восемь семей. Мужнков с мальчншкамн — трннадцать, баб—семнадцать. Паителеевска коммуна — девять семей... Ннчо, на луга снлу двннулн...

— Ва-а-иька! Вань! Чо растопырнлся, ндн!

— А-а-а!

— Но-но-но! Но-о! Пантелей, поспев-аешь?

— Поспем!.. Уля-а, ровне гребн!..

У Акснньи-солдаткн голос нз грудн сам вырвался:

И э-эх да травушка под косы-ыньку лягла.

Прилипли к телу потные рубахи, красным цветом прожгла кровь лицо, устали иоздри втягивать запах ароматиой смерти травы, иалились тяжестью иатуги спииы, а передышку ии одиа коммуиа ие объявляла. Не хотели сдавать, вытягивая свое тягло. Накоиец прокричал своим Артамои, что шабашить пора. Стали замолкать машииы и иа других участках.

— Мамк-а-а! Пошевелив-ай! Обедать идем!

— Айда-те-е! Три раза кликала!

Пить! Прежде всего пить студеиую оживляющую влагу. Холодом иежит пересмякшие губы. У родиика долго мылись, плескались, ухали от холодиой воды, потом так же долго, деловито, старательио, как работали, ели из общего котла Дарьиио варево, запивали с густым крякаиьем кислым деревеиским квасом. После обеда затихла степь. Вповалку в коммуиах полегли отдыхать люди и спали, ие тревожимые бьющими в голову лучами жаркого солица. Когда иадо телу спать, спит, ничего не боится. Но иедолго разливался в траве густой переливчатый храп мужиков и подхрапыванье баб. Подиялась коммуиа, и сиова шум, и треск, и гомон работы. В рабочей старой одежде ловко и согласио двигался иа общей работе Глебов. В пылу ее забыл, что ие одии хозяии над полем. Вспомиил только иочью и долго засиуть ие мог, хоть и устал от работы. Ворочался и кряхтел.

Из леска доиосился зовущий смех девичий, переливы гармошки и удалая частушка парией. Когда спустился иа землю ласковый

полог ночи, молодежь от станов подальше ушла. Переливами будоражливо голосов своих полог этот колыхала. В кустах пары жарко обнимались, больно целовались, любились. Но когда обвевал холодок зари и прогонял со станов истому сна и вставали старшие, молодые не запаздывали. Шли на тягло и хмелем криков и песни, молодостью согретую ушедшую ночь славили. Ссоры в коммунах во время работы были редки. Слишком ценил выгоду свою каждый, чтоб отстать, потерять лишнюю копну сена. Один раз Софрон поскандалил. Он на покос только наезжал, и как раз в его приезд в их коммуне лобогрейка сломалась. Поехал верхом к Савоське-кузнецу.

— Айда, парень, в кузницу!

— Ишь ты, ласковый! Поди-ка, в коммуне раздел на душу. Не сработашь, не прогневайся.

— Дак нашей-то коммуне как без машины?

— Ну, косами косите!

— Я те покажу «косами»!

Разъярился, а потом смекнул: прав Савоська. Как работу пропускать? И вышел приказ от исполкома кузнецов с косьбы снять, положив сено на их долю. Каждый день новый случай учил, направлял порядок, и все уверенней становились Софрон и с ним согласные. День за днем, к концу косьба. Праздников не справляли, хоть иногда и тосковали по ним. Но отказывались: на себя работали.

Передряги начались только, когда стали сено возить. Глебов на своих лошадях воз

за возом, а артамоновская лошаденка притомилась. Он чесал затылок, поглядывал на затуманившееся небо и ахал:

— Што ты станешь делать? Подкузьмила лошаденка! Везде бедному закавыка!

Ванька Софрону сказал:

— Мы чо же, сено-то сгребали, сгребали, а теперь облизываться станем? Дожди пойдут, сгниет. На своей спине не вывезешь.

— Тебя не спросили! Знам, сделам.

Новый приказ прорвал затаенный гнев богатых. Долго галдели у волости, когда объявили, что лошади в коммунах тоже общие, сено возить по всем дворам коммуны по очереди.

Софрон на крыльцо вышел:

— Ну, а вы хочете по-старому? Наработали, да все на вас? Нет, ушло времечко. Палка-то в наших руках!

И лицом двинул на красногвардейцев приезжих. Сдались. Только Панкратов, мужик богатый из Тамбовки, двух лошадей своих испортил. Захворали. Аксинья-солдатка доглядела. Коновала к лошадям привели, а Панкратово семейство сена лишили. Старались и другие: ночью копны к себе в коммуну с поля других перетаскивали. Но хорошо следили подростки. Уличали. Ванька Софронов, загоревший и радостный, в своей коммуне за чередом смотрел.

— Эй, эй, Глебов гражданин, не мухлюй! Нынче нам лошади. Куды заворачиваешь?

— Без тебя знаю, мозгляк!

— На мозги теперича спрос. А вот по брюху только революционный трибунал плачет! Как кто выпятит, сейчас сгребет!

— Ты, сволочь, гляди нарвешься когда... Не охнешь! Больно ловкий да шустрый стал!

— Нам нельзя нешустрым-то быть. Сказано. Российска Федеративна Социалистическа Республика. Вот и поинмай!

У Глебова кулак зачесался, но только сплюнул. А в голове подивился: язык у молодых острый. Как перец в их смачной русской речи иностранные слова.

С утра до вечера скрипят полные сеном рыдваны по дороге. Мотают головами лошади, мерным шагом таща их к дворам заовражиисских. Будто удивляются, что гумна, годами по стогам тоскующие, теперь полны. Богатые сено заработанное встречают не радостью. Новая мера обиды за покос на душу налегла. Зато радостно треплет коровенку жена Редькина.

— С сенцом, рыжуха, нынче! Н-но, стой! С сенцом...

Редькин иа кровати с половины покоса лежал, маялся. В коммуне мало наработал: жарким летом в поле все дрожал, тепла просил. Но на его семью покос засчитали. Артамои Пегих один раз навестить его пришел, поглядел и раздумчиво сказал:

— Може, опять не помрешь! Должон бы, дак упористый! По всему, весной бы еще помереть надо, а ты все супротивнишься. Не знай, не знай! Должен бы, а промежду прочим, не знаю!

Жеиа тоже два раза уже иачииала причитать, а потом заводила последиий хозяйственный разговор:

— В городу суидучок-от забыл. Беспремеино Аитошку спосылать надо. Детям лопатиив-то сгодится.

А Редькии все ие умирал. Хрипел, а смерть гиал. Одии раз Ванька привел к иему бывшего библиотекаря, Сергея Петровича. В продовольствеиом комитете теперь служил, приехал для сбора сведеиий с эмиссаром. Сергей Петрович очеиь Редькииа жалел, а ие вытерпел — попрекиул:

— Вот мучаешься, и помочь иекому! Доктора-то за что прикоичили? Время бесправное, а то за такое бы зверство!..

Редькии только глазами повел и прохрипел:

— Уморил бы...

А Ваиька резко, ие по-детски, сказал:

— Для кого бесправио, а кого на права выволокет. Было бы по-старому дольше, миого бы еще эдаких погубили! Как жили, в эдакой жизии не обучишь. А темиота, оиа злая.

Сергей Петрович пристальио иа иего взгляиул и смолк.

И дома вечером отцу Ваиька вдруг сказал:

— Помиишь, городской-то приезжал зимой? А правду ведь ои сказал: отмеиить деревию иадо. Чтобы как город была, с машииами. Покос-от машииы какой всему селу собрали.

Уборка сеиа коммуиами Софроиовой партии в селе силу дала. Два мужика богатых

из Небесновки, Перегудов Антон и Лотошихин Павел, прошенье подали:

В большевицкую партию на селе Интернационалове по старым документам Тамбовско-Небесновском.

Граждан села Интернационалова
той же волости Антона Михайлова Перегудова
и Павла Максимова Лотошихина

ПРОШЕНИЕ

Мы нижеподписавшие Антон Михайлов Перегудов и Павел Максимов Лотошихин к сему сообщенье докладываем, что есть у нас земля. У Антона Перегудова полтораста десятин, у Павла Лотошихина сто десять десятин. Но как мы поняли, что теперь большевицкая партия самая правильная, то желаем в ее записаться и с малоземельными заодно в линию состоять от того, что старого монархизма не хочем. Сие собственноручным подписом скрепили:

Антон Перегудов
Лотошихин Павел.

Софрон на своем собранье доложил, и постановили в партию обоих принять, а так как они богатые, то откуп с них взять. Антон Перегудов должен сдать большевистской партии села Интернационалова двести пудов пшеницы, а Павел Лотошихин сто. Оба согласились и пшеницу через неделю доставили. В большевиках утвердились.

А смута в уезде только замерла. Тайными путями узнали небесновцы, что казаки готовы двинуться на большевиков опять и теперь упористей. Дали знать богатым тамбовским жителям. Глебов в станицу казачью на ярмарку съездил.

В престольный праздник, на Илью-пророка, все село во хмелю спать полегло. Де-

сять вооруженных людей в темноте сторожко Софронову избу окружили. Софрон на дворе случайно был. Шорох услышал.

— Кто там?

Но крикнуть не успел. Рот заткнули и связали. Весь исполком в ночь захватили. Шум бабы все-таки подняли. Но, с помощью казаков, тамбовские и небесновские богатые мужики с местной охраной, ослабленной в последние спокойные месяцы, справились. Главарей большевистских переловили, а остальные хлеб-соль вынесли.

Еще рассвет чуть брезжил, когда связанных за село на расправу вытащили. Пробуждающийся день встретил гомон людей ласковым предутренним ветерком. Шевелил волосы на головах связанных. Будто ласкал в последний день. Худой и желтый Жиганов расправу начал.

— Что, Софрон Артамоныч, коммунами? Машины отбирать? Вот тебе за лобогрейку!

Плюнул в лицо и связанного Софрона под правый глаз жестким сильным кулаком. По глазу угодил. Залилась кровью синь его. Софрон рванулся, заревел. Гулко отозвалось поле на крик. А Жиганов повалил Софрона и сапогами тяжелыми на животе его заплясал.

— Вот тебе за сгребалку! За дом мой! Вот тебе за хозяйство мое! Принимай уплату!

Сомлел Софрон. Водой отливали. Потом опять били. Избитых, измученных поставили на ноги и приказали:

— Пойте свой «Интернационал»!

Из двадцати девяти человек девять запели дико, как похоронную свою.

— Вставай, проклятьем...

Но осеклись. Софрон еще живой, катался по земле и выл:

— Сволочи! Замолчите!..

Антону Перегудову двести отметин на спине шилом сделали. Жиганов хрипло орал:

— Вот тебе для счету: сколь пудов отдал!

Павлу Лотошихину сто. Редькина полумертвого выволокли из толпы. Растоптали сапогами.

Уж взошло жаркое солнце, когда двадцать девять человек в поганую отвальную яму кинули. Восемь живых еще ворошились под трупами. Всех завалили землей.

Артамона Пегих только в полдень рыжий казак нашел в стогу сена на гумне. Вытащил. Он тряхнул седыми волосами, будто выбивая из них сено, и спокойно спросил:

— Редькину-то, сказывают, дохрипеть не дали?

— Об себе думай! Сейчас тебя предоставлю, старый охальник.

— Ну-к что! Для внуков хотел еще на земле помаяться, а не довелось, дак ладно.

И покрестился истовым крестом на восток:

— Господи батюшка, прими дух большевика Артамона.

Его били долго, но еще живого на яму

отвальиую доверху иабитую притащили. Осевшим, прерывистым голосом ои протянул:

— Тута, зиачит, кро-вушкой полили... косточками сдобрили-и...

Прикладом казак прикоичил его. Дарье Софроиовой брюхо выпотрошили. Младенца свиньям кииули. Семьи большевистские вырезали. Только пятиадцать человек в погреб жигаиовский засадили. Гляиуло страшное лицо деревии... Иваи Лутохии, пророк небесновский, уцелел. На поле был... Когда вериулся, только иагайками поучили. Застегивая порты, он глухо сказал:

— Земля иынче хорошо родит. Большевиками уиавозили.

А Ваньку Софроиова судьба укрыла. В город перед Ильииым дием уехал.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

Эскизная повесть

I

— Главное дело — фамилия не по существу.

Это ему, еще мальчонке, когда в чайной развесной у Высоцкого служил, младший конторщик разъяснял. Не один раз. Часто.

— Я в городском училище две зимы учился, так знаю! Александр Македонский был всемирный покоритель и герой, а ты худородие, а в паспорте у тебя тоже: Александр Македонский. Ну и рассуди: чему это подобно? И не в том еще, что нижнего сословия, а существенно смешно, что из себя ты как мыша голодная. Тот всемирный император, а ты кто? Не то голоса человечьего,— вздоху чужого боишься. Нет, брат, чрезвычайно иронично тебя обозвали.

Щуплый Сашка моргал всегда налитыми испугом глазами и тихонечко вздыхал в ответ. Что тут скажешь!

Один только раз осмелел и сказал, будто выпрашивал, чтобы так было.

— А може, его величали не Евдокимыч?

— Кого?

— А этого... императоря-то.

Конторщик фыркнул так, что бумажка на столе подпрыгнула.

— Ну, дурак ты, Александр Македон-

ский! Евдоким — имя простонародное. Никак императора им величать не могли. А только тебе от этого какой резон?

— А може... как в различку... дражниться-то не будут.

— Эхе-хе, нет у тебя смысла в мозгах, Алексашка! Кто тебя когда величать станет? Всякому нетрудно за насмешку паспорт твой упомнить. Так и помрешь Александром Македонским! Кто это тебе напакостил, как крестили? Ну назвали бы Иван или Степан, вот тебе и различка. А то на, Македонский да Александр. Поп али отец с матерью удружили?

Разве он знает кто? Мать одну помнит. А она что скажет по серости своей? Прачка так прачка и есть. Уговаривала:

— Дед у тебя псаломщиком был. До дьякону не дослужился, помер. А детей девять, и все живые. Где надо, и мор не берет! Отец-то твой ровно как и духовного звания, а так в сапожниках и на тот свет ушел. Мне вот четырех вас оставил. И все Македонски. Я как прозванне сменю? Гумаги-те поди полиция наблюдает. Сумей-ка, смени! Александр — имя хорошее. По-православному дадено... Да не веньгай ты! Вот как чебурахну, узнаешь, как мать попрекать! Господи батюшка, чисто его по-матерному обозвали, убивается. Стираешь, стираешь для их чужуто грязь, а они изгиляются. Как окрестили! Пропаду на вас нет!

Конторщик правду сказал: Евдокимычем не много раз за сорок лет жизни называли. Все: «Эй, как тебя...» А еще: «Братец мой». Слова хорошие, о родстве говорят. Только

на голос плохой люди научились, их выговаривать. Как скажут: «Подай-ка, братец», «ты, братец мой, не рассиживайся...»— о родстве не подумаешь. Образованные, те больше по паспорту с усмешкой выкликали: «Александр Македонский». Ничего. Раз на земле появился, руками, ногами двигать должен. Как ни называют, повертывайся.

И Сашка повертывался. Через плечо на бумажки глядя, грамоте у конторщика выучился. Потом дома над книжкой и тетрадкой изводился. Мать, жалеючи, била. Ничего, дошел. Четко выучился слова на бумаге выводить. Как конторщики. Грамматикой не смущаясь. Барин Шидловский над прозвищем его похохотал. За веселый миг, им доставленный, к себе на хутор пригородный взял. Богатый хутор. С заводами винокуренными и пивоваренными, с фермой молочной, далеко известен. И на хуторе все за прозвище смешное не забывал. В младшие конторщики Александр поднялся. А видом все робок и неказист. В Евдокимыч не вышел, хотя и шестерых детей нажил. Даже, кто ниже остался, не величают. Старшая дочка Лизонька с гневом говорила:

— Да распрямитесь, папаша! Что вы все, будто палкой на вас кто замахнулся? Посмелей были бы, легче бы нам. А так... все равно, Сидором бы звали, нашли бы над чем смеяться. Только пригнись, люди до земли придавят!

Потом бранью надрывной, крикливой на всей семье зло срывала. Обида в нее, как болезнь, вошла. Иссушила и будто приста-

рила. Семнадцатый год, а губы сожмет, как у матери рот станет. С морщинкой. Из третьего класса гимназии за невзнос платы за право учения исключили ее. Хорошо училась, да стипендии другим, к начальству близким, отдали. А отец не вытягивал на семью в восемь ртов. Жалел дочь, виновато моргал глазами. Нежностью щемящей жалость свою показывал.

— Доченька, аппетитных капель я у доктора достал. Попила бы... Худая больно.

— Отстаньте!

— Или бы шитье бросила? Ничего ведь, с голоду не помираем. К рождеству прибавка...

— «Прибавка»! Да не вяжитесь вы ко мне! Душу вымотали.

Дверью срыву хлопала и убегала.

Мать вздыхала:

— Порченая али своебышная... Я и говорить-то с ней боюсь! И деньгам за шитье не рада. Изводится девка! И по праздникам не отдохнет, все в книжку. На што обучал? Жили без грамоты ране, ничо, кусок глотали! А ей все поперек. В нутро нейдет! Замуж бы взял кто. А сейчас кто возьмет! Над рабочими словно барышня, а господам не ровня...

Моргал глазами отец. Чем поможешь? Во сне один раз Лизоньку радостной, замужней, с детками видел. Все хотел, чтобы еще раз тот сон привиделся. Не повторялся. Перед самой сменой царя в город Лизонька шить перебралась. К первой городской портнихе в мастерицы.

II

Город разлегся, в степи. В нем — жирные жители: татары и русские. У жителей много скота и пшеницы. Оттого по широким немощеным улицам своего города они ходят неспешно, вразвалку. Любят просторную одежду и крепких плодовитых жен. Любят свою плодородную землю. Оттого даже двухэтажные дома в городе присадисты. В домах много пуховиков и подушек. Всегда пахнет готовым жирным обедом. Царит в домах спокойная сонная дрема.

Много в городе колбасных и гастрономических магазинов. Учебники и сонники продает торговец иконами, извлекая их из-за образа Спасителя и святых. Библиотека приютилась на дворе пожарной части. Толкаются в ней только гимназистки — просят книжки писательницы Вербицкой, и реалисты — оспаривают друг у друга очередь на Луи Буссенара. Взрослые книг не читают, хоть и выписывают многие «Родину» и «Ниву» с приложениями. Волнует кровь только игра в карты и в лото в общественном собрании и в гостях друг у друга.

По железной дороге уходят из города вагоны с мукой, кожей и салом. Приходят с чаем, красным товаром и рыбой. По широкому тракту из города и в город тянутся терпеливые верблюды с тяжелыми вьюками. И вереница дней проходит, в цепь жизни сцепляясь, спокойная, сытостью нагруженная, как этот караван. Кольцом заперла город от шума других жирная степь. И кажется — умирают здесь только от переедания и старости.

По праздникам — оии часты, город чтит и малых святых — долго стоит над домами густой звон круглых невысоких церквей. В часы татарских молений так же густо и благодушно кричат аллаху с минаретов мечетей крепкие старики муллы. И бог этого города — гладкий, румяный и гневом тревожиться ие любит.

А Лизе город сытости не дал. Все воск на щеках н кость в обтяжку. Только речь глаже стала. Мать горестией вздыхала:

— Все, видно, в кинжку глядит. Говорить по-книжиому зачала. Вот присуха-то проклята!

А отец вспоминиал, как сам он иад книжкой корпел, и робкой улыбкой будто извииялся за себя и за дочь.

III

Не углядел сытый, соиный бог. Разорвало покой. Толстый Иваи Макарович, первой гильдии, пыхтя и отдуваясь, вытирал большим платком круглую плешь. Говорил Сафиулле Ишмуратову:

— Царя ие иадо, Родзяику ие иадо, Керенского за штат! До чего добрыкаются?

Щурил хитрые глаза Сафиулла. Тюбетейку повыше сдвигал, жаловался:

— Чай дорогам пропал. Убытка много! Мал-мал пора свобода кончать!

— Гляди, как бы иас ие коичили! Расшарашнлся народ.

И напророчил. Сталн большевики верховодить. Галдеж пошел н на заводе Шидлов-

ского. Выборы всякие и рабочий контроль. Шидловскому хоть неполная, а как будто отставка. В городе больше проживать стал. А Лиза из города часто к отцу наезжала в эти дни суматошные. Объявила:

— Я, папа, партии большевиков.

Отец ничего не сказал, а мать заплакала. Фельдшер ее напугал. Много про большевиков, горячо и злобно, рассказывал. С большим достатком был человек. Беспорядка большевистского опасался.

Лиза удивилась:

— Что ты, мама? Чего испугалась? А?

Посмотрела на тихую, раньше срока стареющую и обняла:

— Старенькая моя...

Мать от ласки нежданной еще больше растревожилась. Как выросла, Лиза не ласкалась. Растерялась. Не смогла дочь поругать. Только, всхлипывая, спросила:

— Лизонька, неужто и богу отмена?

Лиза рассмеялась:

— За что жалеешь его? За пазухой у него не жили.

Слова злые. А лицо у девушки светлое. Македонский не слова, а свет этот уловил. Сам прояснился. В первый раз покровительственно, как старший в доме, на жену свою взглянул. Ослабла мать. Дочерней радости не видит. Уверенно успокоил:

— Не плачь,— выросли дети, куда лететь, сами знают.

Затянула Лиза отца. На собрании стал ходить. Людям тревога и сухота, а отец с дочерью будто на поправку. У ней взгляд резвый. Кровь чаще румянцем лицо живит.

У Македоиского тоже спииа прямей стала. Глазами реже моргал. На хуторе слышией голос его. В городской совет в выбориые попал. В списке полиым имеием прописали: Алексаидр Елизарович Македоиский. В отчестве ошибка вышла. Ну что ж! Алексаидров Македоиских больше иет, а то ие дивились бы так раньше. Зиачит, ои. А где тут упомииать: Елизарыч или Евдокимыч? Невелика птица, хоть по-иному, да возвеличали!

В газете отпечатаииой свое имя увидел, в первый раз взлохматился. Всегда скромио волосок к волоску иа голове приглаживал. А тут с газетой домой прибежал: волосы в разиые стороиы, лоб мокрый. В глазах ие то испуг, ие то радостиое отупеиье. Жеиа испугалась:

— Побили тебя, што ли?

— В Совет, Нюраша, выбрали. Вот гляди! Пропечатали: «Алексаидр Елизарович Македоиский». То есть иадо бы Евдокимович, так отпечатка вышла!

— «Отпечатка»! Гляди, как бы иа загривке отпечатки ие сделали. И куды лезет, и куды лезет, господи батюшко! На загорбке шестеро — в Совет! Досидел тишком до старости, а иа старости яйца курицу выучили. За Лизкой потяиулся. Да чо же это будет? Чо же это будет?

Завела иа целый деиь слезливую жалобу. Голос скрипучий, как у матери-покойиицы. Похожи все бабы друг иа друга, хлипкие. А Лиза в отличку вышла. Вспомиил о дочери — свет по лицу. И жеиу пожалел:

— Не тревожь себя, Нюраша. Никакого тут страху иет. Почет большой. Кто я есть?

То есть кто я был? А теперь член Совета. То есть городом с трудящимися другими управляю.

— Управитель! Видать, всем взял. Что рожей, что кожей! Таки-те управители нужники господски чистили. Девку в городе с панталыку сбили... Другой бы отец пристращал, а этот за ей на поводу. Один чирей в семье был, теперь два...

И осеклась... Не видала еще такого лица у мужа. Побелел весь, в упор взглянул и рукой о стол ударил. Словно и не он.

— Ты Лизу не задевай! Может, только одно добро за нами, что ее родили...

Не кончил мысли. Махнул рукой, ослабел. Опять смирным, обычным голосом закончил:

— Низкость наша примяла нас, Нюраша! Я было к тебе с радостью... Как именинник... Ну, да ладно. И вправду, зря распетушился. Колун-то где? Пойду дров наколю.

Посмотрела, как присутулился опять, как торопливо напяливал старенькое ватное пальтишко, прожгла жалость сердце.

— Ты бы, Алексаша, отдохнул. Наколем с Петенькой. У тебя теперь други дела. Жить-то в городе придется?

Хотелось сказать ему много слов. Хотелось уверить. Радость и почет, что выбрали. Но слов не нашла. Солгать не сумела, боялась за него.

— Нет, наезжать в город только буду. Ты не тревожь себя...

И вышел.

Рада была не тревожиться, да как же, если тревога по пятам? Лиза в другой город

по делам какнм-то уехала. Веселая прощаться прнезжала.

— Папа, тебя очень хвалят! Говорят, ты тнхнй, а работоспособный. Это хорошо, что ты здесь в кооператнве работаешь. Там чужой элемент есть, а на тебя положнться можно. Подождн, я приеду!.. Мама, что ты все сохнешь? Устала ты! Ничего, отдохнешь скоро. Вот погодн, я прнеду...

Глаза Лнзины жизнн радуются — жаркие. И на месте не сидит. Все двнжется, легкая н быстрая. Вышлн за ворота провожать. Полюбовалась мать. Тонкая, а вся как ртутью налнта, н румянец нежный.

— До свиданья! Ждите меня!

Мать заплакала тнхо н горько. Ярко в память врезалось все: деревья с тускнеющнмн листьями предосенние, серая лента дороги и тонкая, в черном пальто, четкая такая в тарантасе. На повороте дорогн белый платочек в руке весело в воздухе взвнлся, красной повязкой голова закнвала.

Улыбнулся тнхой улыбкой своей Македонскнй. Жена снльнее заплакала. Он осторожно взял ее за плечн н повернул к дому. Тихо, но спокойно сказал:

— Не наш черед плакать. Помолчн.

IV

И песчинка малая, в внхре закрученная, вместе с внхрем несется. Вместе с внхрем!

Так н рассуждал:

— Попал, так нзворачнвайся, чтоб не прнтопталн.

Пятеро нх с хутора Шндловского

скрыться успели, когда чехн в городе иа посты стали. Расправа с людьми большевистской партии началась. И вот привелось скрыться в чужом городе... А Нюраша с ребятами в своем родиом мается... Не засудили бы! А Лиза... Толчками частыми сердце в тощую грудь. Тоску бьет. Но человек тихий. К молчанию прнвык. Хоть груз тяжких дией иа спиие горбом нарастал. Присутулился. Но ие кричал. Никому ие жаловался. Только чаще моргали красиоватые веки безбровых глаз. Крнчать зачем? Если всякий раз, когда больио, кричать — криком без толку изойдешь.

Самая забота тяжелая: упомнить, что он теперь — Иваи Суслов. До старости без малого донес свою смехотворную кличку. К новой трудно привыкать было. Но прнвык. Под такой же, как сам, сереиькой — легче. Ведь и прежде только фамилия иа отметину. А видом — в глаза ие въедлив. Для такого прндумано: особых прнмет ие имеется. Но для каждого человека иа земле есть место, куда надо иеобходимый гвоздок вбить. Оттого н серость жизнн на пользу. Говорили Лизиной партии люди, теперь и ему свои:

— Товарищ Суслов, сегодия иа вокзале встречайте... Незаметио иадо тючок получить...

— Товарищ Суслов, как идет передача в тюрьму? Не забыли? Ничего ие перепутали?

Как на службе когда-то, ни одного поручения ие забывал, инчего не перепутывал. Все делал старательно. И по-особениому — бесшумио. Других ловилн, а его не замечалн. Даже те, кого на тайиые квартиры провожал, кому помощь, иа всю жизнь памят-

ную, оказывал, сразу лнцо его забывали. А в такой-то, как теперь, заварухе н крупных теряют. Где углядеть мелкоту!

Так н жнл. Делал дело под охраной своей тнхостн.

В артель поваров и офнциантов — лучшее в городе кафе на главной улнце — удалось поступить. И там при другнх остерегалнсь, а на него взглянув, в разговорах меньше стеснялнсь. Случалось важный слушок узнать, свонм передать.

Но один день разом все нзменнл. Как в кафе шел, человека своего повстречал. В город, родной Александру Македонскому, езднл с порученнями. Пнсьмо от Нюрашн передал. Петенька, сын, пнсал с ее слов. В пнсьме ннчего, кроме: жнвы, здоровы, кланяются. Вндно, прнказалн с осторожностью писать, но на словах передал приезжнй:

— На допросы вызывалн, обысками мучилн, но ннчего. Отвязались! С хутора выгналн. В городе жнвет: сторожнхой в земскую управу определилась. Детн одолевают! Постарела очень. Старшнй сын мальчиком в редакцни служит, другой на посылках, тоже в земстве. Плохо, но с голоду не умнрают. Товарнщн помогают. Только передать велела, что слух прошел: Лнзу захватнлн. В тюрьме в Омске будто бы теперь.

Не помннл, как в кафе дошел. Думы в голове узламн. Голове больно.

«Лнзонька... Доченька...»

Хваткой за сердце воспомнианье: потускневшне лнстья н девнчье лнцо радостное. В первый раз сомненне затомило:

«Надо ли было самому ввязываться?

Теперь семья мается. И Лизоньке, может, помог бы тогда. Э-х!»

— Суслов, задремал? Слышишь, с твоего столика зовут!

И вот тут, будто за то, что от думы горькой оторвали, захотелось закричать. Даже лицо перекосилось при мысли:

«Запустить бы тарелкой в тебя, жеребец красномордый! Поди дома ел-ел. Еще чего-то надо! Сюда припер!»

Подошел и угрюмо спросил:

— Ну!

Приземистый, плотный господин еще больше порозовел. Но не рассердился, а скорей удивился:

— Разве так спрашивают, братец мой? «Ну!» Недавно, видно, принят? Пусть поучат с людьми разговаривать! Другого кого-нибудь, потолковей, нет ли? Эй, чела-эк!

— Занят я, господин. Вот Суслов на этом столике. Суслов, пошевеливайся! Слышишь: барин требуют...

— Ну, иначе-о-о! Все равно. Так вот, братец мой, карточку. Тэк-с... Мазагра-ан с сосисками? Интересно. В первый раз слышу. Это что написано? Мазагра-ан?

— Повар так обозначил.

— Ха-ха-ха!

Колыхался от смеха круглый живот. Благодушно узились карие приятные глаза. А Суслову было б легче, если б этот гладкий ругался. Смехом, видом своим благополучным дразнил. Нет, непереносимо.

— Подать мазагран?

— Несите ваш мазагра-ан с сосисками. Очень интересно!

Собирал прибор в буфетной, коротко, резко покашливал. В первый раз злоба душила. Этот холеный барин... Вид такой, будто жизнь ему до конца только одно благополучье обещала. Погоди! Еще будет тебе «мазагра-ан»! Щеки парикмахером выглажены, одежда из товара заграничного и будто только из-под утюга. Но, наверное, из вагона недавно. От большевиков удирал. Видно, из столичного города.

Вдруг опять сердце в тиски:

«Доченька... Лизонька...»

Покашливал, как стон сдавливал. Моргал глазами, привычно двигался. А тиски на сердце не разжимались.

Полнилась утроба кафе. У вешалки два человека, как заведенные, поворачивались налево-направо. Принимали одежду. Как в панике, смешно и нелепо взметывали салфетками официанты. Люди за столами и столиками требовали еду, жевали, звали лакеев, смеялись, разговаривали. И смешанный гул их голосов стоял в комнате, как глухое ворчанье успокоенного сытостью многоутробного зверя. Из глаз ушло беспокойство мысли. Пленкой мутной закрывался их блеск. Туманила голову дурманная смесь ароматов и вони. Пахло мясом, пряными приправами кушаний, нежными и крепкими духами, пригорелым маслом, табаком, пудрой, человеческим телом, разогретой едой и несвежей одеждой. От сытости и щекочущих звуков веселенькой истории про полк гусар-усачей, которую рассказывал оркестр, жизнь казалась успокоительно-забавной. Без крахов и тревог.

Но полог нстомной одурн то и дело разрывался. Потому что въедливой струйкой влнвался в смесь благополучных запахов тревожный запах остро пахнущнх лекарств. От повязок, вндных н невндных глазу. Потому что жутко грнмасничал н дергал шеей контуженный офнцер за столнком у окна. Поправлял черную повязку на лице, закрывая вытекший глаз, другой. С не увянувшнм еще пушком юностн на щеках. Потому что невысохшне буквы газет на столах передавалн глазу слова: наступленне, отступление, наш фронт, нх фронт, большевики, меиьшевики, соцналисты, капиталнзм, революция.

Но даже прнзрачное внешнее успокоение сидящнх за столом было невыноснмо сегодня. Ведь гвоздем вот здесь, в грудн:

«Засудят... Хлебнула лн сладкого в жнзии?.. Нет...»

И ярко в мозгу, как в глазах, морщннка старческая у юиых губ дочери.

«Дочеиька».

Дрогнулн рукн. Т-ррах!..

— И об чем этот человек думает? Нате, тарарахнул целый поднос. А там господин, которому подает, жалуется: зачем, говорнт, такнх держат... Не дождешься, говорнт. Ругается!

Плюется буфетчнк. Ногамн топает. А Суслов ие виднт его. Напомннанне о господине стегиуло.

«А, этот «мазагра-ан»... Брюхом там колыхает...»

Злоба, какой не нспытывал во всей цепн прожнтых лет, в голову ударила. Повернулся, толкнул,— кого, не разглядел,— н в сто-

ловую нз буфетной. Но дюжей рукой вцепнлся в воротннк Тнмофей Васнльевич и отброснл от дверн иазад.

«А, этот еще, гладкий черт! Украшенье кафе. С двумя «Георгнямн» на груди. Инвалнд почетный, с нnвалндством, от глаз скрытым...»

— Ты чего это, мужнчня сиволапая? Мне иа мозоля́ наступать? Эдаку паршу не то что господам прислужнвать — в кухню допускать нельзя!

«Колчаку в вагоне до Омска прислуживал, так н человек? Уставнлся бычачьнм взглядом, пыхтнт. Как икону, в кафе показывают. От самого Колчака бумажечка есть».

Рванул воротник нз крепкнх пальцев, вырвался, но назад не повернул, наскоком на Тимофея Васнльевнча.

— А што твои мозоля, в церкви священы? Колчаку ... салфеткой вытирал, дак над всемн людямн начальннк? Так н есть человек? А? Плевать я хочу на тебя и с Колчаком-то с твоим!

Тнмофея Васильевнча от уднвлення даже назад отброснло. Переступил шаг н опомннлся. Завопил:

— А, ты верховного правнтеля пакостншь! Пригласите сюда дежурного офнцера! Прнгласнте! Всякая сволочь на особу покушается! Пра-шу прнгласить дежурного офнцера!

Угруз. Ну, теперь уж все равно! Развернулся н с большой, взыгравшей нежданно радостью влепнл полиовесный удар над правым рыжим усом.

— От сволочн д-по особе! Получнте!

От столнка, для дежурного офнцера всегда в кафе прнготовляемого, в буфетную хлыщеватый военный спешил:

— Что случнлось?

— Ваше благородье! Вот я двух «Георгнев» кавалер, а он прн мне в недостойном согласованнн верховного правнтеля...

— Взя-а-ть!

По улице шел легко, как никогда. Будто гной наседал на сердце, а теперь его выхаркнул. Вольно дышала грудь. Соображал:

«Бумаг ннкаких не давалн. А что в голове,— не узнают. Не выковырнут»!

Но в тюрьме затомнла тоска:

«Из-за чего вляпался? Кого завтра на вокзал пошлют? И дома там-то... На свободе все скорее можно помощь подать. Да кабы еще на деле поймалн... А то нз-за Тнмофея-блюдолнза! Эх, незадачлнвым мать роднла!»

Днвился, как накатнл гнев. Сколько обнд выноснл раньше, а тут — на!

Потом пршшла в голову мысль:

«Лнзоньке бы рассказать, как я его — развернулся да в морду! Она бы посмеялась».

И оттого, что опять ясно представил, будто увидел Лнзнну улыбку нечастую,— повеселел. Показалось вдруг: все будет хорошо. Увидятся. Не может быть, чтоб ие увнделся еще с дочерью. Заснул крепко, с облегченным сердцем.

Но до последнего дня пребыванья в тюрьме по ночам наседала тяжелая тоска:

«Зачем не сдержался? Свои-то отвернутся! Как мальчишка глупый какой...»

Опять спасся, оттого что тих и сер лицом. Других допросами мучили, с собой увезли, а о нем никто не вспомнил. Вернулись большевистской партии люди. Из тюрьмы выпустили.

Вот жене и его лицо из всех отметное. Припала к плечу, как в молодости. Целовала, гладила, причитала:

— Постарел, Алексашенька! Этих вот морщинок не было. И головушка пегая стала. Ну, да вернулся, а седина да морщины все равно свое время не упустят. Пора им и приходить.

Гладил ее склоненную голову, улыбался, а на глаза слеза набегала. Жалеет мужа. А сама-то... Тоже сгасло лицо в старческой усталой серости. В волосах также клоками седина. В глазах оторопь и тоска. И про Лизу не спросил, хоть и лезли на язык слова неотвязно. Очень уж жалко старую. Зачем бередить? А других разговоров не находил. Много их, да сейчас не о том надо. Чтобы только не молчать, спросил:

— На хутор-то когда перебрались?

— Да всего пятый день. Рабочие перевезли. Айда, говорят, на старое жилье, мужа дожидаться...

Но Петенька ранку ноющую расшевелил. Повисел на шее у отца, покрутился вокруг и с нерассуждающей, жестокой юною правдивостью сказал:

— Папа, а про Лизу говорят: замучили в тюрьме.

Жалобно заплакала мать, поникнув вся, будто сразу одряхлев. Больше всего заботы

было с Лизой. Оттого глубже всех детей в сердце обоим вошла.

Побелел Македонский, но с последней спасительной надеждой за мысль уцепился:

«Может, не разузнали еще? Ошиблись. Только прибыли, не разобрались».

Вслух сказал:

— Завтра в город разузнавать пойду.

Всю ночь провздыхал, проворочался. Убеждал себя: пятеро детей живы и здоровы. Ведь радостно? Но сердце не слушалось. Ныло о старшей, беспокойной.

V

Только прибыли новые хозяева — и сразу свой лик на городе отпечатали. Будто во всех домах двери настежь. Перекатом говор из домов на улицу. С улиц в дома. И дома стали как палатки походные. В купеческих — штабы всякие разместились. Сорваны кружевные занавеси. В беспорядке мягкая мебель по всем комнатам и в кухне. Точно сама в испуге разбежалась, как хозяева по разным углам. На хозяевах платье мешком. На мебели обшарканная, ободрана нарядная обивка.

— Товарищ ротный, буржуазия самовар растопила.

— Черт их дери! Зачем?

— Не то с перепугу, не то с умыслу.

— Грей чайники на плите! После разберем.

— Товарищ, а товарищ! Далеко белых-то угнали аль нет?

— Беги, може, догонишь!

— Да я не к тому! Деньги вашински на базаре дали. Дак как, отмены не будет?

Худенькая, с клоком волос, кокетливо взбитым, портниха Шурочка на улице патруль остановила:

— Товарищи, скажите, пожалуйста: швейные машинки ведь отбирать не будете?

— Отберем! Твою первую. Заместо пулемета!

— Нет, кроме шуток, товарищи! Я, как своим трудом... трудящая...

Низко нависли новые нити спешно проведенных телефонов.

— Граждане, на другую сторону. Другой стороны держись!

...Мы сме-ло в бой пойдем
За вла-а-сть Советов...

— Послухам, послухам, какновы поют!

— Товарищи, Семена мово не видали? Пермски, пермски мы... То есть как на побывку прибыл, так Колчак у себе задержал... Маслов, Маслов Семен-то... Красный, красный... вашинский...

Тонкий синеглазый парень из рядов выдвинулся.

— Слышь, ты, тетка! А бельма у него на глазу нету?

— Нету, родимый, уж этого, извиняйте, нету! Так, лобастенький!

— Ха-ха-ха!

— В ряды! Чего отбились! Что вам, гражданка?

— Мужика свово ищу! В Перме в Красну вашу Армию то есть поступил! А где есть, не знаю.

— В Пермн? Зайднте в дом купца Трофнмова. Там вам справку дадут.

И тот, к кому первому за справкой баба обратилась, высокнй, сннеглазый, весело, уж нз рядов, отозвался:

— Найдешь, тетка! Нашннскн доходчнвы!

— Вот спаснбо, родненькн! Ну, как сказано, товарищн!

Яркнй луч радости сразу осмыслнл туповатое курносое бабье лнцо.

На вывеске трехэтажного, самого большого в городе универсального магазнна Сафнуллы Ишмуратова с сыновьямн отбнты золоченые буквы слов. И обломкн нх на железной сетке вывескн — как знаки неведомой грамоты. Огромные зеркальные стекла жалуются трещннамн н выбоннамн. Но шумом здоровых глоток полон огромный дом. И на дворе солдаты муравейннком. На тротуаре н около — детн соседннх дворов. Суматохе радуются. На улнцах толпа пестрая. Но редко мелькнет тонкое лнчнко, нзящный костюм. Все-такн страшно! Блузы, бабьи фартукн, плохо сшитые френчи н дешевые платья прилнвают, сменяются, двнжутся. И в радостном гуле — празднччное. В самой большой аптеке спешно прячет в подвал хозяин спирт и дорогие лекарства. Объясняет жене:

— На всякий случай, Этинька, на всякнй случай!

А служащне в белых халатах гурьбой на улнцу высыпалн.

— Товарищ, пожалуйста, нам! В аптеке многие прочнтают!

Это человек в военной одежде на возу газеты раздает.

— Гражданка, гребеночку потеряли! Растопчут!

— Какая там гребеночка! Ведь с Москвой, с Москвой связь теперь!

— Здравствуйте, Анна Самойловна! Газету получили?

— Да, московские!

— А я в городскую управу... То есть не знаю, как теперь называется... В бывшую городскую управу. Там все учительство... Кажется, опоздала!

— Смотрите, аэроплан, аэроплан!

— Красный!

— Нет, белый!

— Нет, красный!

Бах-бах-бах! Из магазина Сафнуллы Ишмуратова винтовки. Трах-тах-тах!

Из десятка дворов, из-за заборов выстрелы по аэроплану. Дальше, дальше по городу. Грозней перекличка винтовок. Будто каждый дом насторожился. В небо бьет. Город наш, город наш, город наш!

— Прекратить стрельбу!

— Кто-о распорядился? Прекратить!

— Товарищ, прокламашки кидат!

— Все равно, прекратить. Ну-ка дайте. «Большевики наши деньги отменяют, а их бумажки ничего не стоят. Мы вам их даром набросаем. Вот получите». Вот стервецы! Смотри — десятку испортили! Со штемпелями-то, конечно, ничего не стоит.

— Товарищ! Красны флаги приказано убирать с домов! Слышьте! Еще аэроплан!

Ток-ток-ток!.. Бах-бах-бах!.. Ток-ток-ток!..

— Слышите, слышите! Опять пулеметы!

— Наступают? А? Наступают?

Конного военного толпа на углу остановила:

— Товарищ, вот в военном суде у белых состоял. Поймали.

Высокий старик глубоко утянул голову в плечи, будто весь в одежду уйти хотел. Лицо с крупным носом и твердым ртом обмякло. Стало старчески вялым, молящим. Но глаза жили. Горели жутью ужаса.

— Нет, нет... Я — военнослужащий.

Конный отмахнулся рукой:

— Трибунал приедет, разберет. Чего стараетесь? Вон в тот дом отведите. Да не трогайте!

И поскакал дальше.

Толпа со стариком на тротуар подалась. Прижала к дому Македонского. На хутор назад было спешил. Справочку дали такую: еще ничего не известно. Может, и жива Лизонька... Да вот застрял... Что-то радостная суматоха города тревожной сменяется. Орудия за городом забухали. Надо у Митрича переночевать. Завтра уж домой. Хорошенько разузнать. Свои ведь пришли.

А наутро грозней уханье орудий. Чаще и дольше отдаленное токотанье пулеметов. На улице меньше людей. Тревожны разговоры:

— Будут отступать?

— А мы-то как? А мы-то как?

— Говорят, обозы... Ну, ну, видите — обоз вывозят из города!

— Товарищ, товарищ, эвакуация?

— Погоди, лихоманка, успеешь!

До вечера тревожиое иедоумеиье: что будет? Свистящий шепоток затаившихся в углах. Тех, у кого кровиые во Владивосток уехали. Но пусты квартиры в подвальиых этажах иа окраииах. На улице обитатели их.

— Вывезли обоз?

— Что, товарищ, отступлеиие?

— Аль жалеешь иас? Ждали-то, поди, печеика болела? В газетах-то ваших как честили красиых!

— Которы честили, уехали. А иаше дело — без вас карачуи! Отступаете?

— Увидим. Уйдем, так иеиадолго!

— О-о! Тут в деиь всю привокзальиу вырежут!

К иочи стало известио: перерезали путь подходящим к городу красиым войскам. Пришедших иедостаточио. Придется город отдавать.

Только иа рассвете затихла пальба. Будто притомились стальные глотки. А утром иа заборах беспокойиыми пятиами красиые листы. Призыв добровольцев иа защиту города. На ближайшие копи каменноугольиые — жириая степь и угольиые богатства таила, — иа хутор Шидловского, в железиодорожные мастерские, по всем улицам города клич красиых листов. Запись добровольцев иа Николаевской площади с двеиадцати дия.

Базарный торговец, кривой Степаи Федорович, посмеивался:

— На большу площадь записываться зовут! Ай думают — иа малой тесио будет?

Вышло — тесио.

С полудия — молчаливой, иахмуреиной толпой из железиодорожиых мастерских.

Пестрой, бестолковой, шумливой,— с окраин мастеровые, мелкие служащие. На углах кучками любопытные. Люди всякого званья.

— Гляди, прут!

— Попрешь, как в эвакуацию спрятались! Не поглядят, как вернутся!

— Оружья-то не хватит?

— Которы и стрелять-то не умеют!

— Ну, чего буркалы пялите? Вали записываться!

— А бабы, бабы! Тоже воевать?

— Ну, не хайли! Ничо, бабынька, не убивайтесь! Глянь, кака сила.

— Гляди, гляди, копейские, копейские! Мамыньки, да сколько их?

Длинной, звенящей, орущей лентой обоз по дороге. В тарантасах, в телегах, на копейских таратайках-двуколесках, далеко, далеко, не видно конца по дороге.

— Сторонись, сторонись!

— Эй, эй! Ребятишек с дороги!

— Здравствуйте, товарищи! Встревайте войско!

Вихри враждебные веют над на-ами...

— А-а-а...

— Эй, влево, влево!..

— Кареты-то больно хлипки у вас! Колесов не хватает!

— Доедем!

— Это танки нашински!

На шум и крик из домов валом. Посмотреть на копейское войско.

— Гляди, гляди: старики!

— А энти-то, мальчонки. Ребятишек пошто взяли?

— За своими гляди-и...

И за своими не углядишь. Высыпала из десятков дворов и домов бурливая юность. Пятнадцатилетний, низкорослый крепыш ломким от радости юных лет голосом кричал:

— Молоде-ежь, сбор нашему возрасту у реального-о...

— Остановите, остановите детей!

— Черт их остановит! Эти напором!

— Садись, мелкота! Подвезем!

— Товарищи копейские! Меня, меня...

— Товарищи рабочие! Отстони!

— Вот в энту телегу ввaливайся!

Вста-а-вай, проклятьем заклейменный...

Толпа с тротуаров к самым таратайкам. Рослый, с буйной кудрявой гривой актер, отставший от уехавшей труппы, звучно кричал:

— Товарищи, това-а-рищи! Великий момент! Картина неподдельного народного энтузи...

— Старани-ись! Орет дуром, патлатый...

— Не путайся под ногами! Вали на площадь!

Гам и гул идущих заглушил угрозу орудий. Бахали снова и упорно. Но в смятенье, в радости, в испуге жители слышат только ревущую толпу. Восторженно кричали все. И те, кого отвага двигала, и те, кому выбора не было: приказа белого начальства об эвакуации ослушались. И те, кого взмывом из дворов и домов захватили копейские.

Прилипали и осторожные. Такая сила двинула! Своевременно записаться лучше.

Видимо, город останется за красными. Тогда учтут.

Солнце на небо в этот день осенний выплыло разогретое. Будто тоже поближе поглядеть придвинулось.

Сгрудились у столов на площади. От давки жарче, чем от солнца.

— Не налегай, не налегай! Записывайте...

— Отходи, записанный.

— Куды-ы теперича?

По́том, как росой, покрыты лица записывающих.

— Пятьдесят лет? Отдыхай, дедушка! Молодых много.

— В очках? Слабо зренье? Подождите, после позовем, если надо будет.

— Александр Македонский? Ого, имя победное. А, партийный? Свой. Здравствуйте, товарищ! С нами вместе вернулись? Не налегайте, товарищи!

Свой. Единица, в тысячах сосчитанная. Малый ли, щуплый ли, кличка ли смехотворная — в шеренгу! Молодо кровь в жилах от этого... Туман в мозгу. Получал винтовку. Ехал на телеге с копейскими. Даже про Лизоньку забыл.

Три дня у проведенных спешно заграждений, в рядах, в обозе. Стрелял в невидимых. И не боялся, что попадет. Не жалел. Оттого, что почуял себя в шеренге, олютел против *тех*. Кто там? Все равно. Палят в нас? Пали! И почуял — и в тихом есть жестокость. От нее, может, больно будет потом. Сейчас — пали!

На третий день, будто устав, разрядили трескотню пулеметы. Сгущались сумерки

осеииеи иочи. Будто пологом темиым задергивались дома. Но иа улицах было шумио и людио.

Потиый, хилым комочком иа коие, ехал по главиой Александр Македоиский. А впереди два десятка перебежчиков от белых. Как сбившееся, отупевшее стадо. Ои одии коииый, сзади пастухом. Разгладился сморщеиный кулачок лица. Глаза будто шире стали. Необычно звонко разливался по улице его теиорок:

— Вот пятая партия! И чего бы сразу? Говорим, говорим вам — сдавайтесь! Ну, русским языком говорим — сдавайтесь! А вы третий деиь палите! Говорим, а оии палят, оии палят! Ну, чего палите? Чего палите? Э-эх, товарищи! И товарищами-то вас стыдио иазывать!

Задиий, бородатый, коротеиький, отозвался мириым баском:

— И то гуртом гоиишь. А ты кака вояка? А гоиишь.

— А третий деиь чего зря палить? Сказано: власть советская! А вы в ее палите! Тоже — товарищи!

«Гуртов» прогиали десятки. Покачиулся строй там, за городом, у врагов. На бревнах у штаба без охраиы сидели «пленные». Терпеливо ждали возможиости зарегистрироваться. Просили все более редевшие кучки любопытиых жеищии:

— Слышь-ка, бабочки! Хлебца приволоките! Поди долго еще сидеть.

Уходили и сами за хлебом. Снова возвращались.

Коичилась пальба. Победио взметиулись

иа домах красные флаги. Усталые красиоармейцы парились в городских баиях. Опять прошумели телеги и таратайки копейских.

Александр Македоиский иа хуторе раз пять за деиь приинимался семье рассказывать:

— На коие это я... Я им высказал хараашо!

До смерти воспоминаиье об этом случае грело, когда в мозгу воскресало.

VI

В городе одиу улицу, когда по-иовому переименовывали, иазвали: улица Елизаветы Македоиской.

На деле попалась. Замучили белые в тюрьме.

Младший Македонский, Митеиька, перед товарищами гордился:

— Нашей Лизе целую улицу отдали.

А у отца еще одиу глубокую бороздку иа лбу горе провело.

Мутиее, старше от скорби глаза. Зоркость сдавать стала. Чаще задумывался. Упорно, надолго. Будто точный и строгий подсчет про себя производил. Тогда не слышал, что говорили кругом. Опомнясь, к левому уху руку прикладывал. Напряжеиио в лица вглядывался. Точио слух проверял и напрягал. На хуторе Шидловского Евдокимычем стали иазывать. В разговорах о нем сочувствие высказывали:

— Глохиет, сдает! И так иеслышный был, а·теперь ровио и иет его.

На своем деле ие сдавал, ио в разговоре действительно его не было. От громкого говора смущался как-то. В городе чаще о нем вспомииали: отец Лизы Македонской. Но рад был, когда в город ие звали. На хуторе все копошился. Приказ в газете вышел: отобрать у частных лиц киниги. Огромную, небывалую в городе общественииую библиотеку создать. Почти в каждом иомере газеты писали: «Книга для всех». Лизу острее вспомиил. Как оиа иад киигами... Э-эх, не дотяиула, дочка!

На хуторе, в барском доме, шесть шкафов с киигами после отъезда владельцев брошеиы были. Вместе с другими вещами в дии суматохи растаскали много книг. Македоиский по квартирам долго ходил, собирал тихо, ио иастойчиво.

В парадиом доме бывшее барское жилье — одну комиату у заводских выпросил. И часами там сидел: стряхивал пыль с книг, счищал грязь с переплетов, страиицы подклеивал, по размеру одииаковые подбирал, изваиие записывал. Рабочие посмеивались:

— Все за киигами? Гляди ие спять от иих иа старости.

В тихую комиату заглядывать любили. Отдохиуть от табачиого дыма, клубами висевшего в остальиых. Про защиту города вспомиить. Перекличку дням тревожиым и радостиым сделать. Македонский больше слушал и улыбался.

Но времеиами разговоры бодрили. Оживлялся и ои. Как плеииых в город приводил, рассказывал, и как в кафе колчаковскому

лакею морду набил. Рабочие терпеливо выслушивали слышанные уже рассказы. Беззлобно над ним острили:

— Ты поди на табуретку вставал, чтоб до морды-то ему достать? Говоришь, здоровый был?

— А поджилки не тряслись, как вел? Поди заденъ локотком какой, ты и с коня! В телесах-то у тебя слабо!

Македонский не обижался. Знал, что верят ему. Во все контрольные комиссии всегда выбирали.

На большом районном собрании рабочих Долохии, угрюмый и злой старик, дубильщик с соседнего кожевенного завода, в речи один раз сказал:

— Только и есть, кому поверю, вон плюгашу энтому из шидловских — Македонскому! Старательный и за совестью надзират! Хоть и в служащие выпялился из рабочих, а прямо скажу: одним словом, человек — пролетарин всех стран! Его выбирайте!

Потом долго свои его дразнили: «Пролетарии всех стран». Но любили. Как умеют любить люди, не разрядившие душевную полноту отношения нежными ненужными словами. Разговаривали грубо, но охраняли действенно. Про Лизу на заводе редко разговаривали. Что ж, за какое дело взялась девка, сделала. Так и надо. А старик еще трепещется. Этот нужен.

— Скажи-ка Евдокимычу, коли надо что из городу, приволоку.

— Эй, старик! Паек я тебе принес. Рассиживайся уж над книгами, ваше благо-

родье! Ну, ну, ничего! Спина у тебя хлипкая, а моя дюжит.

Только учитель тихостью его времени возмущался:

— Живете вы, Александр Евдокимович, в бурное время, в революционное, а все тихонький, приглаженный, кроткий. Ну, допустим, вот случилось так: пять человек надо убить, а не то все вверх тормашками! Ну как вы? Нахохлитесь, как воробей, и пусть вверх тормашками?

Заморгал веками Македонский, но глуше и тверже, чем всегда, отозвался:

— Болтать про это не следует. Бахвалиться — это зря. И для меня дело найдется...

— Ну, а все-таки? Ну, а все-таки?

— А вот надо будет, из-за своих и вас прикокошу. И маяться не буду. В такое действие вышли, назад не подворачивайся. А языком то да се — не надо. Прекратите, пожалуйста.

Даже взгляд тверже стал. С учителем после этого разговоров избегал. Нехорошо человеку душу выворачивать — что да как. За что взялся, стой до последнего.

Когда на смену революционному комитету исполнительный уездный выбирали, избрали Александра Македонского в исполком. Три ночи сон от глаз бежал. Кряхтел, кашлял, сомневался:

— Куда? Образование, можно прямо сказать, копеечное. Сноровка тихая... Э-эх!

А в газете отпечатано: *«Заведывающий горуездным отделом народного образования*

тов. Александр Евдокимович Македонский с быв. заводов Шидловского».

Даже отчества не перепутали. Отказывался, горячо убеждали:

— Нельзя! Пролетарское око нужно. Вы — партийный.

Один товарищ целую речь сказал про рабочий контроль, про партию. Даже забыл, что о Македонском начал. А у Македонского лицо пятнами и на душе смутно. Никогда не подводил. В отчете всех жизненных дел смело мог написать: выполнил. А теперь? Не по плечу. Образованных людей боялся.

За что взялся, стой до последнего. Надо, так что разговаривать? Покряхтел — и будет. В город, в комнатку на окраине, жить перебрался.

Пламенем жарких дней слизнуло жир с города. В каждой квартире, в каждом углу, своими заботами, лишениями, отказами и ранами отпечатано жестокое слово: революция.

Потощали лавки мясников. Легче воза с пшеницей и хлебом. Сосчитаны в печке поленья дров. Усталой, больной, вялой поступью плелись по железным дорогам несогретые поезда. Падали на шоссе, проселках и улицах кони, не вытянув и полегчавшей клади. Ежедневно насыщалась, толстела только одна ненаписанная, но ежедневно людьми читаемая книга — записи близких, взятых жизнью в расход. В учреждениях рядом с дорогими, роскошно обитыми креслами стыдливо кривились трехногие табуреты. На прекрасные письменные столы подавали желудевое кофе в глиняных круж-

ках с отбитыми ручками, с облетевшей облицовкой.

С каждым днем пустей дома, сундуки и чуланы. Серей и смешней на людях одежда. И с каждым днем громче, бурней голоса. Шире планы, толще сметы, дерзостней приказы. И даже тихому Александру Македонскому не страшно слушать на заседаниях коллегии предложения:

— Организовать в уезде сеть передвижных библиотек-читален в количестве шестисот. Приспособить под передвижки автомобили. Назначать заведывающими передвижными библиотеками лиц, по возможности, с высшим образованием.

Читать в сметах школьного подотдела:

— На уезд двести пятьдесят школ. В каждую школу необходимо приобрести по микроскопу. В волостные желательно — телескопы.

Взмывом дерзостных желаний захватило и его, робкого. Заведывающая центральной публичной библиотекой в городе просила:

— Хоть полсажени! Дров! В шубах застываем! Потом, знаете, три воза книг так и не разобраны. Не успеваю. Помощники малограмотные. Нельзя ли кого-нибудь?

А он, сняв тихой улыбкой, рупором приставив руку к левому уху, говорил:

— Вчера на заседании коллегии постановили: в детском отделении библиотеки чтоб особые такие шкафы. Знаете? И чтоб уютно было! Завтра комнатные цветы из дома купца Зайцева привезут. Руководило чтоб знающее лицо!

— Да дров-то...

— Дров... дров?.. Сейчас я попрошу заведывающего снабжением. Посидите минутку! Я сейчас...

И возвращался сконфуженный.

— Двенадцать полен сейчас на салазках привезут. Знаете, я себе на квартиру в воскресенье в лесу на хуторе нарублю. Какнибудь, знаете...

Спасал. Особенно когда приходили с требованием жалованья. Смотрели колющими, ненавидящими глазами. Говорили умело, гладко. Знали, как уязвить. Сжимался в комочек. Беспомощно разводил руками. Понимал: правы. Надо. Но как? А грозных слов, чтоб доказать, что правы и они, здесь сидящие, не знал.

В наробразе его не любили. Машинистка Сонечка фыркала:

— Из-за угла мешком хваченный!

Секретарь коллегии в бороду посмеивался.

— Подпись громкая, а сам — чихни погромче, рассыплется!

Делопроизводительница удачно изображала, как он бумаги читает: пальцем по строчкам водит, губами шевелит, глазами моргает.

— Нет, слушайте, слушайте! Он один раз резолюцию записывал. Ох, умора! Пишет: «каикструкция».

— Да, «каикструкция» мыслительного аппарата у него слаба.

Заведывающая книжным коллектором рассказывала:

— Откопали! Действительно! Пришел

первый раз в коллектор: пальтишко — жена, видно, из старья сшила. Шея женским пуховым платком замотана. Покашлял, помялся: «Нельзя ли ноты во временное пользование? Манечка у меня на пианино обучается». А я разве знала, што это заведывающий? И думать не могла! Говорю: «Товарищ, всем Манечкам не можем ноты давать. Я за достояние государственное ответственна!» Ушел. Потом с записочкой от заведывающего внешкольным подотделом пришел. Я прочитала, кого выгнала, чуть смехом не подавилась! Ну, бобер!

— Зато партийный.

— Так ведь отде-е-лом народного образования! Поймите!

— Ну, он сидит только. Ведь коллегия!

— А в коллегии большинство беспартийных! Они и делают. А то: везде партийные! Да ты партию-то подбери сначала!

Один только раз на защиту его делегатка женотдела, в дошкольный подотдел присланная, вступилась:

— А вы образованные, так показали бы! Все с издевкой! Плевать я на вас хочу! Не желаю!

И убежала перепрашиваться в здравотдел.

Члены коллегии с Александром Македонским разговаривали вразумительно-ласково. Как с ребенком.

— Товарищ Македонский, вот здесь подпись нужна. Это по частному вопросу. Выслушивать вам будет утомительно, а вот мы здесь все уж подписались. Так что ручаемся за необходимость.

— Товарищ Македонский, завтра вам следует быть на открытии клуба на Богаческой мельнице. Вы там, ну, так, краткое приветствие. А речь сказать мы с вами кого-нибудь пошлем.

— Да не бе-еспокойтесь! Авансовый отчет бухгалтерия проверила! Бухгалтерия у нас в струнке.

Отношение служащих к себе знал. Но проходил в кабинет, не ускоряя неспешной походки. И под смеющимся взглядом бумажку не бросал. Всегда медлительно, с натугой два раза перечитывал. Только тогда подписывал. В большом строгом здании, среди толстых папок дел, шкафов со специальными книгами, среди обученных, всегда в своем знании уверенных, томился, как заложник от тех, что на хуторе остались. Но изживал свою трагедию один. Никому не жаловался. Что мог и умел, делал.

Являлся в наробраз раньше всех. Опускал свой билетик в контрольный ящик приходов и опозданий. Никто из ответственных работников этого не делал. Тихонько садился за свой стол в кабинете. Приходила привычной ставшая, но все не уходившая мука: сейчас принесут бумаги. Придется томить расспросами секретаря, чтоб понять.

Оживал только, когда пустел наробраз. Уходили служащие. Тогда, раза три пугливо оглянувшись, звонил по телефону на хутор:

— Петенька, это ты? Ну, как у вас? Паек? Я не знаю. Мама велела? Завтра получу.

Но получал после всех. И всегда после

того, как приезжала ругаться жена. Сильно постарела, но грубей и смелей стала.

— Какой ты начальник? Дети в ремках, хлеб на исходе. Дочку уложили... Хучь бы провиант давали! И сами-то с голоду подохнем!

Один раз рассердился. Сказал было:

— Я ее не продавал, дочку-то!

Да посмотрел в злые глаза жены и увидал: от горя ржа сердце сосет. Смирился:

— Завтра получу.

Получил. Даже в губпродком съездил, ситцу выпросил. Ночью долго ворочался и вздыхал.

Просил своих освободить. Строгий партийный товарищ обрезал:

— Вы коммунист? Стыдитесь малодушничать! Каждый из нас теперь должен твердо стоять на посту.

А случившаяся в укоме учительница с хутора Шидловского, Леонтьева, поучительно сказала:

— Твердость пора приобретать, товарищ Македонский. Нам, коммунистам, нельзя растяпами быть.

В партию Леонтьева месяц назад, в партийную неделю, записалась и правами партийными очень гордилась.

Даже двум своим подругам, таким же, как она, женам белых офицеров, исчезнувших с их частями, сказала:

— Мне теперь с вами неудобно поддерживать знакомство. Мое самосознание изменилось.

Македонский ничего ей не ответил, но

тихие глаза суровей стали. А дома смирил себя.

«И такие иужиы. Образоваиияая, поможет».

Помогали мало. Приливом — искреиние и расчетливые. Но для взятой тяготы пригодиых все не хватает. Вот Македоиского смеиить иекому. А время суровое. Доверие только — с партийиыми билетами. А, с нами связать себя ие решаешься? Высчитываешь, отмериваешь? Стороиись! Плохой, да свой. Так и томился в иарobразе Алексаидр Македоиский.

Оживал, расцветал улыбкою только по субботам. До поиедельиика — иа хутор. К своим. Там, иадев жеииину теплую кофту, рубил дрова, воду иосил, в библиотеке, им собраииой, возился, рассказы детей своих выслушивал. И эти шустрые вышли. Петеиька иа собраииях союза молодежи речи говорит. Теперь какого-то учителя иа хуторе отыскал. Языку междуиародиому у иего обучается. С жаром отцу объясиял:

— Знаешь, иа этом языке со всеми заграиицами можно переписываться! Кружок у иас. Малеиько подучимся, заграиичиым пролетариатам письма пошлем!

Но деиь за днем привыкал и к иаробразу. Хутор помогал. Дети по воскресеиьям взбадривали. После поездок веселее голос. Научился и помогать. Неспешио и иекрикливо коллегии докладывал:

— Средства иа курсы вот так можио отыскать...

И выходило правильио. Только всегда как-то так, что забывали, кем иужный выход

найден. За находчивость не Македонского, а друг друга члены коллегии хвалили. Но этого он и сам не замечал.

Примелькался и наробразовским. Меньше смеялись вслед. Храбрее стал. На губернском съезде заведывающих поразил всех. В первый раз на большом собрании предложение внес. О культурно-просветительных кружках говорили. Македонский слова попросил. Тише в зале стало. Обычно этот серенький сидел руку к уху рупором и молчал. Что скажет?

— Товарищи, я насчет средствов! То есть, так сказать, ассигнований! Французского языка или там немецкого, опять же английского... Это не надо! А как мы хотим Интернационал, то обязательно, в насущности надобно язык эксперанто. Все народы могут этим языком разговаривать. Обязательно я бы предложил язык эксперанто! И средства на эти кружки ассигновать.

Разом и бурно прорвался смех. Насмешливый басок заведывающего губернским отделом совсем уничтожил Македонского:

— Я вас, товарищ, без кружка обучу эксперанто: лошадимус упадумус на мостимус.

Посмеялись и к очередным делам перешли. Насмешек в огорчении даже не заметил. В субботу сыну сконфуженно объяснял:

— Провалили нас с тобой, Петенька.

VII

Все тяжелей шаг сурового тысяча девятьсот двадцатого года. Ощутительней дыханье недостач. А радостный, всегда справедливый, жизнь взбадривающий дух дерзаний только ширится. Планы, проекты, сметы.

На большом собрании ответственных работников обсуждали проект постройки в городе грандиозного рабочего дворца. Инженеры чертежи представляли. Понравился всем самый грандиозный. Здание в два раза больше университета Шанявского в Москве. Со многими техническими усовершенствованиями. С механическим выдвиганием и вдвиганием стульев в стенные ниши, с вращающейся сценой, с невиданной в России вентиляцией.

Македонский, как сказку, слушал. И, под наркозом ее, первый громко молвил, глядя на чертеж дворца:

— Еще бы повыше...

Разом все подтвердили:

— Выше, выше надо!

На этом собрании подошел к Македонскому новый человек. Высокий, кудлатый, с ясным взглядом голубых ребячливых глаз.

— Дочку вашу я знал. Здесь встречались.

Как подкинуло Македонского к нему. Расспрашивал, слушал сказанные Лизой слова. Будто с ней повидался.

С собрания вместе вышли. Оказалось, новый знакомый в губернском наробразе инструктор. Дорогой все проектом дворца восхищался.

Но Македоиский уже сгас. Грустно сказал:

— Средствов не хватнт.

Но потом, оживляясь, взбодрился:

— Все-таки мы удумали.

— Правильно! Вот это меня и влечет! Несем тяжелый крест искупления! Целой страиой иесем за старое, подлое время! А мнру бросаем великие идеи! Каемся, платимся!

Македонский смутился, не понял.

— В чем каяться? Какое искупление?

Но слушал восторженную речь охотио. Хоть и половины не поннмал. По-своему весь разговор резюмировал:

— Поаккуратией работать надо.

Проект рабочего дворца остался недоконченииым. Туши в городе ие иашлось. Но с того вечера подружился Македоиский с ниструктором Яковлевым. Недоумеиия свон ему рассказывал. Даже на хутор к себе пригласил. Дорогой посетовал:

— Вндать, вы человек правильный. Только в партнйности у вас иедохватка!

— Вам бы все припечатывать!

— Припечатка тоже для отлички требуется. Ну, да ладио уж!

Помог ему одии раз Яковлев. О необходимости самообразоваиия горячо в партийных комитетах заговорили. Объявнлн иа одном собраннн Македоискому:

— Товарищ Македоискнй, подберите книжки, почитайте. Назначеио вам доклад о первобытиом коммуинзме сделать.

Эх ты, вот тут закавыка! Кинжкн-то кинжки, а как поймешь? Пошел с докукой

к Яковлеву. Тот своими словами кое-что на бумажечке записал. В книжечке нужные места карандашом отчеркнул. Прочитать можно. Это умел. Грамоту хорошо одолел.

Но в ячейке все-таки оробел и, заикаясь, предупредил:

— Товарищ Яковлев, беспартийный то есть один, мне тут написал. Я сам маленько недохватил. Вот по его записочке.

Долго смеялись, но прочитать заставили. Оказалось правильно. Петеньке рассказывал:

— Прямо как лекцию отмахал! Теперь все усвоил! Вот я тебе сейчас все разъясню.

Яковлев в другой город уехал. Но Македонский его не забывал:

— Вот спасибо человеку! Первобытный коммунизм со мной проштундировал.

Грозней, стремительней натиск дней. Тех, которых никто не сможет из памяти вытравить. Тех, о которых детям, еще не родившимся, учебники истории расскажут. Тех, что отпечатались надолго на всех российских городах, селах, деревнях.

Вокруг города и в городе было много борьбы, сражений, смертей.

В одну субботу уехал Александр Македонский на хутор и там застрял. Вспомнили о нем, только когда понадобился. В коллегии разногласие вышло. Один голос должен был какое-либо мнение перевесить. Позвонили на хутор. Ответили по телефону:

— Вечером скончался от сыпного тифа.

Перед тем как заболеть, иеприятность у иего была.

Из дома господина Шндловского попугая в клетке в библиотеку отдали. Ходнть за иим библиотекарша ие хотела. Македоискому птнцу принесла.

— Вот вы восхищались, возьмите к себе! Все равно сдохиет.

Очень птнце учеиой Александр Македонский обрадовался.

— Попочка, а ну скажи: дребедеиь!

А товарнщ Леонтьева, учительница, с библиотекаршей из-за воеикома поссорилась. Донос на библиотекаршу написала, а заодио и иа Македоиского.

Общественного попугая украл.

Допрашивать приходили. Весь вечер, после ухода разбиравших дело, жаловался:

— Очень принизительно! Эх ты, замарали как!..

На другой день и захворал. И уже не встал. Жалели иа хуторе, а посмеивались:

— С перепугу поди и помер-то.

В городе, в ячейке, один сострнл:

— Так и скончался иаш Алексаидр Македоиский в первобытном коммуиизме.

На кладбище провожали его заводские огромиой строгой толпой. Флагн склоиилн перед тихим, теперь затихшим совсем. Нескладную отрывистую речь пожилой рыжеватый рабочий говорил. Короткую:

— Так что, товарищи, правильный был человек! Работящий. Можно прямо сказать: себя окупил, не задарма на земле прошлепал!

I

На сорок девятом году жизни Савелия Магару растревожил бог. Сразу, хваткой за сердце нежданной. В нехороший полночный час проснулась баба Савельева, глянула кругом по избе и охнула испуганно:

— Чтой-то ты, Савелий? В нутре схватило, што ль? А? Лик у тебя больно темен. Я и то проснулась, чисто в бок кто толкнул. Гляжу: и свет в избе не в час, и тебя на кровати нет. Чего ты? Занедужил, а? Вон тамо-ка, на божнице, вода свяченая...

Савелий глянул сурово из-под нахмуренных бровей потемневшими серыми глазами, широкой рыжей бородой повел, передохнул так, что большие, крепко сбитые плечи всколыхнулись. Прервал глухо:

— Не мешай! Виденье мне сейчас было. Неизвестного имя и какого перед богом чину — мученичьего ли, али преподобнического — не знаю, но угодник мне явился... Стоит вот тут, будто у стола, и кличет сердито: «Савелий Астафьев Магара!» Хил и росточку малого, немудрящий такой, а голос — ничего. Голосом на земского схож. Я со сну-то спервоначалу и не разобрал, что от бога это. Думал, по земному делу расход. Тишком себе в бороду изругался крепко: что ты, думаю, пралик тебя за-

шиби, как это на меня земского нанесло? А внутре-то уж чую, что не земский. Чисто лед по кишкам, захолодал с нутра и по коже прямо пупырями дрожь.

Не столько самые слова, сколько обилье этих слов испугало старуху. Неохотлив он на разговоры, тяжелый у Магары язык. А тут вон как высказывает.

— Ах-ах, мамыньки! Свят, свят, свят! Владыко, царь небесный, господи!.. Слышька, а може, то не угодник, а Стрепетихи-мордовки навод. Человек ты перед богом не заслужоный, не молитвенник. С чего к тебе угодник затрудится, пойдет? Помолись да прочитай молитву хорошу. Вот: «Да воскреснет бог, и расточатся...»

Савелий цыкнул сердито:

— Не верещи поганым бабьим языком! Тише, ты! Молодых в передней горнице разбудишь. А это дело тайное пока. Тебе сказал потому, что с тобой все грехи мои вместе нажиты. Угодник, тебе говорю, богово имя поминал и приказал мне молиться с натугой, старательно. Бог в меня перстом ткнул. С того и холод в нутре. Три раза виденье было.

Старуха заахала, кофтенку накинула, платком голову прикрыла и закрестилась часто, испуганно:

— Божа матушка, троеручица! Господи, батюшка! Свят, свят!..

— Погоди, не мешай! Не лезь бабьей плотью вперед, не погань мою молитву. Сичас сам молиться зачну.

Встал, тяжело согнул большое тело,

упал на колеин и бил поклоиы до солица восхода.

С той ночи и повредился сердцем мужик. Оио и раньше у Магары тяжелое было. Глаз редко веселый был н смеяться не умел. Гмыкал глухо в короткий веселостн миг. А года в три раз накатывало: вииом по долгому сроку зашибался. Во хмелю буйствовал. Крушил, ломал, бабу и детей свонх жестоким боем бил. Старшей дочери в ухе слух перешнб. Так и осталась иа одио ухо глухая да пугливая. Часом заговаривается вроде дурочки. Но отводил срок, и остальное время правильио жил. Люди уважали за крепость хозяйствеиную, за добычливость. А теперь совсем по-другому все поворотил. Большое хозяйство на зятя, за младшей дочерью в дом взятого, бросил. Глядя поверх головы зятевой, сказал ему веско и строго:

— Ты меия теперь по хозяйству ие замай. Как хочешь верти. Хочь еще копи, иаживай, хочь по ветру развей, коль кишка ие вытяиет. А мие теперь не то указано. Молитву строгую и пост должен справлять. В грех меия ие вводи с расспросами.

Дочерям, в другие села замуж отданным, дали весть. Оии спешно с мужьямн приехали. Баб в избу набнлось — не продохиешь. Судить, рядить, ахать прииялись. Савелий грозио ногой топиул, закричал сердитым зыком и ушел из избы. За селом землянку себе сложил. Зимой в ней молился, а летом — иа камне под горой. Пропнтанье скудиое, по его приказу, семья ему носнла.

В Ннжней Акгыровке сперва днвилнсь,

а потом почитать Магару стали. Главное дело — и перед богом хорошо: замолит за своих-то однодеревенцев, и перед людьми лестно. Первый угодник из мордовско-русской части деревни Акгыровской. В округе люди богом зашибались и до Магары. Но больше сектанты да кержаки, до веры лютые. На горе, в той же Акгыровке. А Нижняя Акгыровка насчет крестин, венчанья, похорон во грехах исповеди исполняла, что требовалось, но с прохладцей. Без ретивости. Курайгинского прихода были, за пятнадцать верст село. И рекой без моста отделено. Свою церковь не поставили, а в кержацкую моленную на гору не пойдешь. Когда река мешала, когда по крестьянскому делу недосуг. В церковь не попадали подолгу. Курайгинский поп с амвона в строгом проповедном слове баб акгыровских на весь приход ославил: молитву очистительную после родов не на сороковой день, как по уставу положено, а ко вторым родинам приезжают брать.

Так и ходила Нижняя Акгыровка по богову делу в последнем счету. А тут вдруг сразу: старатель перед богом свой. И в соседние волости далеко о Магаре слух прошел. С каждым годом в молитвенном деле он все больше укреплялся. На третьем году молитвы, когда на камне от коленок Савельевых даже отметины углублением обозначились, стал ему бог в виденьях во всяких являться. Предсказывать Магара начал. Один раз в село в праздник пришел, на улице старикам объявил:

— Небо трясется! Вам не видать, а мне

открыто. Народу больно много на земле развелось: дышат и трясут. Виденье мне было: колготит народ, на подводах на многих куды-то едет, пехом друг за дружкой тянет, с бабами, с ребятами, с барахлишком со своим. А царь белый, русский, нашинский, сидит на престоле, ногами об пол сердито стучит. Не иначе, война будет, чтоб отбавить народ.

И вот через два на третье лето предсказанье Магары вспомнили акгыровцы.

Отыграла заря багровым огнем, указав тем цветом ветер на завтрашний день. Но темень ночная в тихости расползлась над землей. Плыла прохлада от реки. Тянула с собой на деревню дымок костров приречных жителей, на воле сготовивших летний свой ужин. Пахло во дворах парным молоком, свежим сеном и дегтем от колес. Народ с вечерней разминкой готовился лечь на покой. Замирали в постепенных переходах от шумливого дня к затиханью в ночи звуки во дворах и избах. Вдруг, вздымая по улице тяжелую на подъем вечернюю пыль и яростный собачий лай, проскакал на маленькой запаренной лошаденке длинноногий мужик. На скаку он махал палкой с красным лоскутком. Старостиха со двора увидала. За мужем в избу кинулась:

— Айда скорей! С красным лоскутом верховой из волости. Стало, за рекрутами. Господи, батюшка, что это нежданно-негаданно...

Всю ночь беспокоился народ и в низине, и на горе у кержаков. К старостиной избе, в Нижней Акгыровке, фонарей нанесли. Ко-

лыханье слабых огней в густой июльской темноте было беспомощным н тревожным. Мигали в окнах лампы и светцы, непрнвычные в летние ночи, в избах светил жар неурочно затопленных бабами печей. По деревне шнрнлся, нарастая, разноголосый шум. Визгливый бабий крик, терпкое причитанье старух, заливистый плач перепуганных суматохой детей, глухие возгласы стариков и крепкая брань молодых мужиков.

Кержаки на горе к конторе, где жил чернявый инженер с постройки железной дороги, сбились. У него по проволоке разговор через трубку на стене был. Разъяснял:

— Германия получит достойное возмездие! Очень скоро получит!

А в нижней части расспросить было некого. Школа с заколоченными ставнями стояла, и учитель на лето уехал. Староста, сдабривая крепким перцем ругательных слов неохотливую медлительную возню свою, шарил в сундуке. Служебную бляху искал.

Старостиха тонким жалобным голосом, со всхлипом, нарочного кривоглазого расспрашивала:

— А с кем война-то? Далеко ль угонют?

Кривоглазый, почесывая запотевшую спину, отвечал неопределенно:

— Ровно с Ерманией, а хорошень не разобрал. Некогда было! Старшина сам меня с крыльца столкнул, чтоб без роздыху гнал. Виднишь, дело-то какое повернулось: чтоб завтра к полдням в город призывники нашинские. А до городу двести верст. Не то к полдням, а к ночи не поспеть. Хоть приказ и на подставных подво-

дах везти. Ну, наши мужицки каки подводы! Да еще в летнюю пору, в рабочую!

— Где поспеть! В волость-то только-только могут к завтрему, к полдню.

— Ну, так и норовят. Но чтоб в волость обязательно!

— И сроду не видано, не слыхано — без проводин перед царской службой, без разгулки.

И завыла горьким голосом:

— Сыночек ты мой, Митенька! Рожёный, хожёный, да куды тебя забирают в ночну пору чижолую? Да на кого ж ты спокинешь супругу молоду-у свою и наследничка своего — дитя малое? Сестер, братьев, отца-батюшку и мене, родительницу твою горьку-ую...

Страстное короткое рыданье прервало старухин, тягучий, по обычаю, плач. Настасья билась головой в грудь Митрия, вцепившись пальцами в его опущенные плечи. Митрий смешно поводил шеей, будто теснил воротник. Старался оторвать бабьи руки и нарочито сердитым голосом унимал:

— Отцепись! Завы-ыли! Чего раньше смерти отпеваете? Ну-к, собирай на стол. Печь-то выстыват. Айдате пеките, чего там затеяли!

Староста с натугой поднялся от сундука, поглядел на сына замутневшими глазами и буркнул:

— Буде, бабы! Айда, давай водочки. Там сколь-то было. На царску службу с песнями, с гульбой провожать, а у нас один вой.

Но ни песен, ни гульбы в эти проводины не было. Уходили без удалости, без храб-

рящего хмеля царской водочки. Кабака казенного в селе нет, а у шинкарок на всю деревню мал запас оказался. Не дал буйного в напасти веселья. Из печек, не в час затопленных, тож не сладки подорожники вышли. Бабы в горькой слезе стряпали, плохо доглядывали.

Только солнце встало, подводы со дворов двинулись. Народ на улицу высыпал. Появился в деревне Магара. В длинной домотканой рубахе до колен, в старых грязных портах. Встряхивал сердито блеклой рыжиной волос с мутной сединкой, шел с подводами сбоку. Далеко по дороге надрывный бабий вой стоял. Старик Федот батожком по дороге стучал, шел рядом с Магарой. Говорил ближним на подводах:

— Поди ненадолго война! Ничего не слыхать было. Про стары войны загодя слух приходил. Солдатов с эдакой спешкой не сбирали. Это так, поди для нутреннего усмирения под царя. Не войте, бабы, как я смекаю, скоро мужики воротятся.

А Магара зычным голосом, далеко слышно по подводам, объявил:

— Надолго война! Народу хрестьянского много в русском царстве развелось, земли не хватат! Пока весь лишок царь не переведет, война не кончится.

II

И опять по слову по Магарину вышло. Вторая пашня подходит, а здоровые мужики царевым делом маются. В своих хозяйст-

вах — бабы, старики, из молодых только телом иеправильиые да чужаки иаиятые. Которые из богатых откупались было, ио позабирали и их. Хоть ие иа самую войиу, а все от дому.

Повитухе Мокеихе акгыровские бабы позавидовали. Вернулся к ией сыи по весие. Невысок, узкоплеч, щеки в обтяжку, перхает часто, как давится. А все свой мужик, для хозяйства как-никак старается. И ие то, что без руки, без иогн. Хиловат, а без видимого повреждеиия. Низеиькая, пухлая бабка Фекла, соседка Мокеихииа, часто, вытирая рукой ласковые слюиявые губы, говорила ей слащаво через плетень:

— И жить тебе, бабка, только бога благодарить. Сыи пришел целехоиек, и слуху иет, что заберут. А уж всех позабиралн, всех! Старики остались да совсем трухлявые. Твой-то еще хорошо пыжится. И кралю вои каку без веица заполучил. Ничего, значит, еще сок в мужике живет! А то из иаших деревеиских молодого-то и ие увидишь. Все седые да иедоросточки. Когда рази эти казеииые жеребцы, аижиием, дороги постройщики, пройдут аль пленные, австрийцы эти хилявые. А иашииских соколиков иет. Не-ет! В других деревнях хучь подраики крепкие, а у нас тоже иаперечет. Васька-то, сказывают, иа дорогу иаиялся? Ай так, иа раз взялся за дело?

Мокеиха, сиимая стареиькие порты с плетия, неохотио ответила:

— На раз. С гумагой какой-то в участок пошел.

В нзбу поторопилась уйти. Зиала и боя-

лась, что на Вирку-молодуху соседка разговор переведет. А уж неохота покор-то людской слушать.

Забурлила в степных логах вода. Не берет конь дорогу. Но по холмам есть для пешеходов узкие ненадежные тропочки. Польстился Васька на хорошую плату. Письмо от инженера с постройки в участок за восемь верст понес. Десятку инженер посулил. Деньги у господ не лежат тишком в кармане, легко шевелятся. Не то что мужички несворотные. Очень просто, к десятке еще и прибавит чернявый этот барин. Как начали дорогу строить, вся округа от них пользуется. Но что-то больно долго Васьки домой нет. Инженеру, видно, и впрямь дело срочное. Сам на Васькин двор пришел. Мокеиха в окно увидела, из избы навстречу выбежала. Поклонилась искательно в пояс и певучим голосом спросила:

— Поди из-за моего сына потревожились? Ах ты, господи батюшка! Забота вам, видать... По нашей по улице в этаку грязищу ходить и мужику-то неохота. Вот грехто: нету еще его, нет! Уж не гневайтесь!

Инженер хмыкнул и форменную фуражку досадливо на голове подвигал. Старуха еще ласковей успокаивать принялась:

— Он скоро... Вот-вот вывернется! Он у меня шустрый, зря валандаться не станет. Мигом обернет. Ноженьки-то молодые, резвые.

Инженер прикусил черный ус, помедлил и сердито сказал:

— Не скажу, чтоб очень резвые. Или утром долго проспал? Если бы вышел на

рассвете, как обещал, так уж вернулся бы.

— И ни-ин, ии-иишеньки, никак не проспал. Не сумлевайтесь, право слово, не проспал. Ране петухов вышел. Как можно проспать, коли хорошему человеку посулился?

И уже искренней, голосом посуше, погрубей добавила:

— Сам поди обернуться торопится: издрог, измок и не емши.

Василий не только ответ от начальника участка, еще табаку должен принести. Инженеру очень хотелось курить, а ни табаку, ни папирос нет. В этой дыре и купить нельзя. Поэтому он злее, чем хотел, старуху оборвал:

— Как придет, немедленно пусть ко мне.

И осекся. Женщина во двор вошла. Измельчал народ. Красивость женская стала мелка и лукава. От одежды, от стараний зависит. А эта и в узких для нее, линялых обносках городских сановита. Безразличный на них со старухой взгляд кинула. У инженера этот взгляд больших, но не круглых, с жаркой золотинкой глаз странно в сердце отдался. Точно давно его глаза встретить такой вот взгляд желали. Сразу и надолго, с удивительной щемящей радостью запомнил легкую смугловатость, румянец редкой неяркой краски, губы такие же неяркие, будто нецелованные, строгость четких бровей и тусклоеватую рыжинку коричневых гладких волос. Ноги со двора не пошли. Замялся. Нерешительно, почти смущенно, сказал:

— Я, пожалуй, у вас подожду. Вероятно, он скоро придет.

Старуха неохотно отозвалась:

— А как желаете! Дело-то уж к ночи, должон прийти.

Из избы опять та женщина вышла. Полное ведро помоев вынесла. Сказала недружелюбно:

— Посторонись, барин, оболью.

Старуха спохватилась:

— Ну, дак в избу не то пожалуйте. Не красно у нас, да чего же на дворе-то стоять? Айдате заходите.

Чувствовал, что лучше бы уйти, но безвольно за старухой в жилище вошел. Негромко и с запинкой спросил:

— А это что же... дочь ваша, что ль?

Старуха поджала губы. Сказала сухо:

— Сынова баба...

И, не сдержав злобной горечи, добавила:

— Невенчанная. Так держим. Антипа-кержака слыхали? Его племянница. Из такого-то дому да на нашу хилость позарилась. К Ваське сбежала. В городу без закону три года валандались. Нынче только недели две, как сюда обернулись. Срамоту-то свою к матери в дом принесли. Теперь, может, и обзаконятся, а сейчас от людей нехорошо. Отроду не слыхивала, чтобы в семье в нашей такой срам разводился. Побаски тут всякие про нее, про Вирку-то. Я к тому, что поди и вы слыхали? Добрая-то слава лежит, а дурная-то не то бежит, лётом летит.

И спохватилась:

— Айдате проходите, вот тут садитесь.

Фартуком смахнула что-то со скамейки перед столом в передием углу. Шершавой рукой по деревянному чистому столу провела. Уиылыми глазами всю тесную низенькую избеику обвела. Прибрана, а все для господиина иеподходяще. Вздохиула и отошла к староике. Иижеиер сел. Ему хотелось еще расспросить, ио стесиялся. Мусолил вялые фразы о дружной весие, расспрашивал иеумело и иепоиятио о хозяйстве. В глаза обидио лезла деревяииая, с засалеииым лоскутиым одеялом кровать. Неужели та, строгобровая, иа ней спит?.. И ие одна... Опять встревожился, когда вошла. Почему-то счел необходимым пояснить:

— Хочу у вас подождать, пока ответ приiесут. Я вам ие помешаю?

Криво, иеласково усмехнулась:

— Скамейку ие просидите поди. А иам какая помеха?

Сняла с полки грубый шерстяной чулок, села спокойио у окиа и прииялась вязать. Старуха работать при важиом госте не решалась. Сидела, сложив иа колеиях стесиенные праздиостью рукн. Инженер барабаиил пальцами по столу. Ужасно иеудобно и стеснительно это молчанье. Кашляиул н неувереино спросил молодую:

— Вы ие здешияя, кажется? Я ие зиаю вашего имеии...

Она посмотрела искоса и засмеялась. От блеска белых зубов, от ясности открытой улыбки юией и проще лицо стало. А у нижеиера иа лице отсветом глуповато-радостиое восхищеньe.

— По-кержацки зовут: Внриией. У иас

свон святцы. Чтой-то вы, барнн, до меня больно с антнресом? Ты с мамонькой поговорн. Она жнла дольше, н разговору у ей больше. А лучше шлн бы вы домой, в чнсту горннцу, чем в нашем закутке дух наш мужнчнй нюхать. Прннесет Васнлнй, что надо, мы к вам доставим.

И с новой, чуть лукавой усмешкой добавнла:

— Я прннесу.

— Да, да, пожалуйста. Я за беспокойство заплачу. А то, действнтельно, долго, пожалуй, ждать. Я далеко жнву. Там, на горе. Но вы уж, пожалуйста, потруднтесь. Ваш муж, вероятно, вернется усталый, ну так вы нлн кто... Пожалуйста, уж принеснте нлн прншлнте.

Старался говорнть просто, голосом строгнм, но глаза волненье н обнду выражалн. Слово «муж» с запннкой выговорнл. Врнрнея учуяла. Броснла косой взгляд на старуху, потом сухо ннженеру сказала:

— Кто нн на есть, а пакет доставим. Не на даровщннку, — знамо, заплатнте. Эй, погоднте-ка!

В окно Васнлня увидела.

— Прнтащнлся! Чуть ноженькн волокет. Сейчас отдаднм, что прннес.

К дверн пошла. На ходу огляиулась н сказала строго:

— За эдакую ходьбу н без доставки прибавнть надо. Другой н за четвертную бы не пошел. Шутка лн, по склнзкому берегу да по студеной воде...

Инжеиер тороплнво бумажник вынул, но Вирка ушла нз нзбы. Старухе сунул пят-

надцать рублей. Та назад даже подалась. До испуга обрадовалась. Залепетала льстиво и тоненьким голосом:

— Уж мы вам вдругорядь когда расстараемся. Заслужим уж... Покорно благодарим. Когда надо, только кликините.

Стояла и кланялась. А сердце к сыну тянуло. Уходил бы барин скорей. Сын, посиневший, издроглый, вошел. И сразу на припечку опустился. Долго в нудном кашле корчился. Меж кашлем невнятно выговорил:

— За-адрог. Ви-ирка, отдай барину... Вот пакет, а вот еще... Подмочил немного, в воду осту-упился.

Затомился новым приступом кашля. С натугой мокроту в кулак выбил. Инженер на него не смотрел. Только, когда вошел, худобу и тусклость его с бессознательным успокоеньем отметил. Когда посылал, и не поглядел, что за человек. А сейчас увидел. Мокрый сверток от Виринеи с улыбкой принял:

— Ну, ничего. Что ж, трудно по такой дороге сберечь. Тут табак, его просушить можно, а гильзы у меня еще в запасе есть. Ну, письмо тоже разберем. Немного смазалось написанное, но, к счастью, немного. Спасибо, спасибо!

Виринея бровью повела:

— Это за табаком в такую дорогу человека гоняли?

Покачала головой:

— Ну, и нетерплячее у господ нутро! Чего захочет, через нельзя достань да подай. А то замается, ровно от заправдншной нужды. Вот как из-за этого табаку... Деньги-то он заплатил? Кому отдал?

Старуха сердито крикнула:

— Даденны деньги, дадены. Вот у меня. А ты бы спасибо сказала за господскую за доброту.

— Страсть добёр! Васька-то опять пластом лежать будет: застудился.

Инженер рассердился:

— Ну, это уж не моя вина. Всего хорошего. Спасибо.

Быстро из избы вышел. Подумал про Виринею:

«Видавшая виды... Корыстная...»

Но ночью присинлась. Таким жаром прояла, что сон прошел. Вышел на крыльцо и до зари слушал тревожный вешний гул. Был деловит и строг к себе. Гимнастику делал неустанно, жизнь размеренную вел. С женщинами мало возился. По необходимости. В городе связь разумная и чистоплотная была. Здесь, здоровье оберегая, охотливых солдаток опасался. Отпуска ждал. Страстность же делу отдавал. Честолюбие считал возбудителем благородным и хорошо карьеру начал. Только вторая постройка, а он начальник дистанции. Теперь скоро достроят эту дорогу. Война отняла рабочие руки и средства. Но теперь уж к концу. Но торопиться теперь в город нечего. Срочная постройка освобождает от войны. Любовное безрассудство за нечистоплотную распущенность почитал. И раньше случались внезапные вспышки при виде женщин желанного облика. Но глушил их быстро. Не было нынешней хватки тоски. В эту уже тридцать первую весну свою, еще до встречи с Виринеей, мечту о женщине своей и

неиспытанно желанной узнал. Последнее письмо к той, что в большом городе, даже необычно чувствительным вышло. Одиночество и обстановка действовали.

В охвате впервые тревожимых взрывами холмов лежала незаезженная, мощно плодородная степь. Изначально полным томленьем дышала веснами ожидавшая зачатья земля. И скот и люди — все живое жило здесь в мудрой верности исконному закону бытия: родиться и жить, чтобы родить. Дать плод земле и роду своему. Оттого в молодом и здоровом не по хилому неизбежному блуду городскому затомилась кровь. Встревожилась властным желаньем целостной, в одно соединившей душу и тело, страсти. Той, что творит жизнь. Чутьем, от зверя в человеке сохраненным, учуял томленье по такой страсти и у Виринеи. Хоть не думал об этом словами и не знал, что чует. Просто: скорей надо видеть ее, надо дышать близко около нее. Сорвался с крыльца и пошел. Долго кружил около избы Виринеиной. Был уже поздний предрассветный час. И даже парнишки молодые, рано в войну гулять начавшие, ушли с улицы, скрылись. Только лай собачий тревожил глухой этот час. Белесый, холодный рассвет будничной трезвостью хмелевое ночное прогнал. Быстро к себе в дом возвращался. А ночью немного опоздал. Увидал бы у плетня Виринею. Она с вечера медлительно укладывалась. Долго поправляла изголовье, вставала, всматривалась в окна, темнотой весенней ночи завешанные, по избе ходила, точно металась.

Старуха на печке злобно охнула. Глухо заворчала:

— Чего ты по избе крутишься? На грешную душу и сну нет! Васькин сон тревожишь. Отмахай-ка поди по вешним-то по логам. Да и об моих об старых костях другая бы совестливая подумала. Покою хочут! А тут только глаз заведу, стук-стук, хлоп-хлоп! Уж как уродилась шалая, дак во всем не по-людски. Аль на гулянку, на улицу, тянешься? Ну, и уходи. Известно: венцом не покрытая, всем охочим молодцам открытая.

Виринея негромко ответила:

— Не буркоти, баушка! Проберешь до нутра, не возрадуешься. Не то на гулянку — совсем убегу.

— Ах, застращала! Ровно сватами выхоженная, сношенька желанная. Сама, чисто сучка, под ворота подбегала. Сперва, может, по другим подворотням натрепалась...

Виринея смолчала. Тишком затаилась на кровати. Но старуха думами распалилась. Кержачка эта непутевая в дом ни богатства, ни почета не принесла. Одни грех и обиды. Антип и посейчас не забыл, как ему ворота дегтем за племянницу вымазали. Вредил Ваське и заработок от него отшибал. Васька и столяр, и маляр, и печник, да незадачливый. Один сын из всех рожених у бога отмолен. Троих чуть не в одночасье горловой болью себе убил. Четвертого свинье дозволил слопать, когда мать на жаркой работе замедлила. А вот этого от цепучей от смерти отходила, от боговой от лютости отвела. Оттого в сердце материном, как веред, живет. Никому, и себе самой, не дозво-

ляла тронуть небережно. Что крестьянством своим природным не занялся, в город, как вырос, ушел,— простила ему без жалобы. Что в городе, кроме щиблет городских, жилетки да цепочки от часов позолоченной, ничего не нажил,— не похаяла. Одна в хлипкой избенке бедовала до первого его прихода из города. Радостью, что жив моленый, хоженый, глаза свои завесила. Не корила его хилым обличьем. На слабосильный заработок не пеняла. Об его куске сама в повитухах, да для покойников чужих умелым провожаньем, да заговором зубной боли старалась. Жили, пропитанье находили. И слава тебе, господи, владыко милостивый! А вот Вирка к парию припаялась, не стало часу для сердца легкого. В грех незамолимый Вирка старуху ввела. Сразу-то не сказала, что без божьего закону три года с Васильем путаются. Иконой, как честную, венцом покрытую, на радости от прихода сына благословила. Теперь обида сердце свербит. Кума по всей деревне рассказала:

— Мокеиха-то, повитуха, сынову... иконой сустрела. Смеху-то над ей! Не откстить теперь!

Да уж в такой срамоте хоть бы тихая, покорливая была, а то никак никому не сдаст. Ваську-то она извела. От эдакой от лихости двужильный изведется. И бога гневит, на иху семью гнев его притягивает. Лба сроду не перекрестит. Старуха уж пеняла и стращала. А она с усмешкой, будто про веселое дело:

— У вас бог православный, креста моего староверского не примет.

Прислушалась к трудному и во сне дыханию сына, представила себе рядом лежащую здоровую Виринею,— ненависть варом сердце обдала. Неправильная баба! Сразу видно, что гулёна. Здорова, а спокойной полноты бабьей, расплывчатой нет. На безмужнюю похожа подтянутым телом и несмякшим лицом.

Завозилась сильней старуха. Скрипучим от злобы голосом снова завела:

— Поганому-то брюху и плода бог не дает. Четвертый год с Васькой... Допрежь с кем сколь, не знаю, а с этим четвертый год, и дите не родила, и посейчас порожняя.

Виринея прыжком с кровати. Васька завозился, застонал:

— Куда ты, Вирка? Что тебя спокой не берет! Спи!

В кашле скрючился.

А она неожиданно звонко для обычно затаенного некрикливого голоса своего вскрикнула:

— Помолчи, старая! Уж лучше не носить детей, чем такого, как твой, выродить! Тошно мне маяться с Васькой-то твоим! Дых из роту из его нюхать смрадный, да как руками склизкими ночью лапает — терпеть... Днем вспомню, кусок глотать неохота.

Васька кашлем будто подавился. Простонал:

— Ви-ирка!

И смолк. Виринея с большой тоской и страстью, быстро нанизывая слова, говорила:

— Ты, баушка, несладкое бабье-то пойло уж дохлебываешь. Знаешь: короче курино-

го носа счет бабьим радостям. А я вот молодая, а тоже это узнала. С того и не на всякую обиду твою отвечаю. Жалею. А ты меня не пожалела, проняла! Дак я тебе скажу: а ты за какой грех эдакого гнилого родила? Я для глазу сладкая н телом крепкая, а четвертый год хожу пустая, чисто порченая! Другие-то и дурные есть, и ледащие, а отросток от тела от своего дают! А я с опостылым маюсь не для веселья, а для роду веточки! Доктор в городу сказывал: н чахотные родют детей. Про Ваську же так: не то чахотный, а и по мужичьему делу схилел. Не будет уж, говорит, у вас с им роду. У меня, бабка, сердце на слезу не охотное, а тут я заплакала. Что ж то, что в нужде, что ж то, что по счету кусок? Я бы на дите добыла! Жилы вытянула бы, а добыла бы. Другие бабы в городу на пустое брюхо с завидкой, а я, как мужичка коренная, знаю: и собака щенка с радостью лижет, обихаживает. А я одним-одна. Кручу, верчу, спину гну для гнилого, для немилого надсаживаюсь. Чем взял? Ну, чем похвастаешь в сыне-то в твоем! На работу, что ль, удал? Э-эх! Так дышит, для копоти!

Оборвала, словно словами задохнулась. Васька захрипел:

— Будет, будет... Скажн тншком. Сколько раз попреки твои слушал, еще послушаю... Не вереди Виркино сердце. Она и то с тобой покорная. И сейчас не со зла она... Вирка-а, ложнсь! Спн! Не со мной, ну, на лавку ляг! Все переговорено, перетерпи!

Кроткий, молящий голос Васькин хуже ножа острого для матери. Он еще перед

эдакой перед охальницей пригибается! В смешной и жалкой торопливости с печки полезла. Слезая, кричала:

— Сама... Сама ведь к Ваське ночью прибегла! А кто велел тебе? Прибегла, змеей вползла, а теперь мужика порочишь! Чего же глядела раньше, беспутная? Да я тебе глаза твои бесстыжие выцарапаю, коль ты слово такое еще скажешь! Вре-ешь! Вре-ешь! За беспутство твое, за грех за твой бог дитю в утробе быть не дозволяет.

Подступила старая, в беспомощном гневе трясла головой с седыми, жидкими, растрепавшимися без повойника волосами, вытягивала руки с костлявыми пальцами. Лица старухиного Виринея не видела, но руку ее поймала. Негрубо в сторону отвела, хотела даже тихим словом успокоить. Но Васька с кровати заругался на старуху:

— Зачем ты в наше дело путаешься? Чего тебе надо? Отжила свое и спи на печке! Чего промеж мужа с женой вредишь?.. Уходи сейчас! Не смей до бабы до моей касаться! Пальцем тронуть Вирку не дозволю!

Со злостью, вновь вскипевшей, Вирка крикнула сильно и зло:

— Молчи, гнилой!.. «Пальцем тронуть не дозволю!» Самого-то пальцем покрепче двинь, дак и дух вон! Опостылел ты мне. Будет! Кончилось терпенье мое. Как сама, по своей по воле, прибегла, дак крепко слово свое блюла: три года не уходила. Тоже... с заступой со своей. Лежи и дохни! Никому не нужен. Даже на цареву войну и то не годен!

— Виринея!

— Што Виринея? Двадцатый год Виринея! Упомнила кличку-то свою. Сама завязалась, поп не крутил, богу не кадил, за меня не вымаливал, штоб по чести с мужиком с одним себя блюла! А я блюла! От пригожих да от здоровых отмахивалась. Все из-за слова из-за крепкого из-за своего! Сама в жены навязалась, с того и жила как жена. Теперь отбатрачила! Будет! Кончилось терпенье мое! Догинвай! А я здоровая — в могилу с собой все одно не утянешь. Не хочу! Пускай мать свое рожено выхаживает. А мне уж больше неохота. Часу веселого нету для молодости для моей. Уйду!

Хлопнула дверью, во двор выбежала. У Васьки сразу силы явились. Быстро за ней.

— Вира... Виринеюшка!

Долго хрипел, упрашивал. Дрожал всем телом согнутым, уж меткой смерти помеченным. Зубами скрипнула, горестно всплеснула руками:

— И чего ты вяжешься? Жаден до живого человека! О смертном часе думать бы, а ты обо мне. Да иди, иди уж в избу, хиляк! Иду и я. Ну-у?!

Вернулась в избу. На лавке у стола было улеглась. Старуха на печи по-детски всхлипывала. Скоро стихла. Может, уснула. Виринея поднялась. Сказала Василью раздельно и строго:

— Не ходи за мной, не убегу. Сердце давит, на дворе постою, вольным духом подышу, вернусь. Слышишь? А коли за

мной выйдешь, убегу со двора. Вот тебе слово мое — убегу! Только ты меня н видал!

Ушла. Васька долго маялся. Вставал, в сени выходнл. Дверь тнхонько, как по воровскому делу, в чужой будто нзбе, с опаской открывал. Слушал, притишив дыханье, но во двор выйти не решался. Вирка не по-бабьи на слово крепка. Пригрозила — так сделает. Но горячая знобь связала Васькино тело. Неверными и тягостными стали двнженья. Лег на кровать. Натянул со стоном отцов старый тулуп, укрылся им. Задышал трудно и часто. Про явь, про Виринею забыл. В бредовых, мучительно быстросменных виденьях заметался.

Виринея во дворе у плетня стояла. Ветер, веселый и мокрый, с полей налетел. Суматошливый гул помолодевшей в буйстве рекн и бурливых вешних вод в степных логах слышней стал. Небо темным-темное, будто от того гула притаилось. Улица тоже темна и тиха. Во дворах глухая возня скота и непонятных, ночных странных звуков. Отыграла гармошка хромого Федькн-гармониста. Накричались в песнях девки. Смолк тяжелый, хлюпкий по грязи топот молодых парней, еще на войну не взятых. Отбуянило молодое на улице с вечера. Теперь, в час потайной н сладкий, ласковые пары в темноте тихой запрятались. Празднуют легкий час свой в несворотливых, день на день, как близнец, схожих натугой над землей, над хозяйством приглушенных днях.

А Вирка свой легкий час на обман отдала. Нн за семью, ни за хмель радостный. Не было той радости с Васькой! Ошибка

вышла. Разбередила старуха. Часу больше терпеть неохота! Утром же прости-прощай, матушка чужая, неласковая, постылый хиляк, изба невеселая. Ночью прибежала, а уйдет открыто. Белым днем. В город надо податься, а то на железную дорогу — на заработки. Отбилась от деревенского, в правильные бабы не попала,— на другое, значит, поворот вышел. Гулёной безгнездовой. Что ж! Хоть на вольной воле! Чернявый этот лапал сегодня глазами. Может, и без гульбы с ним на работу поставит. Ладно, будет. Только бы Васька еще нынче не вязался. А то и до утра не вытерпеть.

Повела строгими бровями, губы твердо сжала — и в избу пошла. Разбила Ваську лихоманка, не учуял, что пришла.

III

Утром Васька с постели не встал. С тусклым лицом и пересмякшими губами пластом лежал. Не то спал, часто открывая глаза, не то так, по-тихому маялся. Может, отходить собрался? Виринея глянула в серое лицо его в липком поту, на руки распластанные. Подумала:

«Нет, еще не пришел час. Не томится, не обирается. От скрипоты отдыхает. Встанет еще канитель тянуть!»

Избу напоследок прибирать старательно стала. Старуха только искоса взглядывала. Не ругалась, не разговаривала. Потом над сыном постояла. Охнула тоскливо и крещенской водой его сбрызгивать начала.

Выклнкала бога и святых глухнм шепотом:

— Заступинца усердная, матерь божья Казанская! Микола милостнвый, угоднчек божий! Василий хнвейскнй, аидел-хранитель! Пантелемои-целитель! Господи владыко!..

Не выговаривала, чего ей иадо, о чем молит, чем мается. Богу иужиы ие разговорные слова, а непоиятные, строгие. У ней нх не было. Знала только каждодневиые, к богу иедоходчнвые. Оттого в бессилье косноязычья своего переклнчку скорбиую н безнадежную бормотала. А голова смешно тряслась, н спнна натруженная совсем колесом от горя сгнбалась. Внрниея поглядела, передернула губамн, как от боли, н сердито сказала:

— Бог, бог... Давио подн ои сдох. Сколь лет его просишь, корежншься. Отдохнула бы!

И, хлопнув дверью, нз избы ушла.

Старуха охиула, пуглнво на образ темный глянула. Ноги задрожали, до лавки чуть добралась. Наклнчет беду, окаянная.

— Господи батюшка, не посчнтай то слово! Заступиица матушка!

А Внрннея простоволосая, как нз избы выбежала, шибко по улнце шла. Почтн бежала от двора постылого. Лнцо было темиое, н думы злые в голове ходили. Старуха еще одну обнду распалнла. К богу старый и крепкий укор. Отец по богу маялся. По свету ходил, праведной земли нскал. Всю силу свою человечью для бога размотал. В переходах, переездах по разиым дорогам

и по бездорожью места богова искал. Детей под чужую, под жесткую руку отдал. А бог за это ему трудную кончину в гиблом месте, в чужой сибирской стороне послал. Мать скорбью мужниной тоже зашиблась. По родне за детей в тяжелой работе жилилась, а часы на долгую надрывную молитву находила. От тех молитв, от постов, от поклонов до часу стаяла. А Вирка зато с той же страстностью, с какой родившие по богу маялись, против бога взлютовала. И у дяди с того, главное, ее жизнь не сдалась. Работу ворочать могла. В теле жила крепкая, только сердце дурное, суматошное. К чужим мыслям неподатлива. Дышала сердито. Ничего кругом не видела. В гневе, в спешке чуть мимо избы Анисьиной не пробежала. Эта веселая солдатка всегда с Виркой ласкова. Может, с того, что и ее другие бабы, степенные, как Вирку, глазами колючими у колодца встречают. И вслед долго глядят, губы поджав. Слух по деревне идет, что спуталась, как мужа в солдаты забрали. А она на те разговоры только смехом озорным отвечает. Веселая да бесстыжая. Но Вирке смех ее частый и легкий по душе. Надоест ведь канючку одну слушать! О ней нынче и вспомнила. Поди пустит под свою крышу хоть на два дня, а там — видно будет.

В избе Анисья была. Закваску для пьяного квасу ладила. Не по-бабьи, тишком сердитым или с воркотней, возилась. А будто девка, заботой не замаянная. С песней на голос высокий:

Одно-о на прово-оды ска-азала:
И-ых, пра-аводила со двора-а!..

Вириией усмехиулась.

— Ну, и баба развеселая! С самого утра с песнями. Дело, видать, у тебя легкое: Здравствуй-ка.

— Здравствуй, бабочка. Вот иегадаиио припожаловала. Сколь раз звала — ие шла. Я уж ждать перестала. Мое дело вольиое, солдаткиио. Детей иакормила, для порядку стукнула и иа. улицу спровадила. Чего мие песни не играть? За мужа откупиое иачальство платит, свекра с свекровушкой господь прибрал, чтоб ие турчали, сиоху молоду ие мытарили. На дворе чужак иаиятой, сударик плеииый, старается. А я вот квасок веселый завариваю. Чего ие петь?

Смеялась иебольшими блестящими глазамн. Румяиая, невысокая, крепкая, телом налитая, ловко и весело поворачнвалась. Внрка еще усмехиулась. Ясней н шнре.

— Я к тебе по иужде. Дозволь у тебя дни два-три пожить. Ушла я от Васьки-то.

— Ну-у! Не сдюжила? Я н то дивовалась на тебя. Что ж, поживи сколь-нибудь. Отработаешь по двору да по дому. А харчей подн иа подеииой добьешься.

— На железиую дорогу, сказывают, баб берут.

— А, иу да. Около постройщиков этих тоже можно... Совсем ушла аль еще раздумаешь?

— Совсем.

Анисья тряхиула головой, пестрым платочком повязанной.

— В нонешни года развольничались бабы! Вот хоть про себя скажу. И муж желанный у меня, не то чтобы с отвратом я к нему аль об ем не думала. Провожала, горячей слезой плакала, а гляди — гуляю без его. Придет — убьет, может. И за дело, знаю. А все не хочу молодых годков своих терять. Прежни-то бабы, сказывают, по десятку лет без греху мужьев дожидались. А мы на это дело слабые. И про тебя я думала, хоть без венцу, а правильная. Ну-к что ж! Видно, такие шелапутные зародились на нонешний век бабы. Про-оживем, покуль солнышко на нас светит. Ну-к подоткнись да вымой мне вот эти горшки. А я за семенами к мордовке схожу. У ей всхожие, кабы не разобрали.

И ушла из избы.

Но наниматься на постройку Виринея скоро не собралась. В соседней с Анисьей избе хозяйка живот сорвала. Хозяйство самосильное, а работника в дом от греха не брала. Со свекром да с ребятами управлялась. Тяжелую кладь подняла — и замаялась. Свекровь, уже с год ослепшая, на другое же утро к Анисье пришла. Помолилась в угол и сказала:

— Здравствуйте-ка. Здесь, сказывают, кержачиха-то? Васьки Мокеихина полюбовница. Здесь, што ли?

Анисья звонко откликнулась:

— Здесь, здесь, баушка. Ты што, сватать, што ль, за того Ваську ее пришла? Не время поди: пост великий еще не кончился. Да и для посту он не скусный. Бабато пробовала, да сбежала.

— А ну тебя, охальница! Нихто за ей свататься теперь не придет. Нетронутых-то девок впрок солим ай за старых вдовцов сбывам — куда ей после ее греху! Вирка-а, подь-ка поближе. Не слыхать што-то ни духу, ни голосу твоего.

— Здесь я, баушка. Зачем тебе?

— Айда к нам, по хозяйству поработай. Шерстью там аль чем заплотим. Баба-то у нас, слыхала?..

Виринея поправила платок на голове и сказала внушительно:

— Што ж, я пойду на какое надо время. Все одно, где прокорм добывать. Только ты меня, баушка, грехом моим с Васькой не замай. А то я и старость твою не уважу, ухватом садану. Надоела мне ваша про меня колгота.

Старуха закивала головой, руками взмахнула:

— Да што ты, што ты... Не хошь, и не скажу. Не дочь мне, не сноха, чего заботиться? Айда! На работу ты здорова. Уж постарайся, пожалуйста. Никем никого и не наймешь тут у нас. А твое дело такое вышло — все одно найматься! Айда!

И Виринея пошла. Целую неделю проработала. И на другую оставили. Хозяйка туго поправлялась, хоть свекровка и к Магаре к камню ходила, помолиться просила. Хоть и Мокенха, Васькина мать, живот править и заговаривать приходила. За фельдшером в участковую железнодорожную больницу свекор обещал съездить. Да все еще дороги не было.

Четыре раза Васька по темноте молить

и просить Вириию вернуться назад приходил. Трудно дышал и неверным шагом ходил, но двигался. Отошел от застуды. Еще не пришел его час. Жарко спорили с Виркой под сараем во дворе. Но уходил один, втянув голову в плечи, как побитый. Когда в четвертый раз пришел, Вирка из избы, из дверей, звонко крикнула:

— Опять притащился, постылый? Потемну, с утайкой, а все люди видят да знают. Постыдился бы цепляться-то за мой подол... Уходи! Нечего нам с тобой говорить. Все размотано, и ниточка оборвалась. Никаким жалостным словом боле не свяжешь!

Но Василий сразу со двора не пошел. Притаился у плетня, сгорбившись, словно еще ссохшись, худой и низенький. Давил свой навязчивый глухой кашель и стоял. Старик амбар запирать вышел. Приметил. Сказал сердито:

— Иди домой! Чего маешься? Коль пришпичило до бабы, законной нет—мало ль баб тебе? Мужиков не хватат. Чего срамишься?

Вирка из сеней услыхала. С поленом выскочила:

— Уходи, а то пришибу! Намозолил ты сердце мое, со сну вскакиваю, как тебя, липкого, вспомню! Пришибу-у, все одно, хучь конец! А то сам плохо дышишь, да и мне не даешь! Ну-у?..

Ушел.

Мокеиха, как пришла хозяйку вызволять, на Вирку сначала даже не взглянула. Будто ее и не было. Хоть она по работе бабьей своей то и дело мимо старухи ходила. Толь-

ко когда дело свое справила Мокеиха и уходнла, то во дворе Внрку остановнла:

— Уйтн-то от нас ушла, а дух поганый с подола со своего у нас оставила. Кобелн на тот запах ходют.

Вирка передернула губамн, пошла от старухи и на ходу кннула:

— Ладаном покурн, отшнбет. А то и твой-от сын по-кобелячьн за мной все вяжется!

Но Мокеиха сказала внушительно н глухо:

— Постой-ко! Слово сказать надо.

Внриием приостановнлась. Через плечо глянув на старуху, спроснла:

— Ну? Какое еще слово? Все одио ты меня ннчем не проймешь. У меня на тебя даже обиды нет. Больно ты н без меня горько сыном обижеиа. Чего тебе надо?

Старуха подтянула губы. Сказала сдержанно:

— Чернявый тот аижннер прнходнл, тебя спрашнвал. Сказывал — на стнрку, на мытку, што ль. А вндать, како место мыть зовет.

— Ну?

— Чего нукать-то? Хочешь, дак ндн, мой. Аль уж, может, сладилнсь? За хорошие деньгн аль так, задарма, по согласью?

Вирка усмехнулась:

— Не твой расход, не твой доход. Иди, баушка, домой! Не обнднщь ты меня, не проймешь. Жалею я тебя. Сын твой больно ненавнстен мне стал, а нз-за тебя и его вот сейчас пожалела. Мается н тебя мает. Прнспоконлнсь бы вы как-нибудь, а я бы, право

слово, порадовалась. Прощай, баушка.— И скрылась в сенях.

У старухн сердце от злобы зашлось. Чуть нз двора выбралась. Как разговаривает! Чнсто путная. А она, старая, перед ней, как девчонка покорлнвая, стояла, слушала. Господн, за что обида такая в седые остатние годы?

Долго ночью плакала.

IV

Об инженере том напрасно старуха напомнила. Не больно прнглянулся, чтобы часто в голову лезть. А все же где-то сзади явных мыслей, тайком, думка о нем спряталась. Может быть, оттого, что никому Внрка, кроме Васьки постылого, на ласковую душу не нужна. Та же Аннсья нз любопытства с ней хороводнтся. Разговору много про Внрку было, ну н занятно той проколупать: что за человек. А тот барин с первого взгляду на Внрку с большой лаской, как на желанную. И сейчас вот не забыл. Только и на Ваську тогда позарилась за ласковость... И серднто оборвала мысль:

«Ну нх всех в болото, лешаков! На работе н не думаешь про мужика. Так проживу. Хватнт с меня одного. И от того ни крестом, нн пестом не отобьешься!»

Больная баба отошла. С натугой, а вставать стала. И помаленьку по дому управляться. Хоть ннчего жнлн, по-среднему, куска на Внрку хватнло бы, но баба по-крестьянскн прижимиста была. Зря кусков не

разбрасывала. Как продохнула, к печн доплелась.

— Ну-к, Вирка, отойди, я сама...

Вирнея бабу поняла. Сама так же бы хозяйствовала. Приласкала одобрнтельным взглядом н сказала:

— Вызволнлась? Вот н хорошо. Утре, как еще полегчает, дак я на вас н отработала. Уйду.

И на другое утро опять к Анисье ушла. Аннсья что-то затуманилась. Побледнела, осунулась, н взгляд невеселый был. Сказала Вирке вечером, как коров донлн:

— Что-то у меня на сердце гребтнт. Давно пнсем от мужнка нет. Лнбо шнбко раненный, лнбо помер совсем. А то, може, у немцев мается.

Внрннея отозвалась сдержанно:

— А може, прописали про тебя ему?

— Что с астрняком-то с монм путаюсь? Тогда бы еще скорей хучь через родню покор пропнсал. Нет, чую, плохое с нм. Вот который день ем кусок без охоты, и все што-то маятно...

— Анисья, на што он тебе? Надругалась ты над нм...

— Что надругалась? Дите, што ль, чужнх кровей на его кусок привела? Сроду до этого не доведу. Двонх вытравила н третьего, коль с чнжолости сейчас тоскую, нзведу. У Мокенхи-то у твоей на это из всех бабок рука легкая. А так что ж? Кровь-то молодая, сам знает. Поди тоже без бабы не прожнл. Еще хворь дурную прннесет. Мало ль у нас мужьямн порченных? Чего же, дело такое. А меня побьет, поувечит, а там

опять вместе заживем. А и убьет коли сгоряча, дак потом пожалеет. На работу я спорая, телом крепкая. Чего надругалась? Ну ты, тпру-у, стой! Чего брыкаешься! Стой, коровушка, стой, матушка...

Подоила, перекрестила корову и сказала:

— К Магаре схожу. Пущай за Силантия моего помолится. А может, предскажет что. Ты подомовничай тут. Молитву, которую солдатам посылают, Магара, сказывают, составил. Шибко солдаты на ее надеются. Хороша от смертной от пули. Нашински солдаты под рубахой на сердце ту молитву в бою носют. Как у старосты старшого, Митрия-то, убили, Терехин Васька с тела с его ту молитву снял. Прописал Митревым родителям, что себе на охрану листок тот оставил.

Виринея вздохнула:

— Дурной народ,— деревенски наши люди. Убили, дак чего же молитва-то не оборонила? Ни к чему она, выходит.

— Ты, Вирка, про богово дело не бреши. Как веру человек сменит, ни к чему становится. Из кержачек перешла, дак и клеплешь на наше православие! Не люблю таких слов. Тебя молиться не заставляю, а ты меня не замай.

— Чего ты ощерилась? Не стращай, я непужлива. Не люби,— а ведь сама говоришь: и с молитвой убили!

— Ну-к што ж! Так бог схотел, закрыл глаза на ту на молитву. Митрию так на роду было написано, а другим помогает. Спиши мне ее, ты хорошо грамотна.

— Не буду!

— А, сволочь ты, безбожница! Ну и наплевать. Без тебя найду, напишут. Домовничай, а то к ночи дело. Я схожу, отнесу чего ни то Магаре и помолиться попрошу.

Большая вера в Магару в жителях укрепилась. Из дальних волостей, когда путь был, к камню его приезжали. Подаянья доброхотные приносили и привозили. Но без корысти Магара перед богом старался. Даянья же у камня оставлял. Подаянья исчезали. Платок один жертвенный на бабе акгыровской, из беженок, видели. Но все же несли и везли. И Аниська полный узелок снеди набрала и ниток шерстяных моток.

— Подомовничаешь, што ль? Астрияк-то мой поздно придет. В барак к своим отпросился. А ребята прибегут, сунь кусок, и пущай спят.

— Да ладно уж. За ругачку твою когда ни то взгрею я тебя. Не люблю этого. Ну, да ты не злая, спущу пока. Иди. Подомовничаю, некуда мне и уходить-то.

В сладостном томленье расправлялась сбросившая снежную глухую покрышку земля. Было легким и в кротких красках сгасало вечернее небо. Будто грустило в беззлобье, безнадежности, что не ему, а земле дан час плодородья, сладость и горечь кратких земных радостей. От этого полегчавшего в кротости неба, от бережного тихого опусканья на землю темноты, от призывного курлыканья летевших отважно далеко журавлей входили в человечьи сердца радость и тоска.

Виринея стояла на огороде. Смотрела на журавлей в вышине, слушала вечернюю не-

громкую суету дворов, жадно забирала в грудь хмельные запахи земли и ветра. Побледнело лицо, тосковали глаза, а нарушать ту хорошую легкую тоску и уйти не хотелось. Инженер к изгороди огородной подошел. Сильно вздрогнула, когда негромко окликнул:

— Виринея...

И с промедленьем добавил:

—...Авимовна...

Все эти недели мыслями о ней маялся. Крепко забрала. Все про нее разузнал. Думал, про дурное в прошлом ее те рассказы отобьют думу о ней. Но только пуще распалился. Сегодня только узнал, где живет теперь она, и сегодня же сами ноги притащили к ней.

Виринея от испуга быстро оправилась:

— Вот напугал, барин! Откуда вывернулся?

С лица же тихость не сошла. Говорила не сердито, устало:

— Вы чего-то меня спрашивали? Старуха сказывала, к им приходили.

— Да я не знал, что вы перебрались от них.

— Ну, как, чать, не знать? В деревне про всех все знают, а про меня вы, слыхать, все расспросы расспрашиваете. Может, только избу не знали, где живу теперь, а про дела про мои с Васильем как, чать, не знать! Зря только старуху расспрашивать пошли.

— Да я, честное слово, Виринея Авимовна...

— Что это вы важевато как со мной? Батюшкины кержацкие кости величаньем

тревожите. Мне чудно и ровно совестно. Мы народ к тому привычный, что старух только величают.

— Мне очень хотелось еще увидеть вас, Виринея, Вира... Знаете, так бывает: увидишь в первый раз человека, а кажется, что давно знал его — влечет к нему. Тогда вы сердито со мной разговаривали. И мало...

Тянул медлительные слова. Думал: «Не так... не так надо с ней говорить».

В этот час, кротостью вечерней напоенный, и у него не стало жадной хватки бурного желанья. Только и надо: вот так стоять поодаль от нее, смотреть усмиренными глазами и ощущать: удивительная, дорогая.

Виринея встретилась с ним глазами и чуть порозовела. Сказала негромко:

— Нехорошо, что вы тут стоите. И то про меня много болтают.

Он встревожился:

— Но почему же? Разве нельзя поговорить? Ну, просто так, по-человечески поговорить? Не уходите, пожалуйста! Ну, давайте вон туда, подальше, за село пройдем.

Виринея засмеялась тихим, грудным смехом. Покачала головой:

— Еще лучше удумал! Да я ничего, стойте, разговаривайте. Меня сплетками своими до сердца не проберут. Привыкла я. За красоту за мою бабы меня не любят. Чисто мне кажиный мужик нужен, а им всех до единого жалко уступать.

Спокойно и просто о красоте своей. Не чванливо, не кокетливо, а правдиво. Умилился влюбленно: «Милая». Она, глядя мимо его лица тихими сегодня глазами, говорила:

— Вот и в городу: и стряпать по-господски выучилась, и стирать, и гладить как надо господское белье, а подолгу на местах не жила. Не с того, что без паспорту. Это для их выгодней, дешевле. А все из-за завидки бабьей. Поглядят барыни, как ихние мужья аль там кавалеры около меня, вот как вы теперь, вьются,— сичас фыркать зачнут. Ну, а у меня сердце на фырчок нетерплячее, сама отфыркаюсь. Вот и с места долой. Одна вот чудная больно...

Виринея фыркнула:

—...так из себя, хуть господа, а с деньгами не густо. По дешевой образованной должности с мужем жили. Все листы каки-то писали и в эту, как ее?.. Тьфу, уж забыла городские слова... в редакцию каку-то ходили. Книжки мне еще давали читать. Там, дескать, у их в этой редакции составляли. Скучные книжки, про бедный народ... Я брать — брала, а мало их читала. Ну, дак они со мной так: все одно, дескать, люди, что господа, что мужики. Деликатно, старательно. Маленько муторно с ими было — больно деликатные. А ничего: пища — что сами едят, и без ругачки. Только гляжу, барин чаще ко мне на кухню, как барыня из дому. То да се, а сам мнется, вот как вы. Ну, думаю, как бы барыня не осерчала. Да и при Ваське тогда заходил. Васька сумлевался. А барыня — такая: по-городскому ничего, стеклышки эдак на носу на шнурочке, кудерочки реденьки. Ну, а по-нашему: сохлая да канючая. И барин с ей ласков, а, видно, посдобней, повеселей чего захотел. Ну, и она приметила. Не осерчала, виду не

дала. А только раз прншла ко мие н говорнт: «Виринея, давайте обсуднм». Ну, разное там говорнла. Мещанкн, говорит, которые за мужей держутся, а я иет. Если, мол, тебе нужен — берн. Я, дескать, сама уйду. Я говорю: он мне не нужен, а колн сумлеваетесь — рассчитайте. У меня, мол, свой, хуть плохой, да свой есть. Да н у тебя-то, мол, мужнк ие лучше. С Васькой парный, только что образоваиный. А она: нет, говорит, зачем расчет, давайте обсудим. И вот эдак раз двадцать все: обсуднм. Ну, лучше бы оиа меня бнла, чем сусолнть эдак! Плюнула я да тишком рано утром от их ушла. Вот эдакая завндка потяжельше фырчаиья!

Оба весело засмеялнсь. Вирннея со смехом закончила:

— Она меня, эта «обсуднм»-то, н проняла. Затосковала я по деревне. Проще у нас. Двннут, дак без разговоров двннут. Айда, говорю, Васнлий, к своим подаваться. Уж терпеть, дак от своих. Вот когда обндно на баб иашинскнх станет, вспомню про тех образованных, обнда-то н отмякнет. Этн злы, да без подвоху. А те прямо не покорят, а жалостными словамн зашпыняют.

— А не скучно вам здесь? Все-такн вы уж привыкли к городу...

— Нничего я не привыкла. Легкому сердцу везде сладко, а колн в ем горько, дак где нн жить — все одно тошно. Да нам за работой скучать некогда. В девках я кннжки читала, а теперь н к им охоты нет. Вот так постою, погляжу да спать пойду. И в праздннкн больше сплю.

— Кннжкн я вам могу прислать, если

хотите, у меня интересные есть... И романы, и повести.

— Вот я раньше до ро́манов охотница была. От дяди таилась, а много перечитала. И работу какую ворочала, а читать находила часочки. В летни праздники в степи пряталась.

— Я пришлю... Я вам завтра же принесу.

Виринея с усмешкой махнула рукой:

— Не надо. Я в их теперь и глядеть не хочу. Читала, читала, да вот с чахотиым и спуталась. Чего смеетесь? Правда, так. В книжках все такие обходительные. Про любовь там всякое. Ну, а наши, деревенские, эдак не займаются. С девками словами ие канителят, а с бабой своей дак и вовсе разговоров не разговаривают. Корове когда скажут: «Краснушка, Краснушенька»,— аль лошадь с добавкой слова ласкового назовут, а жену — нет. Для работы взята, для роду, а не для ласковости. И на работе скотину жалеют, а бабу нет. И все одно, в богатстве ли, в бедности — везде к нашим бабам так-то. Еще бедный-то лучше, из-за хозяйства не ярится. Ну, вот я в книжках одно начитала, а нагляжусь на другое. И неохота мне ни с кем нашинским. На улицу тайком часто бегала, охотливая в девках до веселья была, а от себя всех отваживала. Не милы. На тех, в книжках, не похожи. А этот вот, Васька-то, и в обряде городской, и с манером с городским. По-тихому, со словами ласковыми обошел меня. И из себя чисто не деревенский, худенький да ужимчивый. Вот и припаялась.

— А сейчас вы его не любите?

Внрннея встрепенулась. Взглянула в инженеровы ласковые глаза н вдруг сухо оборвала:

— Разболталась я... Молчу миого, а вот как накатнт — н заговорюсь. Вы чего шлн ко мне-то, с какнм делом?

Затаился взгляд. И губы твердо сжала. Спугнул инженер легкнй разговор. Сам избить себя готов был, но как поправнть, как разговор затянуть, не знал.

— Я, вндnте лн... Не знаете лн вы, кого мне здесь попросить стирку белья моего на себя взять?

— А што же, я постнраю. Я по-городскому могу. Только я задешево не возьмусь.

И опять деловито плату указала. Очень дорого по местным ценам. Но он уж не злился. Только жалел, что та, мнлая, с неуклюжей, но задушевной речью, спряталась. Другая Внрннея точно. Расчетлнвая деревенская баба. Нелепым для пронзноснмых слов печальным голосом сказал:

— Ну что ж, я согласен. Когда можно белье прислать?

— Куды прнслать? У вас подн кухня есть. Да не то кухня, баня в этом двору есть. Я ведь знаю Снлантьев дом. Вот в бане н перестнраю. В чистой понедельннк на страшной утречком прнду. На этой у Анисьн отработаю. Мыло н подсннька-то у вас есть, ай купнть?

Радостным стуком кровь в сердце, в висках: согласнлась прнйтн к нему в дом. Сама предложнла, сама захотела. В уединенной бане, за двором, целый день одна будет. Возможно что н для нее стнрка — предлог.

Тянет к нему, только не хочет сказать открыто. Не разбирал от волненья, что она говорит, отвечал торопливо, не вслушавшись:

— Да, да... Вот возьмите, пожалуйста... Хватит ли, нет?

Видела, что лишку дает, но сказала спокойно:

— Пожалуй, что и хватит.

Взяла деньги, пошла с огорода. Не оглянулась.

V

Бог все разговорчивей с Магарой. Народу от того разговора предсказанье. От молитвы — помощь. И в моленье своем хорошо было утвердился Магара. Сердце отмякло, дых легче стал.

Но по весне опять отяжелело в груди. Руки по земному мужичьему делу затосковали. Перешибали молитву думы о пашне, о скоте, о зятевом хозяйствованье. Одну ночь, сколько ни старался, никак молитва не шла. Тоска такая накатила, что в голове мутно. И к утру, стоя на коленях на камне, запросил Магара:

— Ослобони, господи, меня от земного дела! Навовсе ослобони! Лучше я в раю с угодниками твоими стараться буду. Ослобони от крови чижолой, от жилы человечьей, от костяку твердого. Сведи на меня смертный час! Оттоль народу способье подам, а на земле здеся не выстою. Хо-осподи!

Последнее слово с криком хриплым из груди вышло. И будто на крик тот в мутном

мареве рассветном появился от камня поодаль святой старичок. Тот, что в самый первый раз будить Магару приходил. Каким именем его окликнуть — все еще не знал Магара. Не видал с того разу. Застыл в ожиданье. А старичок не прежним зычным голосом, а в ласковости тихой заговорил. С ветерком вместе, с паром от вешней земли слова налетели:

— Помрешь скоро, раб божий Савелий. Жди часа смертного.

К похолодавшему в ночи камню в радости, до боли сердце стиснувшей, припал лицом Магара. А когда опамятовался, голову поднял, уж не увидел старичка. Взмолился:

— Смилостивец! Как по имени, по чину перед богом звать тебя? Ну-к, покажи еще лик немудрый свой. Страдатель божий. Сколь скоро, в какой день, в час вынет душу бог из меня?

Лика больше не видал и ответа не слыхал. Но к смерти стал готовиться. В тот же день неожиданно в дом свой пришел. Старуха с дочерью в избе убиралась. Вытерла фартуком мокрые руки, глянула на мужа. Обветренный, лохматый и грязный. Не похож на угодников, какие на иконах. Сказала робко:

— Може, в баньке попариться, тело занудилось? Истопим, а?

Но Магара головой, как от мухи, отмахнулся:

— Смертну обряду мою, каку заготовила, достань из сундука! На дворе повесь.

И ушел. Слова больше не добавил. Старуха горестно вздохнула и заплакала. Вся

округа в святость Магары уверовала. А она говорить о том боялась, но в себе думала: не от святости это в нем, а от хвори какой-то. Уж своего мужика-то знала — какая в нем святость? Так мается без ума, без разума. Но не сердилась, а шибко жалела. От той жалости быстро стареть начала. Ссутулилась, глаза стускли, и на лицо серый пепел лег. Но приказанье мужнино в тот же час исполнила. Когда вешала белые холщовые порты и рубаху, Мокенха пришла.

— Здравствуй-ко, Григорьевна. Помирать хочет?

— Не знаю, веле-ел.

— Сказывал, Григорьевна, сказывал. Сейчас на нашей улице был. Открыто ему будет, в какой день. Я и пришла, чтоб меня тогда кликнули. Потрудиться охота над молитвенником-то над нашим. Нынче народ распутный стал: мало кому открывается, когда смерть придет. И не от должного часу мрут, а все больше во внезапности. Пущай подоле повисит одежа. Солнышком нашинским прогреется, ветерком с земли провеется. На остатней обряде дух земной унесет, пуще об земле стараться перед богом будет. Их-ох-ох. Ну, дак гляди, не медли, кликни тогда. Савелий-то, батюшка, плывет через речку...

— Куда?

— А по обычаю богову все сделать хочет. Не как нынешние вертуны. В церковь, к попу поговеть поплыл.

Обратно приплыл под самое вербное воскресенье. Уж затемно в окно постучал:

— Эй, открой-ко, Михайла!

Зять голос узнал. Поднялся:
— Ай к нам перебираешься?
Но Магара, отмолившись в угол, сказал:
— Оповести завтра народ: помирать ложусь. Гроб-от сготовил.
Зять поскреб голову и грудь. Спросил:
— А где помирать-то лягешь? Там, у себя в землянке, ай на камне?
— Тут, в избе. По-хрестьянскому. На этом месте родился, на этом же и помру.
Зять постоял, подумал. Сказал с тягучей позевотой:
— А, ну да, правильну кончину ты себе у бога вымолил. Я маленько еще посплю. А? До утра-то еще долго. Намаялся я нынче.
— Ложись. Я на двор пойду свету дожидаться.
Когда ушел, зять старуху окликнул:
— Не спишь? Слыхала? А в избе не остался, отвык от человечьего духу. Бабу-то мою будить аль нет?
— Не надо. На свету обоих разбужу. Что ж, все под богом ходим. А ему все одно. Который год на земле не работник. Может, и правда час помирать пришел. Потрудимся, проводим. Ложись, поспи еще час какой.

— Ви-ирка-а! Ви-ир! Куды запропастилась?
— Ну, чего ты́ базлаешь? Отдохнуть под сараем я хотела.
— Отоспишься еще. Айда скорей Магару глядеть.
— Ну-у? Помирает?
— Да! Ну да! Давно́ уж зачал. Гляди не протолкаемся, не увидим.

— А я ведь, Анисья, думала: он врет. Крепкий, мол, не свалишь!

— Ну, айда, айда, не растабарывай. А то народ бегёт, а мы мешкаем.

Задыхаясь на бегу, сердилась Анисья:

— И как это я, на каждый слушок вострая, тут не сразу услыхала! Ой, баба, не увидим, а охота поглядеть, как кончится. В праздник и помереть угадал. Людям глядеть послободней.

Стекался народ к избе Магары. Со всей деревни накатной, разноцветной, веселой для глазу волной. На улице около избы, во дворе и в самой избе стоял несмолкающий гул людских голосов. В избе приглушенный. На улице и на дворе — как веселый жизни молебен.

Солнышко, по-вешнему легкая теплота дня, колыханье ярких женских платков и платьев, пушистая верба-хлест, игривая в молодых руках,— будоражили радостью. Оттого часто в толпе прорывались молодой ядреный смех и женский притворно-пугливый вскрик. Заглушали перебранку теснившихся у избы и охотливый старушечий провожальный плач.

Виринея и Анисья, огрызаясь на ходу несердитым бранным словом, смешком коротким и взвизгом на щипки мужиков, протолкались вперед.

Настежь открыты окна избы. Но тяжело и густо пахло ладаном, богородской травой, елеем и дегтем от праздничных сапог. От этого смешанного запаха, от дыма кадильницы в руках старика Егора, от нудного тягучего его голоса, бормотавшего псалмы,

трудиила дыхаиье людей духота. На божнице дрожали горестио хлипкие желтеиькие огоиьки восковых свечей. На скамье под окиами стоял открытый гроб. Старательио обстругаииые доски еще храиили свежий запах древесиый.

На двух сдвииутых вместе скамейках, покрытых чистой холстииой, иа подушке из сухой богородской травы, в белых холщовых портах, в поясе с молитовкой, в смертиых мягких чериых матерчатых туфлях лежал Магара. Большие узловатые руки в старательиой тихости держал крестом иа груди. Две чериых старухи в мериых и иизких поклоиах качались у иог Магары.

Бубиил Егор:

— Обратись, господи, избави душу мою, спаси мя по милости твоей.

Народ входил, выходил, двигался, смеиялся. Живое его движеиье тревожило Магару. Ои приоткрывал глаза. Вскрикивал глухо:

— Ныие отпущаешь...

Взбадривался Егор и громче вычитывал:

— Суди мя, господи, по правде моей и по иепорочиости моей во мие.

Магара сиова глухим голосом перебивал:

— Пошли, господи, по душу мою!

Но трепетали свечи. Все скучливей и глуше голос Егора. Затомился Магара под участливыми, равиодушиыми, печальиыми, затаеиио усмешливыми человеческими живыми глазами. Увидал, что даже семейиые его из избы ушли. Только жеиа, иадвииув иизко иа лицо темиый платок, стояла у изголовья. Взмолился страстией и живей:

— Отпусти, господи, вынь дыханье. Помилуй, господи, раба твоего...

Вирннея дернула Анисью за платье:

— Пойдем домой. Не скоро, видать, он кончится.

Та повела сердито плечом, но охотно за нею вышла. Когда они вернулись сиова к смертному ложу Магары, уже солице далеко от полдня запало. Шестые свечи на божнице догорали. Отдохиувший народ снова в нзбу набился. А Магара все еще живой лежал. Учуял похолодевшее дыхаиье дня, задвигал в тревоге головой по подушке. На долгий миг задержал было дыханье в груди, но выдохнул его шумно и закашлял. Черная старуха иаклоннлась к иему:

— Ты как нудишься-то, батюшка, перед смертью ай иет? Словно как быть не иа смерть, а по-жнвому. Народ затомнлся ждать. Как у тебя по твоему иутру, скоро аль долго еще?

Магара покоснлся на старуху. Не ответил, только бровями досадлнво шевельнул. Ннзенькнй, седобородый Егор прервал свое заунывное чтенье. Повернулся всем корпусом к Магаре, поглядел на него и посоветовал участливо:

— А ты крепше глаза прижмурь. На энтих, на живых-то, не пялься. Думай об своем н дых крепче виутре держи, не пускай. Сожми зубы-те, зубы сожми!!

Безусый, веселоглазый парень в толпе фыркиул. Подмигиул румяной Анисье и сказал:

— Живой-то дух небось ие удержишь! Не ротом, так другим местом выдет.

Смех прошелестел в толпе. Мокеиха впереди охнула. Егор поглядел на народ и строго оборвал:

— Кобелей-то энтих повыгонять бы отсудова. Вредный народ, беда-а. Кончиться человеку в старанье перед богом не дадут.

Загнусил живей:

— Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся...

Но скоро опять к Магаре повернулся:

— Ну-к, полежи маненько без псалмов, Савелий. Чтой-то я заморился, разомнусь схожу. Полежишь?

Магара расправил затекшие руки. Пробурчал:

— Иди... Теперь скоро уж, давно маюсь.

Вирка взглядом с тем парнем веселоглазым встретилась. Не сдержала смеха. Сверкнула зубами и зазолотившимися от дерзкого веселья переменчивыми глазами. Крикнула громче, чем сама хотела:

— Дедушка Савелий, а ты бы тоже слез да поразмялся. Спину, чать, отлежал? А?

Заговорили со всех сторон:

— Закрой хайло, шалава!

— Двинь ее покрепше из избы, дядя Яков.

— Что же это такое, господи? Какие бесстрашные!

— А што? Хоть сдуру, а, пожалуй, правду сказала: встал бы, коль смерть не берет.

— Ты прямо, мил человек, скажи: будешь помирать аль отдумал?

— Савелий, а ты помолись пошибче! Заждался народ.

— Рассердись да помри, Магара! Чего ж ты?

Мокеиха зло, не по-старушечьи звонко крикнула:

— Это Вирка народ всколготила. Блудия окаянная! Святой человечий час и тот испакостила! Уберите ее, старики!

Но смех и разговоры все гуще, вольней по рядам. И откликом с улицы мальчишки озабоченный голос:

— Васька-а! Он се не помират! Айда еще в бабки играть!

Старуха Магары от стыда совсем съежилась. Дрожащими руками платок на голове все поправляла, чтоб лицо закрыть.

«Срам... Чистый срам! Сам обмишулился и народ обманул! Чтой-та теперь будет? Что будет, коль не помрет?»

И жалко мужа было, и зло за сердце брало. Тужился в угодники выйти, дак выходил бы в настоящие, а то на смех на один! Заплакала и закрыла фартуком лицо.

Вернувшийся в избу Егор спросил ее облегченно:

— Помер, што ль? А я и не разберу, с чего народ шумит.

Магара приподнялся на скамьях, оглядел всех большими тоскующими глазами и снова медленно опустился и вытянулся. Смех смолк. Люди затаили дыханье. Лица у всех построжали. Долго стояло молчанье в избе. Магара прервал его. Снова хрипло вздохнул. Опять приподнялся, сел на скамьях. Глаза, загоревшиеся огромным напряженьем страсти, жаркие до жути глаза уставил на иконы. Глазами молился и требовал. Опять

заговорили сзади. Приглушенный смех снова в уши Магары. Тогда он поднялся во весь свой высокий рост. Передохнул всей грудью и пробормотал невнятно:

— Отказал господь в кончине. Пообещал и не послал...

Забегал его взгляд снова по рядам. Будто мешался, искал снисхожденья или участья. Но всюду встречал смеющийся или злой глаз. Тогда двинул ногой сердито смертное свое ложе и крикнул зло и сильно:

— Чего глаза пялите? Мертвечину нюхать пришли? А? Не помру! Айда, чтоб все вон из избы. Говорят вам... мать, не помру!

Изрыгнул крепко забористую матерщину и посыпал часто крутые похабные слова одно за другим. Глаза покраснели, будто разбухли от гнева. Кулачищами крепкими замахал. Визгнула во дворе напуганная дочь Магары. С воем из избы к ней другая порченая баба кинулась. И с ахами, взвизгами, криком подались все бабы из избы. За ними мужики с гоготом, с ответными забористыми словами. Старики с укоризненной воркотней, но с веселыми от тайной усмешки глазами. Быстро пустела изба.

Обрывисто, будто давясь наплывом злых непристойных слов, ревел Магара:

— К чертовой матери!.. бога!.. богородицу!..

Сдернул со скамей холщовый покров, скомкал яростно, в угол закинул. Сильным рассерженным дыхом потушил лампадку и свечи.

На дворе еще шумел народ.

— Чисто матерится старый хрен.

— Натосковался в молитве по легкому-то слову.

— Господи, батюшко! И как теперь отмолит? И чем экий грех перед богом отслужит?

Красный, потный зять Магары, выпучив глаза, во дворе народ упрашивал:

— Разойдитесь, православные! Богом прошу, уходите со двора. Уж такой нам страм! Уж такая обида! Лег бы тишком да попробовал, помрет ай нет. А потом бы народ уж скликал... Уйдите, старики, для-ради Христа. Лучше завтре придите нас страмить. Нынче не в себе он. Вам-то что? Отстрамили да ушли! А нас он вполне обязательно изувечит со стыду.

Молодежь свистела, приплясывала на улице около дома. Надрывалась в выкриках:

— Когда еще позовешь, Магара? А? Когда приходить?.. Кутью сварим, блинов на поминки напеке-ом...

— Только гляди больше не надувай, а то сами тебя за надувательство в гроб укладем!

Как иаш Магара, чертов зять,
Собирался помирать,
Да к вечеру отдумал
И начал свою мать
Крепким словом поминать...

Магара стукнул кулаком по подоконнику так, что задребезжали стекла раскрытых рам.

— Убью-у!.. Уходите, сволочи... Ну-у?

Втянул голову в плечи, готовый к яростному прыжку. Взмахнул руками. Выставил в окно иссиня-багровое лицо с налитыми кровью глазами. Толпа от избы шарахнулась...

На улицу, на дворы, на окрестные поля н горы уже легла благостиая ароматная темнота. Бабы тревожно выклнкали мужей и детей. Со смехом н бранью расходнлись людн. Магара тяжело сел на скамью меж окон. Уроннл взлохмаченную голову на руки н дышал тяжело и трудио.

С тнхнм медленным скрипом приоткрыла Грнгорьевна дверь. Старое сердце встревоженным голубем металось в грудн. Слово с языка от нспуга не шло. Но огромная жалость толкала к мужу. Вошла. Магара медлнтельно, с большой усталостью сказал:

— Дай мие другу-ую одежу... И... посто-ой! Велн Дашке самова-ар наставнть.

Но чай пнть не стал. Выпнл жадно трн ковша холодной воды. Спросил угрюмо и глухо:

— Где же зятья-то с бабамн?

— Одни-то уехал, а эти тут, во дворе, в телегах спать полеглн. Боятся в нзбу...

— Ладно, пущай там переспят.

— А ты-то, Савелнй, как?— Оробела и чуть слышио закоичнла:— За село-то к себе не пойдешь?

Не ответил. Сильно и слышно ступая по полу босымн ногамн, прошел к старухнной постели. Деревянная кровать скрнпнула, как охнула, под большой его тяжестью. Старуха, вздыхая, стала укладываться на скамье под окнамн. Но Магара громко н отчетливо позвал:

— Ложись со мной.

И на шестом десятке лет, лютуя в грехе, как лютовал в молодые свон года, без слов, жестокой зверниой лаской всю ночь ласкал

и тревожил развяленное старостью женино тело.

А на утренней заре вдруг заплакал без слез и без слов глухим маятным воем.

— Савелий... Савелий!.. Смирись, сжалится господь! От гордыни от твоей шибко уж тебя обида пробирает.

— Молчи!

Сорвался с кровати и встал среди избы — большой, лохматый, нескладный.

— Молчи, баба! Не твоей мозгой понять!.. Молчи! В грехе дожививать буду! В блуде, в пакости, в богохульстве!.. Душить, убивать буду! В большом грехе. Не допустил в великой праведности к ему прийти, грешником великим явлюсь! На Страшном суде не убоюсь, корить его буду!..

И бушевал опять до самого солнца восхода. Утром ушел из дому. До пасхи пропадал. На второй день праздника явился пьяный и буйный. С того дня в блуде, пьянстве, в драке первым в округе стал.

VI

Третий год здешнюю степь все меряют. Второй год горы рвут. Землю, песок, дерево, железо возят. Роют, сыплют, насыпают, над дорогой железной колдуют. А езда по той дороге еще через три года не то будет, не то нет.

Постройщики-господа от войны здесь хоронятся. Не торопятся, видать, строить-то. Только и понастроили, что инженерам всяким хоромы. Бараки унылые, плохо ско-

лоченные, да землянушки рабочей голытьбе из беженцев понаставили. Писальщикам, считальщикам своим готовые хорошие дома по всем деревням под конторы понакупали. Матвей Фадеев не зря теперь кряхтит:

— Станции да дистанции, а для мужика все одна надуванция!

Спервоначалу он постройкой доволен был. Крестьяне за продукты цену неслыханную брали с постройщиков, хорошо наживались. И не один Матвей тогда радовался. А теперь вот опять не только он, одноруким вернувшийся с войны и оттого нерадостным и на все плохое приметливым, а и другие, старики и молодые поосновательнее вздыхать начали. Деньгам от инженеров,— все постройщики повыше десятников под одним названием «инженеров» в округе ходили,— так деньгам тем, инженерским, не рады. Дурные деньги дуром и идут.

На участках дошлый приезжий из городов народ чайных понастроил. С граммофонами, с кислушкой пьяной в чайниках, с едой, по-городскому приперченной, в новинку для мужика примачивой. С той еды с пьяной запивкой на бабу, такую же приперченную, позыв. Шлюхи с разных мест к тем чайным понаехали. Дурная деньга — вот на это и тает. Мужики, даже из пожилых, степенных, позашибались. Польстились на образованность городскую. А от шлюх да от господ, дорогу строящих, хворь стыдная приметно по округе распространилась. Бабы в соку затомились в войну без мужьев. Девкам женихов нет. А лета им уж такие, что плоть своего дела требует. Пост-

ройщики с усладкой, с подарками, с охальством зазывиым городским. И смеиила баба ие только обряду свою иа городскую короткую, облипучую, а и поведеиие совести своей. Блудлива стала. На грех с мужиками чужими податлнва. Ижеиеры у докторов своих подлечиваются. Деревеиским, пока в лежку ие лягут, этим заииматься иекогда. Не разъездишься в больиицу от хозяйства, от земли. Вот и гииют мужичьи костяки. У миогих теперь, если посчитать. Солдаты тоже порчеиые из городу, бывает, приходят. Хиреет иарод деревеиский и от войиы, и от постройки. Еще от блуда и от тревоги. А в других местах мужиков с корием вытащили. Совсем от дела мужичьего оторвали. Недаром в видеиье Магара подводы видал. Чужой народ, белесый, рыхлый, на поворот мешкотиый, из дальиих губерний сюда перебежал. Хоть и плоховаты перед здешними, а все иа своей земле трудились, добывали. Теперь же по углам у здешиих мужиков, в бараках да земляиках иа работе иепривычиой маются, перебиваются с воды иа хлеб. Плохо кормятся от постройки. Войиа крушит, и постройка вредит. Оттого у деревеиского жителя, мужицкую невзгоду понимающего, к постройке, как к войие, одио отиошеиие: скорей бы коичалась. И к инжеиерам, постройки иачальникам, враждебиое иедоверие.

И Вирку оио от чериявого статиого бариа отшнбало. Чужой и вредиый нм, мужикам. Здоровым желаиьем своим тяиул к себе. Тревожлива неродящая баба. И два раза во сие жарко с иим миловалась. По ночам всегда вспомииала, а днем иа те

мыслн ночные тайные гневалась. Протнвен инженер становнлся. Оттого, когда вышла за водой н близко к бане во дворе его увидела, сурово сказала ему:

— Ты, барин, не крутись тут. Нехорошо для мужчины, даже совестно. Какое твое дело тут?

Он обшарил загоревшимися глазами открытую в рубахе с рукавами короткими стройную шею редчайшей белизны и такие же белые выше грубых кистей тонкие руки, голые от короткой исподницы худощавые ногн. Сказал приглушенным, но жарким голосом:

— Я этой стирки твоей, как праздника, ждал. Люблю, хочу тебя, Виринея. Слушай...

И, протянув жадные руки, ближе к ней подался. Криком сердитым и резким оттолкнула:

— Ну-у!.. Не лезь!

И блнзко мимо него к бане прямая и строгая прошла. В дверях сказала:

— Ты меня не замай! Еще к бане подойдешь, кнпятком ошпарю. Лежать под собой других ищи, сговорчивых. Мне ты не нужен!

И дверь в предбанник плотно прнтворила. Когда уходил шаткими, ослабевшнми сразу ногами, во дворе двух баб хозяйских встретил. По глазам и поджатым губам узнал, что видели н весь разговор его с Виринеей слышали. Покраснел жгущнм щекн румянцем. Сердито рявкнул:

— Где Петр? Лошадь мне надо.

С ночевкой на постройку уехал. Деньги за стнрку Внринее через хозяйку квартирную передал.

Но на пасхе, когда кружился во хмелю

от кислушки, пьяного квасу и чрезмерной праздничной еды народ, случайно на улице встретил Виринею. Хотел мимо пройти, сама окликнула:

— Что мимо глядишь, не привечаешь? То больно прилипал, а то сразу засох? Айда на разгулку со мной, барин пригожий!

Поглядел и остановился. В светлом ситцевом, по-городскому сшитом платье, веселая и свежая, как березка в троицу. А глаза — будто хмелем затуманены. Лицо зарумянившееся, жаркое, грешное, и голос хмельной.

— Виринея... Вира-а!

— Ну, айда, айда на молоду зелену травушку в степь гулять, на пригорках отдыхать. Шибко желала я седни тебя повстречать, так по желанью моему и выпало!..

Одним прикосновением руки к плечу властно повернула его. Пошли рядом за село. Не смотрела, примечают ли люди. Легко шла, неумолчно, как в опьяненье, говорила:

— Я ныне бесстыжая и разгульная. И не от пьяного питья. Из стаканчика чуть пригубила. А так, от дню веселого, от духу вольного, от зеленой травы. Ходуном во мне жилочки ходят и сердце шибко бьет. Э-эх ты, думаю, все одно сгнивать, пропадать! Хорошие-то годы из бабьего веку своего плохо прожила, а теперь што?

— Виринея... Вирка моя милая! Красавица! Право, ты пьяная. Скажи, где напилась? По гостям, что ль, ходила?

— Ну да, пьяная, да не от питья. Я ж тебе сказываю. Зря брехать не люблю, а ты мне не муж, не отец, чего мне тебя стыдить-

ся? Кровь во мне седни пьяная. Нет больше иикого желанного, об тебе вспомнила. Третий раз мимо квартеры твоей иду.

— Милая!

Были уже за селом. Апрель дышал зеленой, радостно-молодой травой, пахучим легким ветерком, сладостной прелью ожидающей вспашки земли и юной синевой легкого, ведушиого неба. Заглянул в золотые, сегодня мутной истомной дымкой затянутые глаза, схватил за плечи, прижал плотно к себе и в долгом неотрывном поцелуе приник к неярким, но жарким губам.

— Подожди, отпусти на передышку. Ой, мутно в голове. Сладко ты целуешься, барин. Как звать-величать тебя, сейчас позабыла. А целоваться с тобой и без имя, без величанья еще охота. Н-и-ну... Пусти еще передохнуть!

— Вира, дорогая ты моя. Какое наслажденье! Ах, какая ты необычайная! Не первую тебя целую, а...

— Сядь, я у тебя на коленях полежу, вздохну. Вот эдак руку-то подвинь. Погоди, не томи, не гладь! Шибко сердцу тесно, дай отдохну. А-ах! Мужики, как мухи, знают, где сладость. Пусти-и!..

— Вира, Вира... Ну, почему? Вириней... одну минуту... Ну-у?.. Зачем ты... Ведь и тебе, тебе я не противен... Ну, дорогая моя, сладкая моя, м-милая...

— Не тревожь, говорю! Осло-обони!.. Все одно... все одно... согласна я... Седни люб ты мне. Не-ет... Вздохнуть дай! Шибко сладко, дыхну-уть невмочь... Выпусти-и, дай вздохнуть. Погоди, не це-елуй!..

И вдруг чужой, третий, враждебный, обидой, болью перехваченный голос:

— Вирка-а! Паскуда!

Сразу расцепились, поднялись, Василий с багровыми пятнами на скулах, в трясучке от боли и гнева, со сбитой набок старенькой фуражкой на голове.

— С барином! Паскуда ты, скверновка! Средь бела дня, как сука!

— Постой-ко, гнусь дохлая! Не ори! Не жена венчаная тебе, а гулена. Отгуляла — и ушла. Пошто вяжешься? — побледневшая, строгая, в упор на Василия глядя, без испуга спросила.

— Пошел отсюда! Какое ты имеешь право за ней следить? Каждый шаг...

— Помолчи, Иван Павлович!

И улыбнулась бледной короткой улыбкой:

— Видишь, как нужный час пришел, имя твое с величаньем вспомнила... Не кричи, не расходуйся. Иди-ка домой, а я с Васькой сама поговорю.

— Нечего тебе говорить. Убирайся, мерзавец! А то я...

— Сама поговорю. Слышишь? Ты уходи. Я к тебе завтра ввечеру приду, не обману. А сейчас уходи. Надо с Васькой мне самой говорить.

— Не об чем мне с тобой, сука, говорить! Пришибить тебя надо, погань, распутницу!

— Ну, коль сила да охота будет — и пришибешь. Уйди, барин. Гляди не послушаешь в этом, я совсем по-другому поверну. Как с Васькой.

— Я не могу тебя одну с ним оставить.

— Не можешь? Не хочешь, как я тебя по честн, по делу нужному прошу, так отвалнвай совсем. Васнлнй, прнходи в Аннсьнн двор. Слово у меня для тебя есть.

— Вринея, но это же не нужно, ты сама не знаешь...

— Уйдешь, барнн, илн нет?

— Я отойду. У села тебя подожду, только напрасно ты...

— Уходн! Право, хуже делаешь...

— Иду. Скорее только, прошу тебя. Вон там ждать буду.

Пошел вперед, оглядываясь.

— Идн, ндн. Я скоро. Слово надо сказать.

Когда ннженер далеко отошел, сказала провожавшему его волчьнм, несытым н злым взглядом Ваське:

— Васнлнй, ногн у тебя трясутся, спнна гнется, не выстанваешь, сядь-ко.

Усмнренный ласковостью голоса н жалеющнх ее глаз, опустнлся покорно рядом с ней на траву.

— Васька, жалею я тебя, чнсто ты не полюбовннк, а сын мой роженый. Вот право слово, шнбко жалею! И когда ругаюсь, крнчу на тебя, все для того, чтоб полегче тебе от меня отлепнться было.

— Внрка, жалеешь, а зачем ушла? Зачем блуднщь с другнмн?

— Ишь ты как нз-за меня маешься! Аж словно дых перехватывает. Зря это, Васька. Ничего мы с тобой теперь не рассуднм, не определнм. Без твоей, да н без моей воли так сделалось, што в раздельностн мы, н ннкак нам теперь вместе не быть.

— С барами в сладком житье баловаться захотела? А? С того самого...

— Барин этот — так... Под час подвернулся. Не серчаю я на тебя, что укорить хочешь. Жа-алею! С горя это ты, а сам знаешь, другого я хотела. Честного житья и деточек от мужа в род, в семью рожен-ных... Сейчас подумаю, сердце зайдется. Ну, не так мне пришлось, дак... Жалею я тебя! По частому делу об тебе думаю. Хучь плохой, да первый ты мой с девичества...

— Жалеешь, а жить со мной не желаешь... Разве так-то, с господами в блуде, лучше? Вирка, чать сама ихнее господское сердце к нам знаешь... И чего ты?

— Помолчи, Василий! Все знаю. Говорю, так, в бабий час, барин подоспел. А тебя жалею, шибко, часто жалею, ну, а к телу подпущать тебя неохота. Не серчай, не вольна я в этом деле.

— Дак чего ты меня мутишь? Чего еще разговоры разговариваешь?

— Васютка, родненький ты мой, незадачливый мой!..

— Ну тебя с присловьем с твоим! Схилел от простуды в грудях, а ты со мной, как с юродивым... Эх, Вирка, недоброе сердце в тебе живет!..

— Нет, доброе, только без обману, без лукавости! Всю думку выдает. Жалко мне тебя, крепко жалко, а не люб ты мне. Кабы тебя не было, я бы с этим барином еще раньше...

— А сейчас все слажено?

Усмехнулась невесело:

— Нет, опять ты помешал! А сейчас думаю, што и совсем без него можио.

— Вирка, вернись к иам в иашу избу. Я слова не скажу... Ни словом, ии глазом ие попрекиу!

— Нет, иевмочь мие, Василий. Я к тому говорить тебе стала: поиатужься, забудь про бабью плоть, отдохии. Хилой ты, а жадиый. Зачем? Отдохии. У меия бы сердце за тебя полегчало. От бога отшибло меия, а вот про тебя думаю: может, в моиахи тебе податься, а?

— Ах ты, стерва, сволочь! Тебе блудить, а меия в молитву толкаешь — сушиться? Я тебе покажу-у!..

— Отдвииь! Убери, говорю, руку-то свою. Меия ие осилишь. Видать, иету с пользой слова у человека, когда делом помогчи силов иет. Айда по домам. Не об чем больше говорить. Всяк по-своему, по-старому маяться будем.

Встала и пошла.

Взмолился:

— Вира... Вирииеюшка! Одиа ты желаииая...

— Не каиючь! Чего иадо тебе — иету у меия для тебя. Жалости моей ие прииимаешь. Чего же размусоливать?

Пошла к селу быстро и легко. Васька было за ией кииулся, потом обзем ударился, лег в свежую волиующую землю лицом и затих.

Вирка у околицы иижеиера встретила. Быстро кружил, в жарком нетерпеиье вышагивал. Сказала ему сухо:

— Иди домой, Иваи Павлович. Неохота

мне сейчас с тобой мнловаться. С Васькой растревожнлась.

И холодными протрезвевшнмн глазамн в лнцо его поглядела.

— Вира... Но ты прндешь? Ты обещала мне...

— Пообещала в дурной, иерассудливый час. Еще такой иакатнт — может, н прнду. А все-такн не жди. Облюбуй себе другую какую. Не ходн за мной, мне в другой конец.

Дома рвал и метал. Деревеиская баба, н так нм вертнт! Невозможно, противно, уннзнтельно! К черту, к черту ее!

Сел на коня, верхом в участок к образованым своим знакомым поскакал. Но н со свояченнцей начальннка участка, и с учнтельинцей, молодой горожанкой, не развеселнлся. Сумрачен был, н сердце томнлось нежной, тосклнвой любовью к Внрке.

А Васька долго за селом лежал. Темнеть начало. Холодком проняла еще не распаленная, выстывающая к вечеру апрельская земля. Но встать трудно. На теле — как путы. Сердце будто в обруче тесном. Тяжело дышать н немнло глядеть на божнй свет. Подняться заставил густой хрнплый пьяный голос:

— Это што за п-падаль валяется? А?.. Живой? А я думал...

— Это я, дядя Савелнй... Отдыхал.

— «Я... я!» Вижу, что ты... Повнтухии, что ль, отродыш? Ыгым... узнал. Выроднла молодца ведьма ласковая. Ну, что стоншь? Проваливай.

Потом, вспомнив, крнкнул отходнвшему Ваське:

— Кержачку твою с инженером видал... Вздуть за тебя хотел. Не за тебя, а за барина того. Не то вздую,— убью-у! Не ее, а барина. Вальяжный больно, а блудник. Мужик с тоски грешит, а этн с сытости. Н-не люблю! Убью-у!..

Васька вернулся, с тоской сказал:

— Дядя Савелий, дядя! Избей, ей-пра, избей когда-нибудь! Грех от них и обида. Большая обида! Я бы сам избил, да хворый я. Силы нет у меня в руках. Эх, что ж ты сегодня не поучил? Средь бела дня прохлаждаются всем людям напоказ. Э-эх!!

— Взгомозился как! Чужой силой отбиваться охочи. Ну и подлец человек пошел! Чего раскорячился? Уходи! Неохота мне тебя бить! Неохота... Тебя ногтем надо давить... Ну? Могу и побить! Уби-ить могу! А, бежишь, испугался!.. Тоже крепко за землю держишься! А я не держусь, она меня держит... Убью. На этого руки зудят!! Энтих бить буду! Не желаю их тут!.. Девок наших портят... Убью!

Василий бежал заплетающимися, слабыми ногами. Одним прыжком мог догнать его Магара. Но громко сплюнул и пошел в другую сторону.

Через неделю ночью возвращался инженер верхом с участка. Было уж близко село, и он ехал шагом. Поводья в руках чуть держал в тоскливой рассеянности. Не хотелось возвращаться в большую, пустую и скучную комнату свою при конторе. С утра сегодня томило его совершенно новое ощу-

щенье тоскн. Не думал о Виринее, нн о ком, ни о чем определенном. А просто ощущал почтн физнчески груз какой-то на себе. От этого груза иескладиая тоска. До жути.

«Заболел я, что лн? Илн с ума схожу... А-ах, дышать трудно...»

Объезжал работы. Десятники дивились иепривычиой его рассеянностн и вялому, сгасшему взгляду. Дома одни сидеть ие мог. В гостях не отпустнло томительное ощущенье. Гнал быстро всю дорогу, домой спешил. А подъезжать к селу стал, назад повернуть захотелось. Размяк как-то весь, опустился.

Вдруг лошадь взметиулась на дыбы. Инженер вылетел нз седла; на ногн встал быстро н легко. Лошадь неслась в сторону от дороги.

— Стой! Тпру-у!

Хотел кинуться догонять. Но вздрогнул сильно, всем телом, сам — и остановился. Огромный лохматоголовый мужнк вырос перед ним. Будто виезапио родился из темноты.

— Раскатываешь? Разгуливаешься? Сукин сын, сволочь! Для разгулки здесь поселен? Штобы девок портнть, баб хороводнть сюда прислан? А?

Услышав хриплый, страшный, но живой человеческий голос, ннжеиер взбодрился:

— Убери руки, негодяй! Лошадь испугал. Прочь с дорогн! Что тебе надо от меня?

И торопливо вынул из кармана черный, короткий, но крепкий револьвер.

— А ну вдарь... Пошнбче вдарь! Стреляй! Я те кулаком дам острастку! Учуешь,

каково легко убить Савелья Астафьева Магару. Ну?

— Пусти... Пусти-и руку, пьяный черт! Ну-у?

Выстрелил в воздух, но в тот же миг зашатался от удара в висок тяжелым кулаком. Покачнулся, взмахнул руками, заплясала темнота перед глазами. Но на ногах выстоял. Револьвер из рук выпустил.

— А, мерзавец! Драться вздумал?!

Вцепился одной рукой в бороду Магары, рванул с силой, вырвал вторую руку и с яростью стал отбиваться от ударов. Старался дотянуться до земли, чтобы поднять револьвер. Но Магара придавил его и свалил совсем на землю.

— Сильный... ч-черт! Отъелся на хороших харчах. А вот... вот... Еще получи! Отбиваться? Н-нет... от Магары не больно отобьешься. Что сердце, что рука... и-на! Получи!.. У меня чижолые! А н-ну... р-раз!

Рукояткой схваченного с невероятной быстротой с земли револьвера Магара ударил с силой в затылок инженера. Тот дернулся в живом последнем вздроге, молниеносно и остро ощутил запах земли и какой-то близкой ароматной травы, без мысли, ощущеньем, ярко увидел или вспомнил что-то, о чем надо крикнуть, что надо выдохнуть. Но не крикнул и не дохнул. Остался лежать на дороге недвижный, невидящий, неживой. Опустошенный мешок человечий.

— А, готов! Убил... Еще убью-у! Не с того, што хилой тот просил... Д-да...

Крепко и крупно шагая от трупа, бормотал глухо невнятные слова. Не то каялся,

ие то торжествовал и грозил. Но шагах в десяти вдруг остановился, застонал, швырнул с силой в сторону револьвер и бросился бежать. В степь, дальше от села. Бежал быстро, но зорко видя все вокруг и слушая темноту напряженным ухом. Как убегают от неволи или от смерти.

VII

В свой срок залегла зима. Деревня завернулась в снега, в короткие буранные или морозные дни, в долгие ночи с томительным тяжелым сном в закупоренных избах.

Порядок зимней жизни мужичьей был прежний. Только мало свадеб играли.

По ночам, когда на высокой горе за селом, в степи за горой, на реке и в лесах творилось холодное торжество снянья белых снегов и тишины, деревенская улица попрежнему нарушала это торжество буйством гармоники, песен, женских криков и вдохновенно-яростной брани. Но совсем мало осталось на улице холостежи. Кружили на ней в невеселом разгуле бородатые семейные люди в годах и прибывшие на побывку солдаты.

Было больше драк, лихого свиста, бабьего визгу, но рано затихала гулянка, и девки возвращались домой нерадостные. Гульба не тревожила спящих в домах. Только в школе на выезде пугливо вскакивала с постели новая учительница, молоденькая горожанка. Осматривала болты ставень, крючок у двери и плакала. Да Мокеиха в своей избе

ругалась, вздыхала и молилась. Скорбь и боль отшибали у нее сон. Опять одна зимовала. В острог взяли Ваську, хоть в день убийства инженера и всю ту ночь разбитый хворью Васька лежал. Оправдаться легко было, но сам Василий в перепуге запутался. На Магару хотел подозренье высказать, а вышло, что сам Васька на убийство Магару подговорил. И чем больше допросов, тем хуже. Совсем запутался. В поклепе на Магару стало начальство сомневаться. Так и умер Васька в остроге завиненным.

Акгыровцы про Магару и верили и не верили. Но никто не хотел, чтоб его поймали. Тогда снова начнется канитель. Акгыровских и так замаяли допросами. Теперь затихло дело. У инженера родных, видно, нет. Никто, кроме начальства, разыскивать убийцу не старается. Как умер Васька, ничего не стало слышно ни про следствие, ни про суд. Только охрану на постройке усилили. Инженеры стали тоже опасаться. Зря в поздний час остерегались раскатывать.

Вирку скоро обелили. Из города прислали как беспаспортную под здешний надзор на родину. А теперь, слышно, и документы есть у нее. Родня, понятно, к себе ее не приняла. Да она и сама не охотилась. На постройке работать стала. Зимой постройка на многих участках остановилась. Но около Акгыровки гору пробивали, туннель проводили. В бараках с беженцами Вирка теперь живет. Шибко гулять начала. Каждый праздник пьяная и буйно веселая. Между бараками за деревней своя улица. На ней пляшет, песни поет и с мужиками разгульными и с рабочими

гуляет. Господ, на диво всем, не допускает к себе, хоть многие из них любопытствовать стали. Сам земский приезжал в кухарки нанимать. Она к нему и разговаривать было не пошла. Силком притащили. Поглядела на него с усмешкой, пригладила растрепавшиеся волосы и сказала:

— Ты — начальник, тебе сила дадена. Только не на меня. На меня, барин ласковый, теперь управы нет никакой, потому что мне уж все не страшно. Не пойду к тебе. Не застращаешь, не желаю.

Это при троих мужиках да при уряднике. У земского краска в лицо пятнами кинулась. Сам себя в расстройстве за светлую пуговицу дернул.

— Что за околесицу несешь? Я и не думал грозить или звать насильно. Мне кухарка опытная нужна, вот и указали на тебя. Прошу прекратить глупые эти... возгласы. Не хочешь наниматься, не надо! Я думал, ты нуждаешься в работе.

— Работы на наш горб хватит. Вашему брату из-за работников за столь верст колесить не надо. Под боком найдутся, на слушок сами издаля спину свою притащут. Не ходит ведь хлеб за брюхом, сказывают. А я тебе не на работу, а на усладу...

— Пошла вон, дура! Такая дерзкая, скверная баба! Ты у меня смотри!..

Отозвалась от дверей. Не зло, а так — будто сама с собой говорила в раздумье:

— То-то, говорю, смотреть нечего. Ни тюрьмы, ни сумы, самой смерти теперь не боюсь. А тебя ославлю не по-хорошему. Заступников себе, коль захочу, найду. Вид-

ио, медовую больио мать меня выроднла: и городские начальиики липиут. Не топочи, ухожу!..

В большом расстройстве уехал. Думалн: конец Вирке. Сошло. Начальинк и тот вязаться с ией побоялся. Илн забыл. Слышно, докторицу молодую в больиице облюбовал, с ией утешился. А Вирку для услады в прислуги наннмать еще однн барии приезжал. Из дальиего участка, иад миогнмн ннженерами главиый. Строгий, с седиикой, господии иастоящнй, чистей всех здешннх господ одетый. Руки держит так, будто замарать о других людей боится, н голову высоко несет. А к Вирке ласково, с усмешкой в усах, подсыпался. Вирка сразу его ие отшибла. Спросила:

— А сколь жалованья положишь?

— Я, право, не зиаю... Скажите, какую сумму вы счнтали бы достаточиой? Готовить вы умеете и вообще... Моим требованиям, кажется, удовлетворяете. Я люблю хороший стол и аккуратную, чистеикую, здоровую прислугу.

— Это уж как есть. Видала господ-то,— чую, что вам надо.

— Ну вот. Очеиь рад. Я ие скуп. Вам согласен платнть двадцать рублей ежемесячио. Ну, разумеется, иа всем готовом. Только предварнтельио я вас попрошу сходнть к врачу, нет ли у вас чесоткн или еще какой иифекции...

— А семейство ваше сколько человек?

— Я одии, без семьи на постройке. Вам не будет тяжело.

— Какая уж там тяжесть, одна сладость

выходит. А прежней-то своей стряпке столько платили?

— У меня повар военнопленный. Да вы не беспокойтесь: я говорю, что не скуп. Ему платил десять, а...

— Мне, стало, за бабью мою плоть десятку прибавки. Эх ты, лафа бабам! Ну, я гляжу, у черного народу совесть потвердей господской. Жидка она у господ, са-авсем жидка...

— То есть, позвольте... Я не совсем вас понимаю... Как?

— Из ученых ученый, а непонятливый. Семейство у него есть, а бабу-гулену не для блуда, а для святости жить в свой дом зовет! Нашинскому, из черного народу, совесть не дозволит про эдако дело голосом даже таким договариваться. Вот с того и мутит меня от вас. Эх вы, господа! И в пакости — чисто в святости. Это только низкий народ грешит, а вы и в грехе спасаетесь. Я те разумытую харю твою разделаю. Навек отметины останутся! Я те приголублю, старый хрен! Не крича-ать? Эй, бабы, айдате в эту горницу! Скорее айдате, поглядеть, как господа... Не бежи, растрясешься, навоняешь! Шкодить охота, дак ты так и сказывай, а не сиди с хорошим лицом, чисто хорошей жизни старатель.

Господин после рассказывал, как он от сумасшедшей спасался. С придыханием, сразу теряя важеватую манеру свою:

— Это удивительно! Положительно буйное сумасшествие! И притом эротомания... Удивительно — в простой среде такая изощренная... эротомания.

В деревню Вирка не ходила. И деревенские от нее сторонились. Баба такая, что лучше подальше от нее. Еще в какой-нибудь суд да следствие втянет. При встречах без разговоров и приветствий обходили. Только Анисья одна, бабенка отчаянная, раз из-за нестерпимого любопытства к Вирке в бараки в праздник прибежала.

В недлинные два ряда вытянуты бараки, похожие на кирпичные сараи. Маленькие слепые окна на самой земле. Теперь снегом чуть не наглухо забиты. Отрывать приходится, чтоб не сидеть и днем в темноте. Скаты у крыш крутые и остроребрые, как у скворечниц. Рухлядишка домашняя прямо на воле за бараками валяется. Дворов нет. А поодаль недостроенный высокий дом для будущего полустанка.

Пустыми, без окон еще, глазницами своими на норы человечьи пялится, крыльцом без дверей щерится. Около него на бревнах сбились кучкой мужики-беженцы и три военнопленных в чудных коротких шинелях, а поодаль — бабы. На солнце в нынешний теплый день из щелей своих повылезли. Анисью оглядели прищуренными от яркого снега глазами. Между баб живой говорок пробежал:

— Здравствуйте-ко, бабыньки! И где тут Вирка нашинская живет?

Молодая беженка, с головой, как колесо, от чудной нездешней повязки, из платка остренькое лицо выставила и засмеялась:

— За бараками, с той стороны пошукай. Где пляс да гулянка, там и живет.

Но Анисья зоркими глазами уже видала

далеко впереди Вирку. У барака стояла. Когда Анисья подошла, не услышала сразу. В сугробы, в степь смотрела. Лицо у ней было суровое. Бороздинка меж бровей резко обозначилась. Будто искала глазами чего-то в сугробах тех. Не нашла и шибко оттого растревожилась. Шубенка на ней была старая и платчишко на голове потертый, замазанный. Анисье неласковым ответила голосом:

— А-а, здравствуй, коль не шутишь. Чего пришла?

— Ишь ты, как заспесивилась! Поглядеть пришла, как живешь в развеселом-то житье. Чего башку воротишь? Я к тебе с хорошим словом, как бывалыча, а ты рыло в сторону. Другие-то бабы плюются, как кто заикнется про тебя, а я...

— А у тебя слюней мало! Жалеешь? Чего ты, Аниська, прибежала ко мне? Поглядеть да потом языком чесать? Ну, гляди. Не впервой видишь. Какая была, такая и осталась.

— Нет, не такая. Поплоше и злее. Зря ты так-то со мной! Видно, девка, не сладко тебе и тут. Чтой-то ты обряду-то себе хоть не справишь? И в бедном житье ране почистей ходила.

— А кому обряда-то моя нужна? Да не больно много капиталу у меня, чтоб наряжаться. На харч достает, и то ладно.

— Вот, Вирка, с богом-то спорить как! Охальничаешь перед ним, не молишься, не каешься, он и забижает тебя. Нету тебе долюшки, так катает тебя по разным местам. Э-эх, горькая твоя жизнь, баба! Право,

горькая. Я позавидовать было шла, а теперь гляжу — плохо живешь.

— А ты больно хорошо? Все под богом плохо живут, Анисья. Каждого своя ржа ест. И который говорит, что хорошо живет, только топырится для веселости, об жизни об своей думку подальше загоняет, штоб не точила. Вот как ты.

— Чего это я плохо? Слава богу, в достатке и в своем угле. Без слезы, без хварьбы, знамо, живой не живет. Разве, может, господа, а наш брат не живет. Ну-к што ж? Я хорошо живу.

— И господа на таких же дрожжах, как мы, всходят. От бабьей да от мужичьей плоти. И у них печенка человечья тревожливая. Плачут и хворают. Как не плакать и не хворать? Только продовольствия себе много захватили, дак в сытом житье живут. Плакать-то плачут, да только от зряшного. Нам бы сейчас на их кус, дак мы бы ие плакали.

— А что, Вирка, вот с того я и думаю: будто ты от роду и не дурочка, а по-дурьи все делаешь. Про господ вот... Ведь как сказать, слух у нас в деревие есть, что ты на гульбу охотлива. Дак, по крайности, гуляла бы с умом, достаток бы наживала. Вот и пожила бы в господском житье. Вот из Романовки Мотька-то в город подалась, в хорошем заведении живет, дак у ей платья шелковые, кольцо золотое. Приезжала на роздых, хвасталась. Да и здешние-то, которые около инженеров кормятся, погляди. Што тебе обувка, што одежа, — завидки берут глядеть! А ты... Посмотришь, и прямо жалко. Ей-пра, жалко. Все одио, коль на то дело

пошла, дак, по крайности, с пользой бы. Господа-то к тебе как льнут.

— А ты што же со своим австрийцем без пользы спишь? Тоже взяла бы да наживала на этом деле.

— Ат сравняла! У меня дом, хозяйство не порушены, и на улке петь — пою и плясать — пляшу, а на гумно лежать с разными не хожу. Астриец што ж! Грех мой один. А так я венчанная мужу жена, детям мать и дому хозяйка. И всяк скажет: пакостлива бабёнка, а шлюхой не назовет.

— Зовут. Я слышала, да ты и сама слыхала.

— Дак то со зла когда, а все одно мир меня за мужнину жену почитает, кличет по мужу, и я вровень с другими бабами иду. Не то есть грех, не то нет, — еще бабушка надвое гадала. Никто меня за ноги не держал. А если я тебе сама што болтала, дак, может, так, для веселости задуривала. Поди-ка докажи! А твое дело другое: все напоказ. И с Васькой, и с инженером с этим, и теперь. Не хочешь, да видишь. Одна такая во всей деревне, как бельмо на глазу. А на славу на такую шла, на страм перед людьми, дак уж за чего-нибудь, а не дарма. А деньги, да одежу, да домашность заведешь, дак и при твоей жизни другим глазом мы на тебя глянем. За спиной скажем потаскуха, а в глаза: Авимовна. Нет! Нет, Вирка, зря ты на меня косоротишься. Я тебе для твоего же добра советы даю. Другая так с тобой говорить не будет, а у меня сердце ласковое. Я никому зла не желаю.

— Ну, а у меня, Анисья, на эдакую ласку

сердце неохотливое. Не жалей и не советуй. Иди-ка, баба, домой, гуляй себе по-своему, а меня не замай.

— Нет, не будет тебе доли. Ох, не будет! Больно уж занозиста. Высоко себя несешь, а все в дерьме хлюпаешься. Стой, стой!.. Еще на словечко одно.

— Еще не все выболтала? Много их у тебя. Такой же дешевый товар, как и ласка твоя. Чего тебе надо?

— Чего ты от господ шибко отбиваешься? Вот я никак не смекну. Желанного одного и середь мужиков у тебя нет. Ай по Ваське мозглявому после время сохнуть зачала, ай тот барин чем шибко изобидел, а?

Вирка скривила губы, глянула в любопытные Анисьины глаза и крикнула злым высоким голосом:

— Уходи, трепалка долгоязыкая! Не тебе на духу буду выкладывать, кого жалею, с чего пропадаю. Ну, повертывайся! И дорогу ко мне забудь. Был час, когда и ты мне мила была, а сейчас никто не мил. Сдохли бы вы всей Акгыровкой, я бы возрадовалась. Черт меня привязал к вам!

Круто повернулась и быстро в барак ушла. Целый день в углу своем на тряпье ничком пролежала. Баба-беженка, по бараку сожительница, долго на нее глядела. Потом спросила удивленно:

— Когда же ты, красавица, напиться-то успела? Я и не видела, а?

Не дождалась ответа, сплюнула и из барака ушла. Все разбрелись, одна Вирка осталась да трое ребят. Назябшись на улице, на печку забрались, там шумели. Когда

Вирка поднялась, старшая из троих, восьмилетняя Грунька, спросила:

— Отрезвела, тетенька? Гулять сейчас пойдешь? Мамка сказывала—кузнец около барака вьется, все тебя нюхает. А мне чудно! Чего же это он нюхает? Ходит да нюхает!

И засмеялась звонким детским смехом.

Вирка вздохнула и сказала устало, врастяжку слова:

— Ты не слушай, Грунька, чего большие бабы болтают. Не пересказывай мне. Мала еще, чтоб ихними пакостными словами мараться. Ну-к, подвиньтесь, я с вами на печке посижу, погреюсь. Понастроили нашему брату хорому, со всех щелей дует, а от солнышка в земь запрятали.

Грунька подперла щеку рукой и сказала по-взрослому, по-бабьи подхваченные сегодня на лету слова:

— А на улке-то тепло, солнышко нынче уж на весну, веселое...

И другим, живым, своим голосом спросила:

— А чего ты нынче не гуляешь? Ох, и чудно ты песни прошлый праздник играла. Пья-а-ная!..

Опять хохотом веселым залилась. И оба мальчишки, поменьше, вместе с ней. У Вирки тоска по лицу темным облаком, а глаза большие стали и нежные. Погладила осторожно пегую девчонкину голову. Самый маленький мальчишка в дреме детской, внезапно сморившей, к плечу ее привалился, передохнул и ровно задышал. Вирка, боясь шевельнуться, чтоб не стряхнуть доверчиво припавшего к ней ребенка, тихо сказала:

— Грунь, про «Золотую зыбочку» сказку слыхала?

— Ну-к, Вирка, тетенька... Ну-к, скажи.

И мальчишка постарше поблнже придвинулся. У Вирки от горькой нежности сердце захолонуло. Ласкала детей несытым любовиым взглядом н певучнм, хорошнм голосом сказку рассказывала:

— ...н скучно ей стало, н запечалнлась, тишком слезу лила, тишком тую слезу рукавом смахнвала, н вот спрашнвает ее...

В эту ночь Внрка гулять на улнцу совсем не вышла. Трезвая н сумрачная, рано спать легла. Но долго на тряпье своем ворочалась.

VIII

Еще холодом бело н твердо дышалн в степн снега. И в деревне, н в бараках за деревней еще глухи былн навалы сугробов перед окиамн.

Но дольше н горячей солнце в землю вглядывалось. И с теплой стороны ветер жаждущнй стал налетать. Пил снега. Еще не опалн, но раздряблн оин. Веселей засуматошнлнсь воробьн. Меньше лежала, нетерпелнво двнгалась в стойлах и слышнеей свой голос давала скотнна. Охотней на волю нз жнлья выходнл человек. Глаза человечьн к небу чаще тянулись. В набухшей облачной серости нскалн легкую снньь.

В праздник сретенья тепел и весел день на землю сошел. Даже отдыхать после раннего обеда мало кто залег. Все на улицу выбралнсь. Но еще до полдня прокатила по Акгыровке пара тощих от частого разгона

земских лошадей. Колокольчик прозвякал. Около сборни замолк. Народ на улице затревожился. Староста, кряхтя, с завалинки поднялся.

— Не то начальник, не то из земства рассказчик. Сгонять поди опять в сборню народ надо. Эх ты, зачастили, прямо роздыху не дают.

И, сердито стряхнув с тулупа налипший снег, неохотно к сборне пошел. А через малое время мальчишки под окнами забегали. Весело в стекла постукивали и звонко выкликали:

— Дядя Силантий, на сходку-у!..

— Тетка Матрена, посылай мужиков в школу на сход. И сама иди! Баб тоже оповестить наказывали!

— На сход, в школу-у...

— Айдате в школу! Из городу начальник высказывать буде-ет!..

Даже к Мокеихе востроглазый, развеселый в рваной мамкиной кофте заглянул:

— Баушка-а! Не спишь? Айда на сход, я всякую бабу зову. Велели, дак чего не звать! И старух зову-у.

— Напугал, окаянный! Базлает дуром. Нешто опять наехал кто?

— А ну да... Чать, про войну-у высказывать будет. Может, с картинками. Сыпь, баушка, в школу скорей.

— Вот сейчас так и посыпала, дурак ты пучеглазый. Нужны мне твои картинки да пустобрехи городские. Закрой дверь, не выстуживай! Я вот те дам подзатыльника горячего. Нужен ты мне с оповещеньем с твоим.

Но оделась и пошла. И все с ворчаньем,

будто нехотя, но в школу шли. Много народу набилось. Дело праздничное, можно поглазеть и послушать. Кержаки пришли. Из бараков голытепа в школу набилась. Виринея протолкалась молча к окну, в лица встречных не вглядывалась.

Топтались плотной толпой, ругали приезжего из земства, в старостиной избе замешкавшегося. Но ругань вялая выходила без горячности. Привыкать стали уже к беспокойству наездов господ из города. В начале войны только по волостным селам ездили. А теперь стараются — и в такие деревни, как Акгыровка, наезжали уж не раз.

Только старик Федот настойчивей всех шамкал горькую укоризну:

— Сколь теперь начальников развелось! Беда! И все разного сорту, не подладишь никак. Ране-то знали станового да земского. У их с мужиком разговор хоть крутой, да недолгий. А теперь из этого из земству больно разговорчивый начальник пошел... И на всякое дело особый свой. Агроном там, скажем, скотий дохтур, бабы ездиют воспу ляпают... А мужик все вози, всех катай, ублажай... Што ни дале, то чудней. К чему делу какой над мужиком поставлен — и не разберешь. Теперь из книжки читать, про войну сказывать — опять отдельные начальники. Не вздохнешь, не охнешь без начальнику. Должно, от войны все образованные начальниками сделались.

И, покачав головой, на батожок свой потверже оперся. В тягучую старческую думу об изжитом, оттого уже больше нетревожливом, погрузился. Старые глаза тихо

живут. Притушенные усталостью, новых видений не ищут. Дурное и хорошее, их взгляду видеть в жизни положенное, уж отглядели. В бестрепетной тусклости успокоились. Но сердце до конца, пока совсем не заледенеет в жилах кровь, тревожится. От новых забот и себя и всех вокруг оберечь хочет. Оттого, когда пришел и стал громко высказывать худощавый приезжий с вихрастым чубочком над озабоченным лбом, Федот ухом слышал его слова, но думал о своем и часто тяжело вздыхал. Проще раньше жизнь в округе шла. Жили здесь от городских людей, от крупных начальников, от царя — далеко. Горами, логами, буераками, речушками без мостов, лесами низкорослыми, но густыми и верстами степными, лукавыми от них отгорожены. Лихую трясучку летних дорог, внезапную ярость буранов на зимняках только становой с земским нечастыми наездами осиливали. Оттого разномастный, разноязыкий народ жил здесь под начальством мелким. Под урядником, старшиной и писарем волостным. Правда, от мелкости своей оно было старательно лютым. И даже беспечальные башкиры твердо запомнили сроки, когда надо в волость «темную» (взятку) везти. Хворая глазами мордва научилась издали писаря узнавать. Длиннобородый важеватый кержак и тот по часу нужному сдавал. Табачное зелье, для староверского нюху неспособное, в своем поселке на въезжей волостному начальству разрешал. Только взглядом, в угол сердито отведенным, отмечал обиду сердца своего. Но без этого нель-

зя. Начальство иад мужиком ставится ие для услады, а для надсады. Но та надсада, как старенький разношенный хомут, уже привычной была. А теперь, как царь на войиу разохотился, во все стороны рукой достал, мужиков на свое дело собрал, еще невиданная колгота пошла. А для той колготы и начальников много понаставили. Сходами замаяли. Докучают шибче станового. Тот дал в ухо, получил за стараиье свое приношенье какое из мужицких запасов и дальше ускакал. Дело свято. В голове позвенит или зубу не досчитаешься. Что ж! Зато сразу отмаялся. А на этих и расход идет, и еще подолгу гомозят. Вот такие, как сейчас, все ездят, воевать уговаривают. Ишь вои нажаривает: Сербия да Бельгия. Своей докуки ие скачаешь, а он про чужую зудит. Слово к слову ладно прикладывает. Ох-ох-ох, господи батюшко! Народу разного много ты, владыко, расплодил, а земли, видио, мало помастрячил. Все дерутся. Друг от дружки, один царь от другого, под свою руку землю отнять норовит. И мор иа людей случается. На Федотовой памяти три больших навалки в могилы было, а все земли ие хватает. И на войиах мужичья поубивали много. Считать коль только по своей волости, кто убит, кто от раиенья преставился, кто без вести, в храбрых не сосчитаиный, коичился,— длинно поминанье выйдет. А этот чубастенький разливается, как раз про храбрость русскую солдатью выкладывает. Ох, храбры, храбры, а поди храбриться тоже надоело! Смиловался бы царь-батюшко, как ни то подладил

бы там за замиреньe. Нет, не высказывает, не слыхать про мир!

И как бы в ответ на старнковы думы злой женский голос лектора прервал:

— Это нам уж сколь раз размазывали, про германский-то про плен. И картиночки казали, как он лих. А чего же, как из плену наш народ вызволять — ничем-ничего?

Лектор, перебитый на дрожащей душевной ноте, смолк и растерянно взглянул на толпу. Но быстро оправился и снова задушевным голосом отозвался:

— Позвольте, я сейчас... Кто-то мне вопрос задал? Я сейчас отвечу. Вот видите, братцы, сейчас меня женщина спросила... Спросила с сердечной болью! Женщина, жена и мать, разумеется, несет на себе тяжесть нашей священной войны. Но когда война необходима для защиты...

Слушатели задвигались. Виркин вопрос разбередил. Прошел в школе не то общий сердитый вздох, не то гул от переговоров. Федот ближе к лектору подался. Ласково речь его перебил:

— Бабенка-то энта глупая в час слово-то сказала, ваше благородье! Бывает так. То-то, мол, бывает. Сдуру ляпнет малолеток или баба, а оно в час и нужным то глупое слово выйдет. К тому я, к тому, не гневайтесь, ваше скородье. Охотятся мужики узнать: про замиренье не слыхать ли чего? Слуху нет ли в городу?

И смятенным разноголосьем надвинулась на лектора толпа:

— Может, раздышку хуть какую объявят?

— У мене старшого, Митьку-то, убили, а сичас опять в письме: Ваську шибко подстрелели. Чижало дело-то обертывается.

— Слышь-ка, как называть-то, не знаю, скажи-ко, голубь, игде хлопотать? Способье-то задержали в волости, а мужик-от отшибленный у меня. На войне то есть завалило его! Руками, ногами не владает.

Худая, желтолицая баба с огромным страшным животом на лектора надвинулась. Настойчиво и тоскливо спрашивала:

— Как приходил на побывку, адрест прописал: действующая армия, двести седьмого полку... А Гришка конопатый оттудова сейчас: нет моего-то... Где искать? Во все розыски писала. Игде теперь искать? А?

Загудели тревожным, озабоченным гулом. Уж отдельных вопросов не мог лектор слухом уловить. В беспорядке врывались отрывочные слова:

— ...мир!

— ...нащет способья!

— ...ерманский город, не сказать мне, как его...

— ...посылку в плен надписать...

— ...сухари Ваньке посылали, не получил...

Ни о победах, ни о пораженьях, ни о ходе войны, ни о численности армии, ни о мощи ее не расспрашивали. Говорили о малом. Каждый о своем. Разбивали расспросами армию на Митриев, Иванов, Васильев. А большое целое, как чужое, совсем умом не охватывали. Это дело начальников и царя: война, армия, победы, отступленья. А у них — Ванькина смерть, Петрухины раны

и скорей бы конец войне. Это свое, кровное, что отдано ими для войны и счет которому в отдельности ведут они. Лектор растерялся. В городе совсем другое настроенье. Там понимают, что необходимо войну довести до победного конца. А здесь тупо галдят: мир, мир, считают изъяны только своей рубахи. Черт понес в это село! Предупреждали, что мордва... и вообще дикари. Вытер платком вспотевшее красное лицо и смущенно начал просить:

— Подождите, братцы... Постойте, я не могу сразу всем ответить. Вся страна стоит под тяжестью войны, но...

Не знал, как закончить сход, как к выходу пробраться.

В самое ухо ему звенящий Анисьин голос:

— Эх, кабы цари одни на одни дрались! Кто осилит, под того и мы. Нам все одно, мы не супротивимся.

Испугался. Вот до каких заявлений дело дошло. Втяпался в историю. За такой сход по головке не погладят.

— Погодите... Прошу вас! Староста!.. Где староста! Надо успокоить сход!

Но вместо старосты на подмогу рослый плечистый Анисим Кожемятов протолкался. Зыкнул:

— Потише, старики! Чего разбазлались? Диво бы — одни бабы, а то и мужичье без всякого порядку налезает. Дайте господину про дело рассказ кончить.

Привычная сдавать перед властным окриком, сдала и сейчас мужичья толпа.

— Постойте, тише! Не напирайте!

— Чего ты орешь над самым над ухом?

— А ну постой! Тише! Погоди!

— Да я разве что? Спросить у знающего человека хотела...

— Уж извиняйте, ваше благородье, коль что не так. Мы народ темный.

И в сникающем ропоте сгас шум искренних и страстных расспросов и заявлений.

Анисим Кожемятов, поглаживая полу праздничного своего пиджака, наставительно закончил:

— Как посчитать, дак всякому война-то не в сладость. А ничего не поделаешь, надо натужиться да одолеть врага. Нечего надоедать: когда мир да скоро ль отвоюют? Когда будет конец — объявят. Мужик для того и родится, чтоб землю пахать да на войне воевать. Богу надо молиться, на армию жертвовать, а зря ґалдеть совсем нехорошо.

И приободренный им лектор уже в покорной тишине закончил:

— Велики страданья наших солдат, но неустрашим геройский дух армии. И наша победа близка.

Когда распрощался, ушел, народ снова загалдел в школе и около школы на улице. Вирка сердито говорила на ходу бабенкам из бараков:

— Намолол за три мельницы, да все не про нашинску нужду. Да еще про наше дело и не спрашивай! Ух, и зло меня забрало. Сгрести бы его тут да намять бока. Пущай хоть не под пулей, а под кулаками бы хуть помаялся. Небось сам в солдатах-то не был, в окопах не лежал.

Короткий мужской смех сзади всех четырех баб разом оглянуться заставил. Светлоусый, с бритым подбородком высокий мужик в солдатской одежде шел и смеялся. Спросил Вирку с незлой насмешкой:

— А ты лежала в окопах? Почем знаешь,— может, там сладко лежать-то?

— Для таких, как ты, сладко, коль сам тоже не лежал. Рожа-то гладкая! Видно, в городу в каких-нибудь сапожных аль в услуженье спасался. Чего-то и харю-то твою противную впервое вижу. Видно, не из нашей деревни. Пошел своей дорогой! Чего в наш разговор влезаешь?

— Уж очень ты спесива да задорлива! Да только без толку. Я на тебя еще в школе глядел, как ты шумела. А чего шуметь зря? Не мозгляк этот говорливый дело делает.

— А не он, дак пущай и не вередит. Чего ездиют, народ тревожат, над мужиком изгиляются? Эх, была бы моя воля...

— Ты бы сама царевать стала. А? Чьего ты роду-то, я тоже что-то не признаю. Эти бабы-то, видать, не нашинские, а ты ровно здешняя, а не припомню тебя.

— Вот привязался, липучий черт! Иди своей дорогой! Да за мной гляди не вяжись. Я эдаких вальяжных не люблю. Другие солдаты на войне маются, а вот эдакие на теплых местах спасаются. Тьфу! Ноги бы тебе переломать с разговорщиком с этим вместе.

Солдат засмеялся и в переулок свернул. А Вирка всю дорогу до бараков ругала его и лектора. Беженки, понурясь, необычно молчаливо шли. Их своя забота

долила: скоро ль отправка на родину начнется?

Вечером тот солдат к баракам приходил. Вирка с кузнецом акгыровским, плохой славы мужичком, плясала и обнималась. Он поглядел и ушел. А Вирке сразу скучно сделалось. Оттолкнула кузнеца:

— А ну тебя, рыжий черт! Надоел... Одно, лапает! Жена хромая, не совладает с тобой, а следовало бы морду твою пучеглазую хорошенько набить. Чего к другим бабам вяжешься?

Тот еще больше глаза выпучил:

— Да ты же, Вирка, сама с охотой...

— А была охота, да пропала. Много вас, старателей под легкий-то под подол. Не вяжись больше ко мне, краснорожий! Другую игральщицу себе ищи.

Двинула под самые зубы кулаком, из объятий высвободилась и ушла с улицы. А в бараке у них, несмотря на поздний час, Анисья Вирку дожидалась. Глаза у ней были наплаканы и лицо вытянулось:

— А я было за тобой на улку идти собиралась. Да сердце у меня не хочет сейчас на веселье глядеть,— ну, замешкалась, подождала...

Вирка взглянула неприветливо и неласково спросила:

— Чего это ты сегодня расхлюпалась? Аль сударик побил?

— Не говори ты сейчас мне про него, не трави ты моего сердечушка! Ох, Вирка, горе-то у меня какое! Мужик, шибко пораненый, в городу в больнице лежит. За ним приехать наказал.

— В каком городу? Откуда ты узнала?

— А Павел Суслов вернулся нынче, наказ передал. Вместе, говорит, с им в лазарете в Москве их лечили. Павла вылечили, и ничем-ничего не видать, что больно ранетый был, а мой-то Силантий чуть дышит, сказывает. Отпустили домой,— все одно помирать! Пашку-то из города довезли, а моего на отдельной на подводе надо. Приезжать мне за им велел. Ох, головушка моя, ох, сердечушко в лютой тоске! Дождалась, домолилась! Може, только глаза закрыть и доведется мне...

Перешибло слова рыданьем. Но Анисья быстро слезы вытерла, заглотнула плач и снова заговорила торопливо и сбивчиво:

— Завтра чуть свет выезжать надо, а на кого спокину избу и хозяйство? Ребятишек-то куды ни то на время порастыкаю! И корова одна хворая, н за шараборой доглядеть надо. К тебе, Вирка, с докукой: айда подомовничай. Работа-то на дороге у тебя, я слыхала, поденная.

— И вовсе никакой нет. Из бараку-то гонют. Теперь на работу мало народу требуется, да н то мужиков, а баб не хотят. Слыхать, не будут нонешний год дорогу-то достраивать. Силов из-за войны не хватает.

— Да то н я слыхала! Так, сразу-то не сказала, а знала, что тебе податься некуда.

— В чайную на участок прислуживать зовут...

— Ну, уж ты для-ради Христа мне уважь. Дурная ты, а на хозяйство сметливая. А ведь, как сказать, и в горе, а все

одно по хозяйству забота свербнт. Подомовннчай!

— Мужнки охальннчать будут. Кабы окна нз-за меня тебе не повышнбалн.

— Да я соседям всем поклонюсь, прнглядят. Главно дело — корова хворая, а у тебя к скоту рука способная. Кузнеца-то своего уж как ни то ублажи, расстарайся. Аль кто там еще у тебя? Приластись хорошень, попроси: онн заступятся.

Внрка усмехнулась:

— Да ладно уж, не учн! Сама отобью, сумею! Ладно, прнду завтре на свету, коль уж дело такое.

— Да ты нынче айда со мной. С тем шла. Айда, ластынька, шибко сердце у меня горе жмет. К Павлухе забегём, еще ладом расспрошу, как к мужику-то в городе доступнться. Айда собирайся скорей.

— А какне мон сборы? Добро не укладать, сундуков не запнрать. Что мое, все на мне. Эй, Ульяна, слышь ты, я на деревню ухожу. Завтра на участок не пойду с тобой.

Шнбко шлн. Аннсья на ходу плакала, слезы вытнрала, вздыхала горестно и по хозяйству своему деловнто распоряженья Вирке давала.

За два дома от своей нзбы Анисья в чужой двор свернула.

— Я сейчас у Павла поспрошаю. А ты ндн в мою нзбу. Ребятишки-то одни. Не знай, спят, не знай, кричат. Астрийца-то ныне я со своего двора прогнала.

Внрка проводнла ее взглядом н вспомнила. Так тот солдат Павел Суслов и есть!

Мало и давно видала его, вот сразу-то и не припомнила. Царскую службу отбывал, а тут война. Четыре года службы да войны уж три без малого. Семь лет в своей деревне не был. Ну да, он же и есть. Баба у него летом померла. Ребятишки одни, слыхала, в избе отца дожидались. Вон что! Здешний, и с бедного двора, а несет себя высоко как. С неожиданной злостью подумала:

«А от войны, видать, все одно в спокое хоронился. Уж не знай, где это он раненый был. Шибко вальяжный».

IX

Неделя к концу доходила. Анисья из города все не возвращалась. Виринея и во дворе и в избе одна убиралась. К вечеру сильно уставала. Тяжелели ноги, и ныла спина. Но засыпала с горькой усладой: хоть чужим детям матерью эти дни была, хоть в чужом хозяйстве привычный крестьянский труд, как в своем углу, одна, без хозяйки, справляла. Первые ночи, правда, парни около двора охальничали. Непристойными словами Вирку на улицу выкликали. Одно окно камнем разбили. Но на вторую ночь Павел Суслов вступился. Не за Вирку, а за Анисью.

— Мужик на войне маялся, теперь помирает, а вы его хозяйство, сволочи, зорите. На сход вызову, старики в волости вас проучат! Чего? Меня послушают! Ты, конопатый, тут песни орал да с девками занимался, а мы с Силантием кажиный день встречали:

не последний ли? Не сметь у двора его похабничать! Надо вам эту бабу,— ловите на улице, а тут не срамите. Других солдат подговорю, и без стариков проучат вас за Силантия.

Парни, отругиваясь длинными материными ругательствами, от избы Анисьиной ушли. Больше по ночам не тревожили. А кузнеца Вирка сама отвадила. Он ночь у избы Анисьиной пошумел, а наутро она в кузницу к нему пришла. При людях, не постыдилась, голосом громким и твердым сказала:

— Я, Нефед, гулящая. Кажиный хороший человек может меня срамить всяким словом, где ни попадусь. В глаза в мои бесстыжие плевать и смехом похабным бесчестить. Хорошему я всякую обиду спущу, перетерплю, еще поклонюсь да отойду. Только не видать хороших-то! Все больше пакостники, блудники да злыдни. Дак нечего и от меня хорошего ждать. Пока охота была блудить с тобой, блудила. А сейчас на дух не надо тебя. И ты меня не замай! Горло зубами перегрызу, морду ногтями изнахрачу. Смерти не побоюсь, а тебя от себя отважу. Отвяжись лучше добром! С топором сплю, и топор рука подымет, вот тебе слово мое. Я бесстрашная. Пущай все вот тут будут свидетелями. Как пообещалась, так и сделаю.

Глаза у ней стали ярко-золотыми, жаркими. А лицо и губы побелели. Кузнец было радостно ощерился, как ее увидал, а теперь попятился. Сроду слуху не бывало, чтобы баба такие слова при людях мужику без опаски говорила! Чтоб стращала так му-

жнка. В большом н снльном теле у Нефеда пряталась робкая душа. Куражнлась только над слабымн, а от грозного напора сжнмалась. Сплюнул и сказал сумрачно:

— А на кой ты мне нужна! Без стыду сама пртащнлась ко мне средн бела дня. Убнрайся, покуда цела!

— Я уберусь, только слово мое помнн.

— Уходн, тебе говорят! Лезет сама на всякого мужика! Спьяну, может, н был какой грех с тобой, дак я об этом н думать забыл. Н-ну, проваливай!

Внрка тряхнула головой н ушла. Мужнкн загалделн:

— Воротнть ее, стерву!

— Избнть хорошень, чтоб не грознла. Па-аскудннца!

— По старому обычаю как с такнмн ране поступались: нзбнть до остатнего дыханья, заголнть подол да на кладбнще прнвязать к кресту. Пускай сдохнет в своей срамоте.

— Ну н выроднлн себе отродье кержакн со старой-то молнтвой!

— Эдакой стервы во всей волостн днем с огнем нщн, больше не найдешь.

Но Внркино бесстрашне такое, когда даже цепкостн за самую жнзнь нет в человеке, невольно смиряло. Обезоружнвало мужиков смешанным чувством боязнн и восхнщенья. Ннкто догонять ее не пошел. Ннкто больше в Аниськной нзбе ее не потревожнл. На улице ночамн Внрка больше не показывалась.

С Павлом встретнлась на речке. Из прорубн воду несла, а он к той прорубн шел.

Посмотрела равнодушно в его лицо и мимо было прошла.

— Стой-ко, спросить я тебя хочу.

Вирка приостановилась и спросила равнодушно и неспешно:

— Ну? Чего надо?

В эти дни отдыха от тяжелого хмеля, от ругани и шума барака, от радости труда, который считала своим, Вирка о мужиках не думала. И про Павла совсем забыла. Оттого и отозвалась без злобы, без привета и без вызова.

— Анисья приедет, ты как? Опять назад в барак уйдешь?

— В бараке-то место у меня, видишь, не откуплено. Рассчитали с работы. Может, в участок, где господа есть, служить. Может, в город подамся. Запрет-то с меня снят теперь, и документ есть у меня. А тебе что?

— А ко мне не поохотишься жить прийти?

Вирка посмотрела прямо и пристально в его светлые, спокойные глаза.

— Хорошей бабы-то разве не найдешь? Жениться тебе надо. У тебя дети, свое хозяйство.

— Женюсь еще, коль пригляжу для себя. А хозяйство невелико. Лошадь и корова. У людей кормились без меня. За прокорм заплатил, пригнал. Вот и все хозяйство.

— Дак и один с девчонкой управишься. Не такой достаток, чтоб работницу кормить.

— Без бабы нельзя. Женюсь, тогда и без работницы обойдусь.

— Девчонка у тебя большенька. Поди уж двенадцатый год аль боле? С ней упра-

вишься. Эдакая уже вполне схозяйствует.

— К тетке в город отправлю ее. Учить хочу. Два парнишки малолетних со мной только останутся.

— Ишь ты, тороватый какой! Денег, видать, много нажил? Девчонку учить! Уж хуть бы мальчишку, а с девчонки какой толк? Учи не учи, все одно под мужа пойдет, не сама голова.

— А уж это я по своему разуму. Как хочу, так и поставлю. Ты про себя говори. Неохота, что ль, ко мне? Так трепаться-то лучше?

Вирка сердито сдвинула брови.

— Не больно зарюсь на нежирный-то твой кусок. Поди-ко я баба бывалая. Знаю, что жить в избу к себе не на одну денную работу зовешь. А ночью, чать, ублажать себя заставишь. Ну, а я гулять—гуляю, когда захочу, а за кусок аль за подарки — на это дело меня не укупишь. Не пойду. Ищи другую.

Поправила коромысло на плечах и пошла.

— Погоди!

— Ну, чего еще?

Павел помедлил, поглядел на нее и сказал просто, хорошим голосом:

— Зря ты, баба, все назло себе делаешь. Где лучше — не надо: я, мол, возьму да в самое худо нырну. Слыхал я все про тебя. Говорить много неохота мне, а вот: ты работящая, не вовсе истаскалась еще. Живи и работай по своему природному делу. Даром кормить не стану, я не купец, не барин. А за работу накормлю. Тем, что и себе по-

есть добуду. Насчет приставанья, ночного дела,— не зарекаюсь. Я молодой еще, ты молодая, рядом жить будем, как чать не распалиться? Но только говорю тебе: не снасильничаю. Не захочешь — не надо. Только уж, это тоже не совру, с другими мужиками, пока в моей избе живешь, тоже чтоб греха не было. Живи тогда сухо, спасайся. Для себя неволить не буду.

— Своя пакость не пахнет, чужая смердит.

— А уж это так. На другое я не согласен. Не стерпишь — уйдешь, не привязанная. А все хоть отдохнешь. И мне без бабы никак нельзя. С детями ты ласковая, я видал. Ты срыву эдак не отказывайся. Подумай нонче, а завтра скажешь.

Вирка мотнула головой. Потом тихо сказала:

— Люди смеяться над тобой будут. Много тут шумели про меня.

— А с того, что сама ты того боле шумишь. Поживешь тишком, дак люди к тебе потише будут. Я вот гляжу да думаю, что и об грехе своем ты больше шумишь, чем грешишь. Много трепалась-то?

— Нет. С беженцем с одним, так на людях только со зла, а к себе не допущала. А с кузнецом вот правда. Только много я охальничала: пьяная на улице валялась и перед народом... нехорошо с мужиками озоровала. Да ты что меня, чисто поп на исповеди? Тьфу! И я-то расслюнявилась... Убирайся от меня, кобель ласковый! За тем же за делом ко мне, как и все, а с присловием с каким! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Провались,

окаянный, хуже всех стервецов ты стервец!

Шибко крутым подъемом от речки шла. Тяжести полных ведер не чуяла. Сердце колотилось в груди, и редкие у Вирки слезы глаза застлали.

И ночью плакала.

Анисья вернулась домой с побледневшим румянцем и непривычно тихая. Лошадь во дворе распрягла сама, покупки в избу внесла. Вирку про хозяйство расспросила. И только тогда села на скамью у стола и подозвала детей. Стала их обнимать, гладить и голосить с положенным причитаньем:

— А и деточки, сиротинушки, да и на кого же спокинул вас родитель ваш, светик ясный Силантий Пахомович! Ой-й-ойошеньки, не ждала, не гадала, отколь и когда напала на сердечушко темна ночь. Голубь белый, желанный, соколик мой, дорогой супруг Силантий Пахомович! Ходят ноженьки мои, глядят глазыньки, а до тебя не дойдут, не увидят тебя боле, не приспокоятся. Ушел от супруги от своей, ушел от родимых малых детушек, ушел — и не будет назад. Залег в сыру землю-матушку, во чужом во далеком месте и на погосте не на нашинском. Накрепко залег, принакрылся землей, призаперся крестом,— не встанет, не взглянет, не покричит боле, не приластится. Отходили его резвы ноженьки, отработали рученьки, отглядели ясны глазыньки. Ой, тошно мне, тошнехонько и не мило глядеть на божий свет. Закрутите и меня в саван смертный белы рученьки, призакройте глаза, положите с им в

землю-матушку. Не березынька в поле одинешенька трясется-качается, ветру жалится, а супруга твоя, вдова горькая, оземь бьется бедной своей головушкой, кричит, выкликает тебя, соколика, а твово голоса не дождется, не выпросит. Замолчал навек, успокоился...

Долго голосила. В ярких цветистых словах, в заунывном вое, в обильных слезах растворила скорбь, всю печаль и заботы вдовьей жизни высказала. Бабы в избу набежали. Когда иссякли слезы и слова, Аннсья подробно рассказала про смерть Силаитьеву, про город, слухи про войну. Потом тесто для поминок ставить стала. Хлопотливо закружилась по избе.

Виринея во дворе поила скот. Подумала о смерти Силаитьевой. Вздохнула:

«Каждого ждет час, и никто не знает когда. Может, завтре вот я...»

Вдруг необычайно отчетливо, будто по-новому услышала мычанье коровы, живую возню свиньи рядом в хлевушке, ощутила запах навоза и снега и свое живое, горячее тело. Черным, холодным крылом в мозгу вдруг мысль: как же, как же это? Сразу застынут жилы, остановится кровь и уйдет все живое из глаз? Будет мычать корова, будет ворошиться свинья, в свой час согреет всех солнышко, а она, Вирка, будет лежать в земле...

Сильный страх встряхнул дрожью все тело. Бросила ведро и на свет, во двор быстро выбежала. Дышала так жадно, будто правда от смерти сейчас высвободилась. И до конца дня ощущала ясно и радостно крепкое тело свое. Думала ночью:

«И скот, и люди, и трава — все на земле на смерть родится, ну те хоть думой не маются. А человек обо всем думает, из-за всего старается, чтоб крепко да надолго. И короток живой час у людей, а мы еще сами себя тревожим, неволим, сердечушко свое травим».

Утром рано постучала в окно Пазловой избы.

X

Павел вошел в избу как хмельной. На лице улыбка растерянная и глаза как пьяные. Вирка удивилась. Месяц доживала о бок с ним, ни разу пьяным не видала. И от людей слышала: непьющий.

— Ты что, Павел? Выпил, што ли, у кого?

— Староста из волости вести такие привез, что все мужики, кто слыхал, чисто пьяные. Царя отменили!..

— Отмени-или? А как же? Другой, што-ль, какой?

— Вовсе отменили, совсем без царя живем.

Вирка опустилась на скамью:

— Ровно на шутки ты, Павел, не охоч...

— Да никакие не шутки. Пакет староста из волости привез. За учительницей послали, сейчас на сходе вычитывать будет! Никакого нет царя! Один отрекся, другой отказался, а глядеть — посшибали их всех. Завтра в город поеду, все хорошенько разузнаю...

И вдруг добавил, будто невольно в радости открылся:

— Я-то знал... Ждали мы этого. Там, в городе, еще унюхали. Ну, здесь с двоими тишком разговаривали. А слушай, Вирка, мужики-то не испугались. Право, я диву дался! Нисколько не испугались, сдивились только: как же это, царя осилили?

— Да у нас глухо, все одно под кем жить, а по другим деревням поди воют и боятся. Ты нашему народу, вот мне хоть, лучше не про царя скажи, а становой как? Останется? Нашинское-то начальство прежнее будет?

— Да нет! Становой-то сбежал, а урядника в подполе сгребли.

— Вре-ешь?! Ну, вот это диво! Павел, это как же? Ну-к, где платок-то мой? На сходе-то когда вычитывать станут?

Народу в школу столько набралось, как никогда еще не бывало. Стояли на окнах, в сенях, у школы густой толпой.

Молоденькая белесая учительница слабым и дрожащим от волненья голосом читала:

— «...признали мы за благо отречься от престола государства Российского...»

В толпу доносились неясно только обрывки слов. Мужики задвигались. Один крикнул:

— Не слыхать! Не разбираем ничего. Мущине отдай!

И в толпе подхватили:

— Пускай мущина грамотный какой прочитает!

— Ну, знамо дело! Какой у бабы голос! Только визгать может. А ятно, громко где ей выговорить!

— Да кабы еще деревенская. А у этой «ти-ти»...

— Городской жидкий голосишко!

— Айда, который у нас грамотный?

— Солдатов, солдатов вперед! Где солдаты? Они разберут!..

— Да и то впереде! Где им теперь стоять! Впереде и стоят.

— Пущай Пашка Суслов. Он шибко грамотный.

— Павел! Павел! Игде Суслов-то?

— Айда вычитай. Ну, от этого услышим, глотка широкая.

Павел, приподняв плечи, со строгим лицом, зычно и отчетливо стал читать запоздавшие в Акгыровку манифесты и газеты. Долго читал. Все время напряженная тишина стояла в классе. Плотной молчаливой стеной больше часу стояли мужики и бабы. В такой тишине в церкви никогда не стояли. Расходились тоже необычно тихо, с приглушенным разговором. Только молодой безбровый солдат с девичьим лицом перебегал от одной кучки людей к другой и захлебывающимся голосом говорил:

— Названье «нижний чин» отменяется. Теперь почетное званье — солдат! Нижний чин — нельзя! Какой тебе нижний? А хто верхний? Нету больше нижнего! Эх-х, я в Романовку съездию. Энтот, Ковыршина Алексей Петровича сын, в прапорщики вышел, в офицеры. Вместе на побывку в одном вагоне ехали. Я ему говорю: «Степа, дай закурить». А он мне: «Я тебе не Степа, а офицер теперь, а ты — нижний чин, дисциплины не знаешь!..» При всем при вагоне

я как скрасиел тогда! Нарочно съездию. А ну, скажи, мол, я теперь хто? Нижний чин... твою мать, на-ко, мол, выкуси! Был нижний чин, да весь кончился.

В эту ночь Павел с Виркой долго не спали. У них была общая постель. Тогда, как пришла жить к нему, спросил он ее, как спать укладываться собиралась:

— Ну, как ты? Хозяйствовать только пришла аль совсем, как к своему мужику?

Вирка помедлила ответом. Потом просто и тихо сказала:

— А ничего. Поживем вместе и поспим вместе. Только нехорошо как-то перед Анюткой. Большая уж она.

— Она уж спит.

— Все одно нехорошо. Я вот девчонкой в первый раз как мать с отцом заприметила, с чего-то совестно и туго так дышать мне стало. А я совсем чужая, и слух про меня нехороший. Обидно ей за отца будет. Первые-то обиды живучи. Погоди, приобыкнет малость ко мне.

Но на ласку Виркину Анютка не поддавалась. Враждебными глазами за ней следила. На вопросы Виркины или совсем не отвечала, или бранью отзывалась. Когда увозил ее в город отец, она повернулась на дровнях и посмотрела на провожавшую их Вирку. Таким недетским, ненавидящим взглядом посмотрела, что у Вирки долго сердце щемило. И Анюткину детскую злобу как самое больное, как кару за грех своей жизни в сердце приняла. Пятилетний Семка и трехлеток Панька скоро привыкли цепляться за ее юбку, как раньше за мать цеп-

лялись. Она их холила на диво другим бабам. Анисья при встречах смеялась:

— Мы и то толкуем, чтоб все вдовцы не женились, а гулену неродящую в матери детям наймали. Старательные попадают!

Издевались над Виркой недолго. Словами зря не сорил Павел, но слова знал веские. Оборвал одну, другую бабу — и притихли. У Вирки взгляд спокойней стал. Но как-то точно сблекла она в тихости. Говорила мало и часто подолгу задумывалась. С чего сердце в человеке такое несытое живет? Что ни подай, редкий-редкий раз взрадуется. А то все не то, все недохватка, горчит чем-то радость. Павел спокоен, на работу не ленив. Большой грамотности человек. Оттого, хоть беден, а люди не помыкают им. Побаиваются. И Вирку жалеет. В ту первую ночь, как Анютка уехала, с ним спать Вирка легла. Он так ласково с ней обошелся, что Вирка сдивилась. Даже Васька не смог так бережно и как-то чудно с нехорошим по-хорошему подойти. Словами Павел не нежил. Только и сказал тогда с горячим вздохом: «Милка ты моя!» А все же как-то, как с женой, прошеной, моленой, к первому к нему в постель легшей, а не как с гуленой залапанной. Вирка и обрадовалась, и смутилась как-то. Смущенье радость съело. И с того самого дня — как виноватая. Будто чужую обряду надела тайком на себя. Увидят — со стыдом, с поношеньем сдерут. От этого между Павлом и Виркой все будто что-то стоит. Обозлилась раз, взяла напилась, как бывало. Пьяная ночью долго кричала:

— Чего ты себя перед всеми, как царь,

носншь? Думаешь, я ие вижу? Думаешь, больио я уж обрадела, что прн себе держишь? Противна мне харя твоя зазнанстая, повадка вся твоя тихая. Уйду завтра! Глядеть на тебя не хочу.

Он спокойио расстегиул ремеиь и погрозил ей:

— Замолчн, а то выдеру, как собаку. Глядеть на пьяных баб не могу, блевать охота! Ложнсь иа печку и больше ие верещи. Отрезвеешь, тогда поговорим. Может, н сам выгоню.

Голоса не повысил, но сурово и отчетливо сказал. Глаза встретились. Светлые его глаза потемиели. Но ие разгорелись жаром, как у Вирки, а будто отверделн, без блеска сделались. И Вирка первая опустила свои. Наутро долго маялась, собиралась уйти, но ие ушла. А Павел, как обычно, говорил с ией, о чем дело говорнть выходило. И ночью в первый раз иа плече у мужика Вирка плакала:

— Я и сама не зиаю, как мие с тобой жить... Вот когда так, как сейчас, согласиа ноги твои мыть да воду эту пить. А когда тошно мие с тобой, скушио, и убежала бы я от тебя, только бы ие видеть.

Ои отозвался тихо:

— Не мудри да не дури. Живи и живи. Работу справляй, детей моих обнхаживай и об себе старайся. Ну, спать я хочу. Хватит разговарнвать-то! Сроду с бабами так не валандался. Спи!

Так и жили. Будто дружно, а ие вплотную. Долгих разговоров не разговаривали. А ночью и вовсе. На поцелун горяч и ласков,

а на слова скуп. Но сегодня, лежа рядом, долго проговорили. И Павел больше, чем Вирка. Про город, про царей нехорошее, что узнал в городе, рассказывал. Про всю жизнь. Отчего трудный век человечий для бедного, для низкого на земле и совсем лих. О мужиках говорили. Вирка слушала его слова, как песню на близком, родном, но все же не на своем языке. Звуком, напевом трогает, а слова не все поймешь. Оттого еще слушать и слова понять охота. Но днем опять мало с ней разговаривал. Потом в город поехал и целых две недели проездил. Прохарчился в городе. Пришлось овцу, которую было завели, продать. Вирка сердилась, но ему сказать не посмела. Не жена — на срок взятая хозяйка! Пусть как хочет. Опять друг от друга будто подальше подались.

XI

До самой весны суматошился по-новому народ. Сходы стали «митингами» называть, а мир «товарищами», а то «граждане». Слова новые по новости звонки выходили, как звякали: инструкции, резолюции. Учредительное собрание. Сперва охотно собирались, с горячности шумели. Потом уставать мужики стали. Выборы да съезды, а земля к посеву готовиться велит. Мало-помалу отставать от сходов начали. Да на деле, кроме выборов на всякие должности, ничего не переменилось. Товары в лавке на участке еще вздорожали. Еще меньше стало в продаже нужного для мужика. Гвоздей во

всей округе не достать, и дорога соль. Земля, как была, в одних руках густо, в других маловато, а то и совсем пусто, так и осталась, а от колготы на сходах голова трещит. Старик Федот, постукивая батожком, сказал на одном сходе:

— Чего мы кажиный праздник, чисто обедню, сходы собираем? И в будни почасту гомозимся на собранья на эти. Телеги ладить надо. Земля-то уж повылезла из-под сиegу. У правильного мужика об земле на сердце-то зудит, а мы то да се, да епутатов выбираем. Солдатье в деревню навалило, а про мир не слыхать. Кабы опять не угнали перед самой перед пахотой. Айда слухайте, старики, мой совет: понавыбирали мы тут всяких комитетов. Пущай этот за старосту-то прежнего Пашка Суслов один на все отписывает. А насчет солдат старается, чтобы опять не забрали. И епутатов всяких на съезды сам назначает из зряшных из каких. Кому об земле да об хозяйстве заботы нет. А дельные-то руками и ногами отбиваются!

И взвалили все на Павла. Целыми днями в школе был. Господ из города еще больше наезжать стало, но сходы собирались жидкие. Только солдаты на короткий час замиренья требовать к разъяснителям из города, которых «ораторами» звать стали, приходили дружно. Но до конца разъяснений не дослушивали. Беженцы в бараках и Нижней Акгыровки беднота без сходу и без уговору каждый праздничный день у кузницы собирались. Галдели долго, бестолково и глухо о земле, о самосильных жителях с большим хозяйством, о том, что в других

местах хоть у помещиков землю бедняки отобрали. А тут ничем-ничего! Земского начальника хутор — и тот трогать не велят. Охрану прислали. На Павла Суслова косо глядеть стали, хоть вровень с ними достаток у него. А побогаче люди, кержаки, с почетом, с зазывом к нему заходить начали. Он похудел, потемнел, домой возвращался злым. С Виркой сквозь зубы разговаривал и к ребятам неласков стал. В одно воскресенье очень рано поднялся, собрал мальчишек и велел на сход скликать:

— Не отставайте до тех пор, пока не пойдут. Павел, мол, нужное дело выскажет.

И когда собралось хоть не полно, а порядочно народу, громким и решительным голосом объявил:

— Вот вам, мир честной, товарищи граждане, все бумаги, разъясненья, положенья всякие. Вот и сельский писарь нашинский с ними, как и до революции был и при мне состоял, остается при деле. А меня увольте. Нет моего хотенья на это дело.

И сколько ни галдели, ни просили, твердо на своем выстоял:

— У нас с солдатами другие мысли.

Старый кержак крякнул и громко спросил:

— С ружьем землю отбивать будете?

— А это уж там поглядим, только я всем здешним не коновод. Поближе которые мне, к тем подамся.

Кержак зло отозвался:

— Какая ни есть суматоха, а за порядком следят. У кузни гляди не нагалдите себе чего на шею. Слыхал я. От войны согласни-

ки твои здесь хоронятся. Знаю, миогим срок отпуску кончился, а которы н совсем без отпуску.

Солдаты загалдели:

— А ты над иами доглядчиком?

— Сам, старый хрыч, подайся на войиу, коль охота больно.

— Мы проливали кровь! Хватит с иас!

— Коль навредишь — гляди, мы тоже острастку иайдем.

Долго шумели. А потом все солдатье сразу ушло. На место Павла Суслова кержакн своего поставили. Павел со светлым лнцом домой вериулся. Ласково Вирку по спиие хлопнул:

— Разделался с одиим мирским делом — за другое примусь.

Виринея засмеялась:

— Не терпит печеика! Шуметь охота. А я как глупым разумом гляжу, да думаю — какая тó свобода? И войну ие кончают, и землн ие дают, и богатеи пузом иашего брата все зашибают. Уж трясти, дак до корню трясти. Я радельника-то своего, дядю Аитипа, встрела, дак не удержала слово: готовься, мол, дядя. Добро забирать к тебе прндем. Равиять, дак равиять.

— Ну? Ои чего?

— Выругался нехорошо, и глазами — как волк. А троиуть ие посмел. Тут, я гляжу, хоть больно перемены жизни у нас не видать, а все время не то. Раие бы сгреб дак глядн и душу вытряхиул бы. А теперь шибко от меия подался.

Оба засмеялнсь. Павел ласково, по-иовому как-то Вирке в глаза загляиул. Сказал:

— А ты мне, пожалуй что, не только по хозяйству, а и в других делах хорошей помощницей будешь.

Все чаще наезжали из города учителя, агрономы и даже ученые барыни высказывать про Учредительное собрание и про всякие партии. Книжечки, листики раздавали. Мужики к Павлу с теми книжками заходили.

— Ни хрена не поймешь! Ну-к, гляди, как тут про землю обозначено.

Павел горячо за дело взялся. В партию большевиков стал народ приманивать. Порядочную кучу сбил. Солдаты почти все. Даже из богатых дворов мужичьих. С постройки народ гуртом. А мужики акгыровские бедного состояния разбились. Которые за Павлом, которые в школе у учительницы в социал-революционеров записались. Тоже много вышло, больше даже, чем большевиков. У Кожемякина состоятельный народ собрался, к господской партии тянул. Кадетами называли. Споры большие между народом пошли. До большой драки даже дело дошло один раз. Социал-революционеры с большевиками у кузницы подрались. С уханьем, с тяжелой кулачной надсадой бились. Троих в лежку уложили. Но отдышались, ни один не помер. А раззадорила на ту драку Виринея. Отход от Павла мужиков, которые раньше около него сбивались, приняла как личную Павлу обиду. Вгорячах прибежала в школу, когда там кое-кто из них был. И с большой страстью, сильным голосом стыдить начала:

— Куды лезете? Воевать не надоело?

Солдаты чуть передохнулн, а сколь накалечено! Вояку-то главного, Нниколашку, сдвинулн куда следует, а вы дуром в тот же тугой хомут, только с другой шлеей. Э-эх, мало вас нужда, вндать, забнрала! За землю держнтесь? А кто на земле хозяевать будет, коль война не скончнтся? Кто войну кончать хочет? Большевнкн, только онн однн и стараются. А вы... до победного конца! Гляди, дадут вам конец. Расшеперилнсь, а сами на смерть лезете.

За больное зацепила, но оттого еще больше разгневалнсь. К ученым бабам, мужнкам, про общественные дела разъясняющнм, прнмыкать уж стали. Но чтоб своя деревенская, да еще с зазорной жнзнью недалеко за плечамн, учнть пришла...

— Ах ты, стерва... Чего еще разбирать-то могёшь?

— У большевнков все общее. Бабы, сказывают, общие будут, дак вот и охотится по прежней закваске!

— Чего с ней долго растабаривать! Сгребай, поучн!

Трое наскочили бить. В яростн с иеобычайной снлой от троих мужиков отбнлась. Царапалась, кусалась. Хоть с разбитым в кровь ртом, с подбитым глазом, с ноющимн бокамн, но жнвая н некалеченая вырвалась. А мужнки, раззадорившись, к кузнице пошли. Там н пронзошла жаркая схватка.

Павел ругал Вирниею, плевался, а потом смеяться начал:

— Вот дак оратор! Шибко ладошамн бнлн... только по ораторовой по морде. Всеем собра-аннем...

— Не хайли! А то я хоть и подбитая, а и иа тебя кинусь! Что ж, что баба, у меия тоже в голове-то теперь ие только об домашиости дума. И сердце кипит. Дураки-то какие, ах! За войиу с другими...

Долго иа деревие Вирку бабы дразиили, как оиа мужиков учить ходила. Аиисья даже плюиула с сердцем при встрече:

— Думала я все-таки, што толк в тебе есть, ие вовсе дуриая. А теперь гляжу: порчеиая. Совсем порчеиая. Не то, дак это, а иикак ие живет в лад с правильиыми людьми.

Вирииея засмеялась:

— Что били меия, это, правда, зазорио! Вспомию, краска лицо жгет. А все одио: за что били, то еще попомиите. За правду били, за жалость к иашему мужичьему положеиию. У меня сердце распальчивое, ио тут я ие шибко долго гиевалась. Не от ума били, а от темиости от иашей. Вот погоди, веичаться иа красиой горке думаешь, мужика к себе в дом берешь. А ие осилят большевики, опять и другого иа войиу сдашь.

— Не каркай, ведьма! Не стращай! Солдаты все приходят домой. Одии за одиим разбегутся, и без твоих горлопаиов дело исделается. А то поровиу хочут. От одиих отца с матерью ровиы-то ие родятся. А которы получшай живут, поболе работали. Тьфу! Заплевать бы тебе все глаза твои бесстыжие. Смеется, пялится... И куды лезет. И мужики-то поумией ии про какие партии слушать ие хочут. Так, пустельга озориая заиимается. А тут баба влезла. Наше вам.

И иа ходу все плевала в Виркииу сторо-

ну. Но что Вирка ведьма — сама уверилась. Вскорости после разговора с Виринеей новую полицию нз городу прислали. Солдат в волость сгонять, чтоб назад в армию отправить. Полиция-то ни с чем тайком ночью обратно выбралась. А все же волнеиье пошло.

Пришел час, земля к себе мужиков затребовала. Сгасли в Акгыровке споры н разговоры. В жильном мужичьем труде про всякие перемены забыли. И малоземельные н батраки иа чужом поле по-старому со всем соком, со всей снлой в землю ушли. Брошенным без засева малый его иадел только у Павла остался. На крестьяиский съезд в уездный город согласился. От волости послали. И до самой осенней уборки жизнь в Акгыровке старым порядком шла. А осенью взбаламутились снова. Про выборы в Учредительное собраиье шибко загалдели. Павел надолго в волостное село перебрался. Совсем отшибся от хозяйства, н лошадь продали. Последний запас хлеба доедать стали. Вирка по людям работать опять ходила: ребят иадо было кормить. Хоть корили ее, ио иа работу брали. Коль хорошо для хозяйства старается, н сатану наймешь в жаркую пору. Павел опять в выборные пошел. Лнстки прнинмать для Учредительного того собранья в окружиую комнссию. И это иовое слово уж почти все в деревне узиалн.

Поржавели листья у деревьев, стала стынуть земля. Солнце ласково тужилось, давало тепло, ио уж чуялось, что не то оно, как летом. Смирное, без жаркости. И в воздухе

печаль. Снимали хлеба. В осенней стрижке своей печальными стали поля. Павел из волости в Акгыровку приехал, листки с номерами привез. Много номеров, всех и не упомнишь, даже башкирский русским дали. В волость в назначенный день везти, в ящик складывать. Сначала шумели мужики, что не будут те листки отвозить, мытариться. Но опять суматоха за сердце забирала. Война все не кончалась. Из-за земли спор с башкирами пошел. Акгыровка на арендованной у башкир земле. Оттого и под названьем нерусским, под башкирской шапкой, ходила деревня. Ак-гыр — белая лошадь. Белолошадовкой надо бы звать. Аренда кончалась. Башкиры грозили землю отобрать, меж собой делить. И деревню русскую обещали совсем уничтожить. Жатву с горем и с боем снимали. И про войну, и про землю, мол, решит Учредительное собранье. Оттого, как близко время ко дню выборов подошло, затревожились. Стали списки разбирать, какой к чему. Один только можно опустить—выбирать надо. Бабы к Вирке забегали, чтоб разъяснила, какой листок опускать:

— Уж скажи, касатка! Как ни то помоги! Сперва было ровно совестно. Куда бабам лезть? А теперь мужики сами заставляют, а што к чему — не рассказывают.

— Вирка, какой из этих листков на конец войны? Ну-ка расскажи!

— Слышь-ка, мужик велел мне перьвый опускать. Мы, мол, с хорошим достатком, наш номер перьвый. А я к тебе тайком: сын у меня еще не вернулся. Ты мне скажи, какой большаковский-то. Я его тишком суну.

— Пятый, тетка! Суй пятый. Против вашего брата он, а все одно — суй! На конец войны он.

— А пускай против, там разберемся. Сынок-от бы хоть вернулся. У отцов сердце твердое, а мать как замается, дак не то листка — ножа вострого не побоится. Пущай что хочут делают, только бы живой воротился.

Бабы горились, что цифирь разбирать не умели.

— Какой он тут пятый, разве упомнишь с непривычки. Другие-то изорвать бы, мужик ругается. Он за третий. Ну-к, Вирка, капни маслицем, который пятый. Я его и положу.

— Павел сказывал, выкидывать будут меченые-то.

— А небось не выкидают. Много ль грамотных? Все пометят. А ты легонько, чтоб сгоряча не увидали. Вот нгде-нибудь в уголочку.

И Вирка капала. Помечала малой отметиной.

Ясный, ведреный, весь прозолоченный день выдался, когда подводы из Акгыровки в волость двинулись. Длинной цепью по дороге телеги. В них мужики и бабы в праздничных полушалках. Детные с грудными на руках.

Волость — деревянный дом с высоким крылечком, на выезде села, почти в поле, окружен подводами был. Как табор цыганский, шумливый и пестрый. Крыльцо серело солдатскими шинелями.

В большой горнице, где на стенах висели пустые рамы от портретов царя и царицы, большая пыльная икона и новые приказы, стоял длинный стол. Сбоку около него деревянный крашеный, из города присланный ящик. За столом, с деревянными от напряженья и важными лицами, сидела комиссия. Посредине председатель, учитель волостного села. У него был тик и прыгала левая бровь. Но разговаривал он внушительно. Все время делал указания, как подходить, опускать. Лишние расспросы обрывал:

— Раньше надо было на собранье хорошенько слушать.

Павел, красный и потный, но с уверенным и спокойным взглядом, у самого ящика сидел. На улице и на крыльце стоял шум разговоров, восклицаний и смеха. А в горнице, где ящик, стояла тишина. Нарушали ее только подходившие к урне. Мужики подходили поспешным шагом, супили брови, опускали листок в молчанье. Бабы со сконфуженным смешком, с присловьем. Сначала молились в угол на икону, потом уж оглядывали ящик и дрогнувшей рукой долго толкали листок в отверстие. Почти каждая спрашивала:

— Куды класть-то? В этот в самый? А как класть-то?

Разбитная, смешливая солдатка опустила листок и, сверкнув смеющимися глазами, сказала:

— Баба и та в счет пошла. А ну, бабы, не подгадь, клади за пятый!

Учитель сердито крикнул:

— Агитация у ящика запрещена. Опустила и уходи.

— Чегой-то? Ты больно-то не ори, отошло ваше время орать-то. Пятый самый правильный.

Крепкотелую, но слепую старуху ввели под руки две молодые бабы. Она, шаря кругом невидящими, неподвижными тусклосиними глазами, спросила:

— Где икона-то? Чтой-то сбилась я в углах с перепугу-то.

Перекрестилась истово и громко, торжественно сказала:

— Помоги господи, не в зло, а в добро. Допусти постараться в дело!

Поклонилась поясным поклоном и позвала:

— Ну-к, Марька, веди, где тут ящик-то? Куды совать, направь руку-то мою.

Председатель завозился на стуле и крикнул:

— Нельзя, нельзя! По закону лишена права голосовать. Слепые не допускаются...

Старуха властно оборвала:

— А ты что за человек, и какой такой закон? Бог обидел, и люди обидеть хочут? Я листок за десять верст пешком несла... И я сыновей для войны родила, и я над землей тужилась, а мне нельзя! Кажи, Марька, куды опускать. Не может он не допускать меня!

— Но я не имею права. В законе ясно сказано...

И за столом, и в дверях, даже за открытым окном на улице начался шум:

— Пусть опускает! Для бедного народу будто бы стараетесь, а она из бедных бедная.

— Правда, пешком шла. Лошади не достали нигде, а на чужую подводу некуда.

— Сами семьями приехали. Чать, не виновата, что ослепла!

— Опускай, баушка, не слушай! Теперь слобода, а они все с издевкой!

— Опускай, опускай! Покажи ей щелку-то! Эй, востроносая, покажи, говорю!

— Энтот там расселся посередке-то! И вытряхнуть недолго, коль бедным запрет делает.

Суслов привстал и громко утвердил:

— Опускай, баушка! Всякому закону по делу да по нужде должно быть послабленье. Не старые времена. Теперь для человека легкости хотят, а не обиды.

Председатель развел руками, еще сильней задергал бровью и смирился:

— Ну, опускай, только чтоб мне в ответе не быть.

Старуха опустила листок и опять помолилась:

— Господи, помоги.

Бабы увели ее.

В горницу ворвался косоглазый мальчишка в черном бешмете, в порыжевшей тюбетейке на бритой голове и с длинным кнутом в руках. Прямо к столу кинулся.

— Тебе чего, малайка? Куда лезешь?

— Башкирскай листка номер втарой айда давай. Отбирай мужикам. Ваша ни нада, наша ни хватант. Ваша вота.

Вынул из-за пазухи кипку смятых листков и бросил на стол:

— Айда атбырай, пыжалыста, скарей, наша волость ждут. Вирхом скакал, шибко лошадь гнал!

Председатель выругался и замахал руками. Писарь сбоку на стуле сидел. Быстро встал, достал со шкафа пачку листков и сунул башкиренку:

— Дуй!

Тот блеснул косыми глазами, взял листки и убежал из горницы.

Учитель вздохнул, потер лоб и покачал головой. Народ подходил. На улице шум все сильней становился. Солдаты смотрели в окна с улицы и громко определяли:

— Этот краснорожий номер первый. Эй, Павел, садани его от ящика.

Злой мужичий голос с улицы крикнул:

— А за пятый — самая прохвостня! Конокрад битый нашинский пятый номер понес, я видал.

— Прошу без агитации. Где милиционер?

Солдат, стоявший у ящика, громко и наставительно объявил:

— Когда мы на фронте выбирали, дак у нас так-то было постановлено...

Председатель завопил:

— Послушайте, товарищ, уходите от ящика! Вы не имеет права второй раз голосовать. Чертова окраина! Выбираем не в один день с другими, а с запозданием, вот и... Я вам говорю, вы не имеете права! Я сообщу — все выборы пропадут. Опротестуют.

— А тебя кто тянет сообщать?

— Да ведь я же обязан!

— А ты для нашего брата старайся, а не против нас! Мы кровь проливали, да не смей в своей волости.

И потянулся к ящнку. Но Суслов удержал его за рукав:

— Не скандаль, нельзя. Еще, правда, всем навредншь.

— Так н ты против солдат?

— Говорю, не скандаль. Уходи!

Тот сплюнул, но Павла послушался, скомкал лнсток н броснл его на пол.

А у стола новая заминка. Крнвоногнй, встрепанный мужичонка совал председателю штук шесть лнстков.

— Который тут третнй? А? Я заспешнл да спутал. Ровно отдельно клал, а на же подн, сбнлся. Ну-к, покажн.

— Да понимаете вы, тайное, тайное! Нельзя показывать.

— А какне тут тайностн! Все знают. Я сперва-то за пятый хотел, да на третий меня сбнлн. А какой лучше-то?

Председатель безнадежно схватился обеимн руками за голову:

— Совершенно невозможно! Разъясняллн, все деревнн изъезднлн. Да что же теперь делать?

Суслов засмеялся, встал, взял мужнчонку за плечн н вывел его нз горницы. Дальше гладко дело шло. Только шум с улнцы мешал.

Вдруг опять зычный голос на улице шум покрыл:

— Макрушкнн со своего хутору целу подводу с первым номером прнвез. На тройке прнехалн. Не пущай его!

Но толпа привычно расступилась перед Макрушкнным. Он, сверля встречных черными острыми глазками, сладкнм голоском теноровым отшучивался:

— А кто видал, что первый? Я второй привез. За башкир, они — народ покладливый. Они мне больше русских по душе. От них, можно сказать, жить начал. Я за башкир. Второй, второй номер.

Угрюмый длинный солдат зло оборвал его:

— От их награбастал землю-то под хутор, обжулил! Знаем, мертвые под приговором о продаже-то подписаны.

И кривоногий мужичонка поддержал:

— Погоди, дай срок, все начистоту выведем, а землю-то для трудящего подай. У тебя отберем... Пятнадцать работников, на-ко.

Но Макрушкин, не смущаясь, пробирался вперед с длинным хвостом приехавших с ним на двух тройках и поодиночке на пяти подводах. Ответил опять шутливо:

— А я к башкирам подамся, в их веру. Теперь свобода вероисповеданья. А они еще землицы мне удружат. На наш век простачков еще хватит. К башкирам, к башкирам я...

Два дня тянулись выборы. Во всей округе разгорелись страсти. В день подсчета солдаты тесным кругом сдавили стол с комиссией. Щупали листки глазами, орали, ругались. Но подсчет все-таки удалось закончить. Ящик провожали конные доброхотцы, разного настроения. Все опасались, чтоб подвоха не вышло.

С тех выборов разгорячился народ. И каждый день все больше будоражливым приходил. В Акгыровке загалдели те, кто раньше голосу не подавал. Беднота, с пост-

ройки рабочие. Требовали землю и мир. Павел Суслов их коноводом стал. В конце зимы, когда большевистское начальство над всей страной власть взяло, и он главным в волости утвердился. Колгота по разноплеменному уезду большая шла. Вирка говорила Павлу:

— Не сносить тебе головы. На такую линию вышел. Нет, чую, не сносить.

— Что ж, на печку забиться да закрыться юбкой твоей?

— А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся — выстаивай. Уж такое дело твое. Только так, сердцем я скучлива когда, дак опасаюсь за тебя.

— А ты не опасайся. Детей моих береги. Теперь, видно, и стариться вместе станем. Привык я к тебе. И к первой жене, ни к одной бабе так не прилипал. Все одно — жена теперь ты, баба моя до старости, а там и до смерти. Одно только — родить тебе надо. Чего ты не тяжелеешь?

У Вирки сгасли глаза. Опустила голову, как виноватая. С тяжелым вздохом сказала:

— Неплодная, видно, я. Ваську-то винила, а знать, сама неплодная.

И долго сидела молча с поникшей головой.

Тревога в уезде все ширилась. Казаки в сторону от большевиков линию гнули. Соседей-башкир под свою руку сбили, обещаний им всяких надавали. На волость даже нападение было. Отбились. Но зимой война настоящая разгорелась. В сорока верстах от Акгыровки бои начались.

Павел Суслов с фронта однн раз сумрачный прнехал на деиь домой. Всю иочь с Вирниеей тнхо н долго говорнлн. Встала с постели оиа с прожелтевшим лнцом, но с твердо сжатым ртом. Морщника у губ обозначнлась. И не пропала даже тогда, когда объявила средн дня тихоиько н боязлнво Павлу:

— Слышь, я затяжелела. Боялась вернть, а выходнт — правда.

Ои посмотрел в большне тревожные глаза ее, в молящее лнцо н усмехнулся:

— Ну, рожай! Отобьемся от казаков, на сынка порадоваться прнеду. Ну-к, соберн, чего кусать мне даешь. Ехать надо.

Уж выезжать собрался со двора, как вошел во двор совсем седой, но все еще лохматый н дюжнй Магара. Внрка вскрнкиула н побелела. Не пуглива была, но иеожидаииое появленне Магары напомнило ей о прошлом. И сразу, как дурное предчувствие, в сердце ударнло. А Магара прямо к Павлу.

— Айда забнрай меия с собой. В силах я еще, постоять за правду хочу. Где вашннско-то войско?

Про Магару Павел слыхал н знал его. Усмехиулся.

— А тебе чего в иашем войске, божнй старатель, делать? Айда зятя с добром, тобой нажнтым, застанвай. Откуда ты?

— Из тюрьмы. Теперь вот выпустилн. Внрка дрогнувшнм голосом спросила:

— За этого... за инжеиера отснжнвал?

Магара даже ие оглянулся на нее. От Павла воспалеиных глаз ие отрывал. Но ответнл ей:

— За богохульство н кощуиство сцапа-

ли. Еще до перевороту до этого. В церкви на икону плюнул и изругался. Святой там один нарисован, схожий с этим, кто меня спервоначалу на молитву-то...

И добавил глухо:

— Замаялся я с богом. Теперь опять для него за правду стараться хочу. За бедный народ стоять пойду, за мужичий за весь род. Растревожили мужика, а ходу ему нет. Богатый в торговцы лезет, а бедному нет земли, чтоб в правильности... С вами постараться хочу. Для бога за вас пойду. Для бога грех принял, человека убил. Такое он на меня возложил, дак я и пойду для правого дела убивать.

Павел вздохнул.

— Мозга у тебя повреждена. Уж правда, что богом ушиблен. Ну что ж, айда. Долго с нами вряд ли пробудешь, а сейчас пока нужен. Дюже сражаться можешь. Сейчас тебе лошадь раздобуду.

И уехали они вместе с Магарой.

Убили Магару скоро. Дуром с гиком один на казачий разъезд кинулся. Как приезжал Павел в последний раз к Вирке на короткий час, то сказал про это. Вирка вздохнула:

— Знаешь, Павел, а много народу у нас в деревне по-разному повредилось. Сидели, сидели сидняком-то: видно, от просидней гнить начали. Кто вот ругается, какой страх и беспокойство пришли. А я думаю — час такой. Нельзя больше было мужикам по-старому.

Павел не ответил. Поднялся и собираться стал. Поцеловал детей. Вирка припала к не-

му и замерла. Он быстро, будто укуснл, поцеловал ее, легонько отстраннл н к дверн пошел. Но у порога задержался. Не поворачнвая головы, стоя спнной к ней, сказал:

— Себя блюдн, шибко я к тебе прнвык. Не распутннчай. Днте родншь, жалей, обнхажнвай. Я об нем что-то думаю. Жалко, не дождался, не поглядел.

И потом, повернув голову, усмехнулся невесело н нежно:

— Дело наше тоже справляй. Через тебя слух давать буду. Ну, ладно. Давай еще поцелуемся. Прощай.

Уехал. Она глядела ему вслед. И вдруг ярким, редким для слеповатых человечьих глаз светом будто осветнлась перед ней вся ее жнзнь с Павлом. В короткий мнг.вся перед глазамн прошла, подлннно такая, какой она у ннх была н какой она еще не вндела. Как жнлн вместе — часто сердилась, томнлась недовольством каким-то, враждой к нему. Счнтала его желанным н даже прнвыкать стала. Но нн разу с таким захлебнувшнмся болью и восторгом сердцем, как сейчас, когда смотрела ему вслед, не обняла его. А вот, когда он не слышнт н ей не догнать его н, может быть, свидеться больше нм не дано,— ощутила, как он дорог ей. Как однн только может быть дорог одной.

— Павел... Пашенька...

Целый день как в чаду ходнла. Терзалась: слов своих, вот тех, что сейчас сердце жгут, не высказала ему. Воротнть бы его!.. Хоть бы на недолгнй час... Сказать бы только ему!..

Всю свою жаркую страсть и тоску по Павлу Вирка в заботы и хлопоты по его делу вложила. Акгыровка стояла в стороне. Казаки расправу чинить в ней еще не появлялись. Но властно наложили руку на всех Павловых пособников кержаки с горы — Кожемякин и еще пятеро богатеев. Ездили с возами в казачий лагерь, оттуда привозили приказы. Десять мужиков из акгыровской бедноты и восьмерых из бараков отвезли в город, в тюрьму. С десяток в волости пороли нещадно. Вирку тоже в волость таскали на допрос. Она отвечала сдержанно и покорно, чтоб Павла не подвести. Только глаза прятала:

— Ничего не знаю. Невенчанная ведь жена, так... полюбовница. Взял и уехал. Теперь, может, с другой тешится. Где — нету слуху. Я вот тяжелая, да еще двоих на меня кинул. Кабы знала где, сама бы хоть за себя наказала бы его. Не смолчала бы, выдала. Все одно он со мной жить не будет.

Вновь поставленный председатель волостной управы кулаком по столу стукнул:

— Врешь, потаскуха! Как провожала его, видали люди.

— Провожала, просила не бросать одну с детями, без всякого запаса. А куда уехал, не сказал.

Три дня в холодной при волости отсидела. Потом опять пытали мужики. Уж не про Павла, а про пособников его и про то, кто к большевикам сейчас льнет. Вирка упорно отзывалась незнаньем, только все на обиду

от Павла жаловалась, что с детьмн без помощи всякой бросил ее. Помаяли и отпустили. Тяжелевший с каждой иеделей Виркии живот ие мешал ей в потайиых углах со своими видеться, быстро ходить и еще работой себе пропитаиье добывать. А тут еще Павел два иаказа в тайиости выполиить велел. Одии: за десять верст в деревию письмо верному человеку отиести. Другой: мужика одиого целую иеделю прятать. Когда первый наказ передалн ей, вздохиула оиа. Потом сказала худощавому старику в бежеиской одеже:

— Сама пойду. Кого пошлешь? Сиоровку иадо, а главиое — чтоб без страху.

И ходила сама за десять верст будто бы в больиицу. В том селе как раз больиица была. Обратно чуть ноги тащила по иеровной сиежиой дороге. Но дотащила и коицы чисто схороиила. Другое было трудией. Но все-таки уберегла в подполье. Даже соседские бабы иичего ие уиюхалн. И чем больше старалась, тем дороже стаиовилась ей ее вторая, тайиая, жнзиь. Теперь с подлинной верой говорила своим при встрече:

— Хучь мы и пропадем, а тем помогать иадо. Совсем задавилн маломощных.

Видеться было трудно. В деревие каждый вздох слышеи и каждая иовая щепка на дворе заметна. Но вот пришел слух, что Павлов отряд к Акгыровке подвигается. Павел иа словах с париишкой безусым, но строгоглазым передал:

— Хорошо, кабы вы с затылку их нажгли. Какое-иибудь восстаиье бы иаладнлн.

Вирка с этой вестью пошла в бараки. Постройку давио забросили, ио бежеицы

и бездомовые, работавшие раньше на дороге, в бараках жить остались. Шибко шла, но чутко ушами и глазами за дорогой следила. Никого не встретив, дошла. В большом бараке жило трое одиноких мужиков и четверо семейных. И все были одного, большевистского, толку. Оттого Вирка без опаски вошла. Но разговор не сразу начала:

— Здравствуйте-ка! Тетка Дарья дома, что ль?

Дарья от печки отозвалась:

— Здесь, дома. Ты чего, Вирка?

— Да вот к тебе, пощупай-ка ты меня... В повивалках ходишь, знаешь. Что-то больно одышка замаяла. Скоро ль разрожусь?

Дарья усмехнулась:

— И щупать нечего. Так видать,— не боле недели носить. Да ты говори дело-то. Тут никого чужих нет. Сейчас мужиков со двора позову.

Когда собрались, Вирка дрогнувшим голосом сказала:

— Ну, мужики, зачинать драку надо.

И, откашлявшись, уж спокойно и ровным голосом рассказала, что Павел передал.

Мужики не сразу отозвались. Долго раздумчиво молчали. Первый, белесый и хлипкий, Васька Дергунцов заговорил:

— Нет, товарищи, нам это дело не сделать. Напуган сейчас народ, не подобьешь. Мается, а молчит.

И другой, с седоватыми, коротко и неровно стриженными волосами, подтвердил:

— И думать нечего! Как блох переловят.

— Подождать надо. Может, как совсем

близко наши к деревне уж подойдут, тогда. А сейчас никак нельзя.

Вирка поднялась. Глядя хмуро, исподлобья, спросила:

— Это и весь сказ?

— А дак чего же?

— Больше ничего нельзя.

— Дело не выйдет...

— У наших там войско. Пусть уж стараются как-нибудь к нам пробраться, тогда подмогнем. А сейчас ничего не сделаешь.

— Ах вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще какой — дурной бабе, учить вас али там корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела час дошел, дак слюни пускаете! Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы вы мои, товарищи! Какая жизнь-то у вас, долго еще протянете? Кто говорил: стоять до последнего? До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хотите, не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя боле ждать.

Глаза у ней жгли и молнили, а голосом твердым говорила:

— Придет час, вернутся наши. Тогда опять к ним лицом, а не задницей повернетесь? Ну, дак ладно, я одна, баба, вот в тягости, одна пойду дело заводить. Охота дале в голоде да в побоях жить — живите. Вот этот кобелишка-то хилой тявкал: сердце чешется против кержацкого насильничанья. А теперь еще казаков ждать будут! Все одно не помилуют, хуть вы им ноги все излижите! Давно косо глядят, чуют, какая дума-то у вас. Наши подходить станут, все

одно с вами расправятся. Ну, ладно, нечего мне с вами, видно, и разговаривать.

Пошла было к двери. Но мужики опять загалдели. Ругали Вирку, спорили, а все же порешили сделать, как Павел указывал.

Вирка со светлым лицом уходила. Будто на большую радость спешила идти, а не на трудное дело. Седоватый стриженый сказал ей со смехом:

— Ты, баба, выходит, у нас и за командира, и за попа полкового. Ишь ты, начесала сколь. Целу проповедь высказала!

А командир чуть домой дошел. По дороге схватки начались. Но все же сама за бабкой Козлихой зашла:

— Айда скорей! Рожать, видно, я наладилась.

В избе у себя Вирка долго не хотела лечь. Ходила по избе, крепко стискивала зубы.

Козлиха прикрикнула на нее:

— Чего ты молчком? Кричи, кричи! Легче будет. Первый раз эдаку каменную бабу вижу. Без крику рожать собирается.

Вирка улыбнулась коротко и тускло. И опять, сморщившись, сказала прерывисто:

— Пускай с радостью-то на све-ет выходит. Шибко долго я его ждала... Не хочу кричать, хочу в легкости родить его.

И крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли, а от восторга. И тогда несказанная легкость усладила тело, услышала на диво звонкий крик рожденного.

— Ишь ты, какого орластого выродила. Да большой. Отцу поглянется. Ты чего? Не сомлела?

— Не-ет. Покажь... Сыно-ок!

— Откуда узнала? Ишь ты, дошлая. Ну-к пущай полежит, потружусь околи тебя.

Недолго Вирка на сына радовалась. Через пять дней, когда ждала от своих извещенья, как у них там наладилось, ночью в дверь тревожно и тихо кто-то застучал. Вирка к двери, спросила шепотом:

— Кто?

Бабий напуганный голос сказал:

— Открой скоренча, впусти.

Но в избу Дарья не вошла, из сеней тихо спросила:

— Козлиха-то у тебя?

— Тут, сегодня пришла, заночевала. А что?

— Где она?

— На печке спит.

— Буди скорей, пущай возьмет ребенка, а сама айда, беги немедля. Через огороды, туды, к речке, а там тебя Парфен ждет.

— Дак ты что? Ребенка-то я как?..

— Ребенка! А коль саму прикончут? Павлу надо успеть слушок подать, а то втяпается. Да собирайся ты, буди Козлиху. Чего стоншь?

— Да чего ты сразу....

— Казаки приехали, у Кожемятова сейчас. Кожемятов батрачишка-то с им ездил. Слыхал, что пронюхали. Анисим дознался про наше дело. С доносом в станицу ездил. Ну, только называл, что тебя да мово мужика. Мой-то схоронился, айда беги. Ой, кабы меня тут не застали. Дак огородом-то... Огородом к реке.

И нырнула в темноту. Вирка взяла ребенка из зыбки.

— Баушка, баушка... На-кось.

— Ну чего ты взгомозилась? На печку его? Ко мне? Ну, давай.

Сильно вздрогнула, будто от тела оторвала теплый живой сверток и подала старухе. С лицом настороженным, без слез, без вздохов быстро накинула платок и полушубок и выбежала из избы.

— Вирка-а! Вирк, ты куда? Что это, осподи, попритчилось, что ли, ей что?

Поняла только, когда в дверь, оставленную после Вирки без запора, ввалились казаки и мужики. Поняла, поглядела спокойно и стала унимать заплакавшего мальчишку:

— Ну-у, ну-у, распелся на ночь глядя. Ш-ш-ш!

— Ты, старая хрычовка, где баба?

— Убегла куда-то. Я не спрашивала. Мне на што? Думала, скоро вернется. Мне чего? За ей не побегу, не молодая.

Рыжеусый казак шашкой пригрозил:

— Сказывай, а то не удержишь башку на плечах!

— Она и то плохо держится. А чего я скажу? Убегла, слова не сказала. Хуть кишки выпусти,— чего я скажу боле? Не валезай на дите-то, злыдень. Задавишь неповинную душеньку.

Анисим Кожемятов сказал чернявому офицеру:

— Ничего теперь, ваше благородие, не добьешься. Она правды старухе-то не скажет. Следить за избой надо.

А седой, худощавый и строгий, похожий на святителя с иконы старого письма, Антип-кержак сказал:

— Пущай ребенок с бабкой тут остаются. Сама придет. Молоко ее к дитю приведет.

На том и порешили. Караульщики во дворе в хлевушках запрятались. Днем искали, не нашли. Три ночи караулили. На четвертую, уж за полночь, в самый глухой и темный час, насторожился под навесом рыжеусый кержак и шею вытянул. С огорода темная женская фигура двигалась. Дыханье, как охотник, видя зверя, затаил. И Вирка шла легкой, сторожкой поступью зверя. Как волчица к волчонку своему, пробиралась. Будто след нюхала, выгнув шею и влекомая своим запахом,— запах крови, из ее жил взятый,— шла кормить или выручить детеныша своего.

У самой двери в сенцы была, когда крикнул резко рыжеусый другим, укрывшимся темнотой:

— Имай! Держи ее! А-а, поймал! Беги, Сычев, зови его благородье!

Вирка закричала пронзительным, долгим криком и забилась в дюжих руках приземистого казака.

— Стой!.. Стой!.. Увертливая какая! А, ты кусаться, стерьва! Стой!..

Вирка рванулась, высвободила руку и с большой силой ударила казака в переносицу. Выгнулась всем телом, ударила ногой его в пах. Казак взвыл от боли и выпустил ее. Но подоспел рыжеусый, скрутил ей руки за спиной. Она билась, качала казака во все

стороны. Он иеловко повериулся, зацепил иогой за ступеньку крыльца н упал. Падая, увлек за собой Вирку. Оиа закричала еще раз резко, пронзнтельио н смолкла. Затылком ударилась об острую железную скобку для отскребанья грязн, вбитую иа доске около крыльца. И тогда же из избы донесся живой и требовательиый плач ребенка. Вирकины глаза встрепенулнсь в последнем трепетанье — н погаслн.

КАИН-КАБАК

Повесть

I

В окружении нищих башкирских деревень глухо засел в овраге малый русский хутор. От местности получил то же названье — Каин-Кабак. По-русски значит Березовый овраг.

Никто из старожилов не помнит времени, когда росли здесь ласковые березы. На крутых боках оврага лишь густой, жесткий и в расцвет невеселый кустарник. Убогий шум дремучей человечьей жизни мало нарушал нежить здешних унылых ущелий и каменистых горных взъемов. Волки даже летом, в сытости, его несильно опасались, зачастую рыскали по взгорью близ жилья. Сырт, гряда гор, внезапно пресекших степную равнину, отделял Каин-Кабак от большой дороги. Но маленький уединенный хутор через все преграды издавна был прославлен большой нехорошей славой. Прежде и в своем уезде, и в соседних широко разносились рассказы о каин-кабакских конокрадах, о разбойных нападениях на дорожных людей, о возведенных на крови хозяйственных дворах, о домах с тайниками, заговоренными крепким заговором. Теперь, после германской войны и четырехлетнего мужицкого боя на своей

земле, стариковская побаска о давнишних разбоях-грабежах оказалась слишком бесхитростной, давней-давней, может быть тысячелетней, нежуткой былью. Нынешнее племя, закоптевшее в своей жаркой жизни, вовсе перестало внимать дремотным этим рассказам. Но Каин-Кабак не затерялся в глухоте окрестных хуторов и селений — он стал становищем красных партизан. В зиму тысяча девятьсот девятнадцатую наладили они самодельные окопы из снега и льда и крепким отпором отбились от казенного белого войска. А в тысяча девятьсот двадцать втором в Каин-Кабаке устроил себе логово для запойных дней шумливый человек Григорий Алибаев, партизанский командир, ныне председатель волостного Усергаиского Совета.

Но местные органы ГПУ получили достоверное известие, что Алибаев — враг Советской власти, участник большого против нее заговора. От этих тщательно проверенных сведений у заведующего секретно-оперативным отделом Степанеикова на смуглом апатичном волосатом лице ожили и потемнели в тревоге белесые глаза. Взять Алибаева — задача нелегкая. О нем ходят цветистые легенды по всему уезду. В каждой деревне найдутся его почитатели, задаренные им бедняки, башкиры и русские. Если арестовать шумно, с большим конвоем, могут возникнуть вредные осложнения.

Степаненков выехал на дело сам. От города до последнего подъема в гору перед Каин-Кабаком были устроены секретные подставы: оставлены вооруженные люди и

подводы. Только тронх надежных товарнщей Степаненков взял с собой на хутор. Уговорнлнсь, что на хутор подмога явнтся только на следующий день утром, если ночью не дождется нх обратно.

Хорошо объезженные конн замедлнли шаг. Осторожно спускалн с крутой горы. Вся до конца внднa крнвая загогулнна еднственной улнцы. Недружно, зато шнроко разметалнсь по ее сторонам два ряда дворов. Падал некрупный ласковый снежок. На крышах нзб н надворных построек налегло его свежее пуховое руно, но было оно без блеска. Солнце прнталось. От набухшего облакамн неба в этот час, еще раннний, сумеречным сделался день. Под белыми пухлымн крышамн серые деревянные дома н облупнвшнеся землянкн казалнсь темнымн, глухимн. У самого въезда на улнцу торчал длнннный шест. Чуть покачнвался на нем в затишье лощнны занндевевшнй в складках красный флаг. На другом конце хутора снежный скат горы чернел жнвымн малымн точкамн. Шумно каталнсь на салазках детн. Улнца же была тнха н пустынна. В блнжайшем дворе недужно залаял дряхлый пес. Щурясь от яркого снега, Степаненков подвернул было к нему, но нздалн донесся окрнк:

— Сюда езжай! Куда воротишь?

Степаненков голос узнал. Сонное лнцо его не ожнвилось, но, как всегда, у него в волненье на правой скуле зардело красное пятно, зачесалась волосатая щека. Он буркнул:

— Встречает. Чертн ему служат, уже донеслн!

Низкорослый человек в желтом дублепом полушубке и белой заячьей шапке-ушанке махал руками, указывал на большую саманную избу близ себя. Когда подъехали, он подошел к передним саням, к Степаненкову, широко расставляя в шагу кривые ноги. Раскосые сизо-черные глаза его с желтыми белками светились усмешливым огоньком. У Степаненкова остро екнуло сердце. Черт узнает по этой образине, как смеется? Приветствует весело или издевается? Все же улыбнулся в ответ, открыв белые широкие зубы, остро сверкнувшие на темном лице.

— Не ждал гостей? Назад не завернешь?

Алибаев протянул для рукопожатия небольшую, сильно загрубелую желтую руку.

— Добрый для хозяина гость не бывает не в час. Айдате заезжайте, может, и сумею приветить. Давненько с тобой, товарищ Степаненков, повидаться случая не выпадало, я об тебе даже заскучал, право! Въезжайте, въезжайте.

Хитрогубый, плосконосый, с кожей дымчато-желтой, всем обличьем нерусский, Алибаев выговаривал слова тягуче, просторно, теплым голосом. Всегда охотливо, любовно прислащал их одно к другому. Степаненков знал Григория давно. Суховатый в словах сам, любил его привольную речь. Но сейчас, заслышав Алибаева, насупился.

«Разговором одним задурит, шельма!»

И нежелательно для себя угрюмо отозвался:

— Заедем, не торопи.

Ни во дворе, ни позднее за чаепитьем в

дальией горинице Алибаев ни словом ие выразил удивленья или любопытства. Степаиеиков сам пробовал объяснить свой иаезд.

— Запарились в городе. Катиули иа передышку к тебе. Ну, как раз тут близко от тебя маленько щупалн кой-кого.

Алибаев спокойно спросил:

— Щупалн? В нашей округе иарод иехорош — худой жизин народ. Не земледелец, а гуляка. Эй, дружки, я вам больше ие стаиу чай наливать. Хлобысиули по чапурушке иа закладку, хватит!

Подмигнул, пригнулся приветливо к Степаиенкову:

— Сейчас холодиого кипяточку подадут. Послаще, покрутей этого парева.

От его дыхаиья ударил в лицо скверный запах виииого перегара. Степаиеиков укоризиеиио качиул головой:

— Слышу, иесет.

Алибаев скривил рот.

— А тебе иадо, чтобы ладаиом от меия шибало, что ли? Шалишь, лучше спиртом. Миого народу в могилу посшибал, все без ладаиа, ладан ие уважаю.

Степанеиков перебил:

— Своего заводу водка? Не боишься, что выпьем, а по должности тебя тряхнем?

Алибаев сухо, коротко усмехнулся:

— Ну, из-за этого с Гришкой Алибаевым шуметь не стаиете! Самогонкой не занимаюсь, у меия старая, царской варки. Михайловский завод, чать, я громил, ие выпил еще.

Снова добродушиым ласковым говорком прибавил:

— Настоящий спирт, лечебный. Я им от своей хвори лечусь. Городской доктор один мне обстоятельно обсказал, что я больной — алкоголик. Без выпивки тебе, дескать, нельзя терпеть. Это он правильно, не могу без водочки. Дошлый господин, я за это ему три пуда крупчатки отвез, хоть не жалую господ. Вы там, в городу, что-то шибко цацкаться с ними зачали. В Москву меня возили, поглядел — опять господа в большом числе меж нашими шныряют. И друг дружку все «гражданинами», не «товарищами» кличут. А один так прямо залепил: «господа». Попался бы в нашей волости, я бы ему, сукину сыну, на спине господина бы прописал! Закаялся бы в трудящей республике барина кликать.

Степаненков хмыкнул в ответ что-то невнятное и встал. Заходил по горнице. Алибаев головы не повернул, но Степаненков учуял:

«Слушает мои шаги, собака».

Злобно взглянул на остроконечное алибаевское ухо. Вернулся к столу, постоял, огляделся исподтишка вокруг. В чеке известно: добра много Алибаев хапал, а в жилье у него скудно. Грубо сколоченный стол даже домотканой мужицкой скатеркой не покрыт. Облупившиеся стены давно не белены и пусты, ни единой картинки не наклеено. Пол земляной и неприбитый, корявый. Печка-голландка дымом закопчена. Скамейки некрашеные, узкие, для сиденья неудобные. На широкой деревянной кровати вместо всякой постели один черный тулуп

мехом вверх раскинут. На подоконниках махорочные окурки попримерзли. А на протемневшей, давно не мытой божнице под самым потолком потрескавшаяся старая икона без стекла. Чуть мерещится черным виденьем худущий лик какого-то узкоглазого, как сам Алибаев, угодника.

Неожиданно распахнулись обе половинки некрашеной двери. Степаненков едва удержал вздрог. Из первой от сеней половины избы, где широко расселась русская печь, вошли двое. Пышнобородый, но лысоголовый высокий старик с выправкой старосолдатской и сухощавая узкобедрая женщина. Степаненков внимательно оглядел ее короткую коричневую шерстяную юбку, щеголеватые, по ноге сшитые, высокие сапоги и старый офицерский пояс, туго стянувший тонкое тело. Сухощавое темнобровое лицо от коротко стриженных прямых пепельных волос казалось молодым, не женским, а мальчишечьим. Но виски желты, покороблены тонкими, как паучьи лапки, морщинами, углы бледных губ устало опущены, и острый блеск слишком широких черных зрачков в синих глазах нехорош — нездоровый.

Старик поставил на скамейку около Алибаева четвертную бутыль и ведро воды с ковшом. Женщина опустила на стол большой трактирный поднос со снедью: холодную вареную свинину, квашеную капусту с огурцами, жареные пельмени, свиное сало и запеченные круто яйца с полопавшейся желтой скорлупой. Все в деревянных крашеных киргизских чашках. Алибаев взглянул на женщину и усмехнулся.

— Вернулась, краля? Смиловалась? А я-то сдуру верхового в Александровку погнал, благодарственный молебен попу заказал. Навяжется вот эдакая холера, дак ни крестом, ни пестом не отобьешься!

Женщина сердито тряхнула головой, покраснела.

Алибаев ласково хлопнул по плечу молодого чекиста.

— Ты как, братишка, тоже охоч до баб? Глаз-то у тебя бесоватый. Вот слушайся моего совету, толстых облюбовывай. Не столь горячи, зато и не так пакостливы.

У кареглазого хмельно стукало сердце, ярко светился взгляд. Как молодое сильное животное, он весь трепетал от запаха врага, рвался к схватке с ним. Что канитель с желтоглазым тянуть? Еще с веселым разговором лезет по-свойски, а ты сиди рядышком да поддакивай. Он сердито отодвинулся, резко ответил:

— Советы давай тому, кто их у тебя спрашивает.

Алибаев тихонько засмеялся нутряным, затаенным смешком. Совсем сплющил узкие глаза. Степаненков перестал кружить по горнице, подсел к столу. Высоколобый, лысый со лба, немолодой чекист с аккуратно подстриженной бородкой подвинулся на скамье, давая ему место. Глуховатым приятным баском сказал Алибаеву:

— Во вкусах, видно, вы с Шуркой не сходитесь, он рассердился.

Чалыми глазами, бестрепетными, как у выхолощенного коня, глянул на Шурку. Четвертый гость, латыш, низколобый, с тя-

желым подбородком, мало вступался в беседу. Он выпускал слова с натугой, будто аккуратно выкладывал увесистую кладь. Выговаривал их отчетливо, но неправильно. Казался очень голодным или жадным. Настойчиво наблюдал, как Алибаев наливал чай, смотрел ему в рот, будто завидовал каждому глотку, внимательно рассматривал чашки, медленно передавая их другим.

Алибаев ничего не ответил высоколобому.

Вдруг налегло недружелюбное молчание. Оно длилось одно мгновенье, но все, кроме латыша, облегченно задвигались, зашевелились, разминаясь, когда женщина его нарушила. На нелепом мешаном наречье она сказала:

— Бис ее знает, куда пóсуду заховалы. Ты, Григорий, мабуть, усю поразбывал, тильки твою чарку знайшла. В чому водку питемо? В чашкáх?

Неразговорчивый латыш неожиданно торопливо с неуклюжим задором отозвался:

— Одним чарком водку можно. Это не чай, скоро сглотается.

Все засмеялись, даже Шурка нехотя улыбнулся. Алибаев визгливо крикнул:

— Ну, гости дорогие, хлеб-соль на столе, руки свое! Кларка, садись, пес с тобой, займайся с гостями. Со свиданьицем, дружки!

Из четвертной он полно налил в крупный, протемневшего серебра стаканчик, закинул голову, быстро выплеснул спирт себе в глотку, зачерпнул ковшом из ведра, запил его водой.

Солдат, принесший четверть, с рассыпчатым льстивым смешком одобрил:

— Вот правильно! Глотку цельным прочищает, скус не портит, а разбавляет в брюхе. Ну-ка, господи благослови, хватану и я.

Степаненков, поскребывая пальцами волосатое лицо, заявил решительно:

— Как хочешь, Алибаев, нам по-твоему не по силам. Сердись не сердись, а я для себя разбавлю.

Алибаев на удивленье равнодушно ответил:

— Пес с вами, пейте по своей кишке.

Сглотнул еще стаканчик спирта, опять запил водой и не закусил. Узкие желтые глаза заблестели, как янтарь. Латыш недовольно дернул челюстью, встретив его взгляд. Григорий выговорил с насмешливой ласковостью:

— А ты, приятель, подцепляй закуску, меня не поджидай, отравы никакой не подмешано. Этого дела я не уважаю.

Степаненков быстро перебил:

— Мало выпил, а уже чепуху мелешь. Подвинь-ка нам капусту, дамочка. Не знаю, как вас по имени, по отчеству.

Алибаев засмеялся.

— Прежде, по-хохлацки, Гапкой, по мужу Ковальчук звалась, теперь товарищ Клара Артуровна, а фамилию без кашлю и не скажешь.

Он подмигнул.

— Ты на ее не зарься. Бабешка вредная и в уме попорченная.

У стриженой под пепельным клоком волос еще шире и жарче, как в лихорадке, разгорелись зрачки. Светлого ободка почти не видно стало. С суматошным придыханьем

она быстро заговорила, пристукивая ладонью по столу:

— И у ранци, и у вечери нема у его до мене доброго слова, одно — грызе мою голову. А найдужче — перед добрыми человеками. Как партейные товарищи в беседу со мной, он сичас ну выставлять меня у во всяком грязном лице. Що ты, человиче, робишь? А? Чи найпуще хто мене лает? Чи добрый чоловик? Гришка Алибаев, вот и хто!

Алибаев замотал головой.

— С утра ныиче, стерва, визгает, уши заболели.

Старый солдат, склонившись к высоколобому, тихонько пояснил:

— Кликушей раньше была. Как в Александровке с мужем до перевороту жили, кажную обедню за херувимской по-собачьи скулила и корчилась. Два раза духовенство бесов из нее выгоняло.

Клара услышала, сильно побледнела, сжалась, как кошка перед прыжком, но вдруг совсем неожиданно засмеялась и успокоилась.

Повернула к Шурке лицо, очень похорошевшее, точно изнутри осветившееся чудесным, высоким волненьем. Пожаловалась кротко, певуче:

— Оце ж, чуешь, хлопец, як псы, як волки надо мною зубами стукотять. Ты же добрый, ще молоденький, послухай. Я все покидала, с ними и в сраженьях з белыми була, як нужниш, и в беде, и коло смерти, и на митингах волостных за оратора — усего бувало. Эх! Усе то мынулося! В одной воин-

ской части за политрука служила. В подполье у колчаковским документ на Клару мне выдали. Не злякалась в подполье, работала, из-под самого из-под расстрелу утикла. Вот с этим-то документом на офицерскую вдову Клару Артуровну Стжибровскую. Так як же мини Гапкой Ковальчук, как при старому режиму, зваться? а?

Она всплеснула руками, молящим взором ловила Шуркин взгляд.

Шурка сильно покраснел, потом побледнел, растерянно оглянулся вокруг. Степаненков поставил перед женщиной стаканчик с водкой. Угрюмо и брезгливо сказал:

— Пей и замолчи.

Алибаев со смехом поддакнул:

— Правильно, помолчала бы. Все брешет! Выкрала у какого-то офицера женины бумаги. С нашими таскалась и на войну. Это правда. Эй, Шурка! Ох, чисто ножиком глазами пырнул. Не злобись, паренек, мы с тобой еще, дай срок, по-душевному разговоримся. Знаю я, с чего ты волчонком на меня. Правильно! Мой сынишка Сергунька так же на отца глядит. Кларка, брысь! Не приставай к парню.

— Ах, злодияка, злодияка ты, Григорий, свит мий завьязав. Лихо — та и годи. Ну, почекай, почекай!

Опять всплеснула руками и, положив голову на стол, жалобно запричитала:

— Чи зна хто таку биду, як моя? Чи е ж такый ще бесщастный на свити! Диточек своих покидала, порастеряла. Не всмихиеться мене дочечка, Горпынко зозуленька, не вздыбытся приятненько Левко, хлопчик мий...

Старый солдат хрипло засмеялся:

— Детей вспомнила, упилась, значит. С утра с Григорьем наливаются. Клара! Клар... Ну-к, пропустите, я ее в ту избу унесу, отойдет, а то блевать еще зачнет.

Он легко поднял худенькую женщину и понес к двери. Клара с визгом забилась у него в руках. Ее сапоги били старика по коленям. Он громко выругался, но из рук ноши не выпустил. Шурка проводил их быстрым блеснувшим взглядом.

Вернулся старик скоро и подсел к латышу. Сообщил ему охотливо:

— Кларку в баню унес, верещит нестерпимо, по детям убивается. Худущая, а плодовита, сука. Четверых с мужем еще прижила, да безотцовских двое. Всех по чужим дворам раскидала. Как напьется, скорбит.

Латыш нетерпеливо махнул рукой. Он не сводил глаз с Алибаева. Степаненков ястребом кружил по горнице, а тот сидел на стуле, широко раздвинув ноги, твердо упираясь подошвами в пол, с корпусом, наклоненным вперед, будто готовясь к прыжку. И хоть говорил не умолкая, спокойно растягивая слова,— зорко следил за Степаненковым, уже не таясь.

Шурка отвернулся к окну. Плечи у него скучливо сникли. Старику хотелось беседовать. Он выпил спирту, закусил пельменем, не обращая внимания на Алибаева, заговорил одновременно с ним. Алибаев рассказывал:

— Да, в Москву свозили. Чешутся у начальства на меня руки, да колюч еж, голыми руками не возьмешь. А рукавичек на

меия с моими партизанами еще иету, да к чему прицепляться... к пустякам. «Доиесли, говорят, про твои жестокостн. Мнрные жнтели тобой ребят пугают». А пусть, говорю, пугают. Все одно этими руками детей тютюшкать иеловко, и своих-то ие касаюсь. «А зачем мертвецов расстреливаешь? Это иехорошо»,— говорят. Живому-то оно больше, чать, иехорошо, а вы мертвяков жалеете. Да я мертвых и не расстреливал, брешут, я пули жалел. Заводов-то у меия, чать, иет, иа стрельбу в живых пуль не хватает. А трупами мы окопы загораживали, чтоб вражьи пули не на нас, а на мертвецов расходовались. Родие разрешнли эту мертвую стражу хороиить. Там иашлись какие-то мастаки-доктора, распознавали, насколько глубоко в живое тело пуля входит, иасколько — в мертвяка. Не хватает, дескать, мерки. Ну, жаловались иа меия.

А старик солдат с другой стороиы — высоколобому:

— Алибаев в иашей округе торговать ие дает, а в городах уже опять свободиая торговля. Коиечно, зря ои это. Слышь, Григорий, я говорю — зря торговать ие даешь. Я сам, как иа военной службе отслужил, торговым делом шибко завлекся. Оренбургские пуховые платки, самое, в иашей стаиице вяжут. Я ие казак, иу стаиичный житель. Забрал, значит, партию платков, в Златоуст повез, на казачьи шашки иамеиял, а шашки домой продавать привез. Маленько дело в убыток вышло, проторговался дотла. Ну, все одно, сам ие иажился, а повидал, как другие иажнваются.

Им внимал и даже ухитрялся их слышать сразу обоих один высоколобый. Степаненков прислушивался к нараставшему за намерзшими слепыми окошками избы шуму. Скрип полозьев, неясный гомон. Кажется, подъезжает народ. Что такое? Шурка у окна тоже сел прямей. Повернул голову к окну и латыш.

Алибаев вдруг крикнул:

— Эй, служивый, айда, лучше споем любимую!

Затянул неверным, диким голосом:

Сто-ит гора-а высокая...

Старик, молодцевато подбоченившийся среди избы, не успел подтянуть. Алибаев оборвал пенье, засмеялся, вскочил легко и упруго, как резиновый. Совершенно трезво, отчетливо сказал старику:

— Подводчики приехали.

Выскочил из избы как был, без шапки, в засаленной солдатской гимнастерке без пояса. Старик кинулся в другую половину избы. Чекисты подались друг к другу — посовещаться. Но служивый снова появился в дверях в наброшенной на плечи дохе дорогого черно-бурого меха, очевидно господской, и, сдвинув лихо набок свалявшуюся баранью папаху, позвал настоятельно:

— Пожалуйте-ка, товарищи, и вы с нами. Айдате, айдате, Григорий зовет.

Гости переглянулись. Латыш вышел первым, вытянув шею и наклонив голову, как собака, нюхающая след. Степаненков на ходу сказал Шурке чуть внятно:

— Ты продышись на дворе хорошенько, дураком вперед не вылезай. Я сейчас с Краузе посоветуюсь.

Старик покосился на них живым несердитым взглядом и зашагал в ногу с высоколобым. Охотно, без всяких расспросов, сообщил:

— Подводы с провиантом прибыли. У вас в городу и по другим по волостям запрет на реквизиции, а у нас разрешено. Раньше поп филипповками шерсть и пшеницу собирал, а теперь Алибаев заместо него к рождеству богатеев стригет. Это дело нехудое, это я согласен, вся бедняцкая населенья в волости разговеется и одежонку кое-какую получит к празднику.

Высоколобый, слегка отстранив старика плечом, поспешно кинулся в дверь.

Только здесь, на воле, приезжие поняли, какой спертый дух давил на них в алибаевской избе. От первых глотков свежего воздуха кровь застучала в виски. Грудь задышала, как из тисков высвободилась.

Двор и видная в распахнутые ворота улица, тихие, когда приехали чекисты, теперь кишели народом.

С десяток соннолицых башкир в заношенных теплых малахаях, в пятнисто-грязных кафтанах, стеганых или на меху, сидели на корточках под навесом. Трое, часто сплевывая, курили, слаженные собачьей ножкой вертушки с махоркой. Один со сморщенным, будто испеченным лицом по-кошачьи сладко жмурился, забивая нюхательным табаком приплюснутые ноздри. Ос-

тальные долго, не мигая, блескучими желточерными глазами следили за табачным дымом. Перекликались время от времени короткими гортанными, как клекот хищных птиц, словами. Лобастому чекисту все башкирские лица, скудноволосые, малоподвижные, обтянутые тугой кожей, показались одинаковыми по виду и по возрасту. Он подумал, как всегда не просто, будто вспоминая текст прочитанных книг:

«Ни одного молодого. Все древние зверолюди, замедлившие на стезе вымиранья. Если попадемся, узнаем: «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах».

И в тусклых стылых его глазах затеплился огонек, отблеск чужого вдохновенья, слабосильный и минутный. Латыш искоса глянул, быстро и точно определил количество башкир. Степанеиков мысленно нехорошо выругался. Шурка засмеялся, с любопытством оглядывая двор.

На приступках амбара сидело человек пять чубастых немолодых казаков. Они рассматривали старинное с широким дулом одноствольное ружье. Плечистый казак с выпирающим широким подбородком встал, примерил на плече его тяжесть и глухо, нутром засмеялся. Но лицо его не задвигалось, не полегчало от смеха.

Старый служивый выстроился было начальственно, картинно в дверях, но, завидев казаков, ссутулился, поспешно зашагал к ним с заискивающим подхохатываньем.

Трое крестьянских дровней с поклажей, увязанной кошмами, стояли у ворот. Ма-

леинькие взъерошенные степные лошади замерли понуро, как в дреме. Но верховые, под казачьими и киргизскими седлами, беспокойно переминылись под сараем, тянулись мордами друг к другу и косили глазом за загородку, где тревожился с густым ржаньем рослый жеребец.

Тяжело топтались по двору и галдели мужики в тулупах, туго подпоясанных, в пимах — будто в дальний собравшиеся путь. Похоже на съезд у волости или деревенское торжище в базарный день. В широко распахнутых воротах, как в раме, стоял малорослый Алибаев. Он размахивал руками и неистово орал кому-то вслед:

— Проходи, проходи мимо, не задерживайся! Да язык в другой раз придержи, а то я сам за тебя примусь, отучу к партизанам с указкой лезть. Полгода раскорякой проходишь, коль сам проучу! Такой декрет пропишу, что не встанешь!

Степаненков подошел поближе к воротам. Испуганная гуденьем алибаевского двора, пронеслась мимо запряженная в дровни молодая лошаденка. Она смешно нырнула в глубоком ухабе и вынесла дровни боком на пригорок. Молодой парень-седок, франтовато одетый в пальто на городской фасон, в длинном пуховом шарфе, замотанном три раза на шее, вывалился из дровней, зацепился концом шарфа за дровни, поднялся и опять кувырнулся в снег из-за шарфа. По улице раскатился смех ребятишек, и они дружной черной стайкой пронеслись вслед за дровнями. Мелькали цветистые юбки баб, выбежавших из

дворов. Мужики в овчииных тулупах и в полушубках, иаброшеиных на плечи, усмешливо щурясь, приподиимая шапки, с иетороплнвой размиикой, в одииочку и кучками, подходили к башкирам, казакам и иаезжим крестьяиам. Точио мелкая рябь пробежала по глубоким сугробам улицы. Сквозь падающий сиег окружные горы казались зубчатой грудой плотио сгустившегося тумаиа. Деиь уходил. Вечерияя зимияя серость иалегала тяжело и тоскливо иа сугробы, гася их белизиу, обволакивала избы и дворы, сгущалась в закоулках и под крышами в зыбкую темиоту. И люди, их движеиье и гомои показались Степаиеикову иедействительиыми, иеясиыми, точио присиились во сие. Пил ои мало, но от духоты и волиеиья голова слегка кружилась и телу ие хотелось двигаться. Мысль: «Надо торопиться»,— в мозгу проползла медленно. Встряхнулся только, когда с иим заговорил иизеиький красиоиосый старик. Ои легоиько стукиул батожком об ворота, остаиовился около Степаиенкова, оглядел его виимательио, зевнул, перекрестил рот и, счищая сильио трясущимися корявыми пальцами сиег с бороды, спросил:

— А вы, городские, с чем иаехали?

Степаиеиков повел плечами и ответил, ие глядя иа иего:

— В гости к приятелю.

— Ыгым... Издаля гости только иа свадьбу иль на похороиы ездиют. У Алибаева ровно ии того, ии другого во дворе не деется. Ну что ж, с гостями и мы за гостей сойдем! Тоже стаканчик, глядишь, подиесут.

Он усмехнулся и вопросительно посмотрел на подошедшего служивого в дохе. Тот отрицательно помотал головой, потом лукаво прищурился, показал Степаненкову глазами на низенького старика и щелкнул пальцами себе по кадыку:

— Любит.

Низенький спокойно кивнул головой в подтвержденье:

— Около Гришки только и дышу, часто пользует, спасибо ему. У нас в Каин-Кабаке мало кто есть нестарательный на выпивку. Только во хмелю да в драке и радуются. Теперь драка-то, слышь, позатихла, а у нас не хочут. Вовсе отбились от тихости, не знай, куда теперь привернемся. Хозяйство поразмотали, так вроде дворни при Гришке. Он шаперится, и мы с им. Беспокойно, а ничего. Куды же мы от его? Никуды мы, Григорий, от тебя.

Алибаев оглянулся. Короткая, очень черная жесткая щетина его волос помягчала от пота, закурчавилась. Он был сильно взбешен чем-то. Злобно крикнул на старика:

— Ты чего здесь толкешься?! Тебя кто сюда звал? Восьмой десяток землю гаднишь. Хорошие-то люди почету себе требуют в этакие-то седые годы, а ты все холуем под руку лезешь. Тьфу!

Старик понурился, легонько вздохнул и быстро отошел к сторонке за ворота. Алибаев сумрачно глянул на чекистов и круто повернул от них к дровням с поклажей. Спросил широкоплечего суровоглазого мужика в старом, выношенном тулупе:

— Чего привезли?

Тот, лаская возы загоревшимся жадным взглядом, ответил:

— Овчины, шерсть, пшено, пимы и баранье сало. И гуси есть, и свиньины туша. Нынче, что ль, распределишь? Чего откладывать!

Широкоплечий мужик был богат. Спасая добро, один из первых прозорливо примкнул к алибаевскому войску. В годы обнищанья односельчан приумножил и скот во дворе, и запасы в закромах. Но от избытка сам в теле не потучнел, а схудал, прожелтел в лице, помрачнел. Приумножая, все больше распалялся алчной тоской. Алибаев, поняв снедающую его заботу, сухо ответил:

— А ты загребы-то свои шибко не расставляй, малость какую-нибудь уделю. Не для этаких, как ты, для бедноты реквизовали.

Служивый в дохе льстиво под руку Алибаеву сунулся:

— Правильно! Для бедноты права в бою отбили. Для кого же мы и старались!

— Ну... ты еще, старатель!

Алибаев больно ткнул его кулаком под ребро. Служивый подавился словом, отскочил, но, передохнув, снова молодцевато выправился. Григорий, глядя на него сумрачным взглядом, сплюнул и очень искренно сказал, порывисто повернувшись к Степанейкову:

— В бою-то люди бились рядом со мной, а теперь погляжу поблизости—погань одна, на поживу тянется. Что ты скажешь? Чисто вши меня обсыпали. Тварь малосильная, а шибко вредная.

Казаки прислушивались. Один крикнул:

— А ты, Алибаев, от этих от вшей, что ли, и сам заплошал? Дружок-то твой, Пантюшка-грамотей, что сейчас высказывал? То нельзя, да это запрещается. Кому запрет? Нам? О-го! Какой ретива-ай! А ты послухал, отбрехался, как собака хилая, у своих ворот ему вслед. Это чего же? Не хочешь, да засумлеваешься. Ветерь-то теперь, видать, не по нам дует.

— А ты с твоими станичниками против ветру не умеешь?

Алибаев в ответ выругался длинной фразой, замысловато прибирая одно к другому непристойные слова. Мужики восхищенно переглянулись. Казаки густо захохотали. Алибаеву мастерская брань тоже будто сердце облегчила. Он повеселевшим голосом обратился к Степаненкову:

— Вот так-то, друг! Это вы там в городу худо поворачиваете.

— А по-моему, у тебя нехорошо.

— Да уж там хорошо ли, нет ли, а правильно. Кому в восемнадцатом годе кишки выпускали, того теперь застаивать? Эге, шалишь!

Степаненков покачал головой.

— Ой, зарвешься, парень. Надо бы маленько с властью считаться.

— Мне Москва не указ. Власть на местах, за что бились? Пускай там господам потакают, мы буржуям не потатчики. Заново брюхо отрастить не дадим, ша-а-лишь!

И, уже совсем повеселев, подошел к чекистам. Шурка быстро отвел в сторону загоревшиеся глаза, круто отвернулся.

Степанеиков, тоже глядя мимо него, сказал:

— Ты, чем бахвалнться, шел бы оделся. Застудишься.

— Эге! Ни иачальством, ии застудой не запугнвай, товарнщ! Пуганы, пугаиы, до того уж перепуганы, что н пугаться разучились. У вас там во все щели баре повыперли, а мы иа господ не согласны. У нас как постановнли, так н не смеияем: мужнчий верх, а не господский. Вот поспрошай мое воннство. Недавио господнн учнтель однн запрекословил...

Степаиеиков сердито махиул рукой:

— Ну тебя! Муторио от бахвальства твоего. Ты мие лучше объясни, что это у тебя — съезд, что ль, какой во дворе?

Алибаев, уставясь ему в лицо желтыми глазами, охотио объяснил:

— Это вроде как моя личиая охрана. Всякой твари по паре. Как в Москву иа вызов выезжал, онн на станцию понаперлн, чуть поезд не задавили. Я сам их назад отослал — своей, мол, охотой еду. А всетакн иет-иет да нежданно соберу, чтобы всегда иаготове держались.

— А сегодня зачем собрал?

— Говорю — проверка, иепоиятлнвый ты какой. Ночью надумал, ныиче на заре слух с нарочным подал, и вот, гляди, чуть за полдень — онн уже все тут нз разных местов. Коль иадобиостн ие объявится, пошумят на дворе и разъедутся. И с реквизицнониымн подводамн в час угодилн. Вот дележку мою поглядишь, справедлива лн. Ай ие хочешь?

Глаза их встретились. Степаненков глуховато сказал.

— Большой охоты не имею. Ссориться с тобой придется.

Высоколобый издали осторожно вставил:

— Да, пожалуй, нам и собираться пора. Как бы ночь не застигла в пути. В Александровке ночевать собирались.

— Здесь заночуете.

В голосе его не прозвучало никакой угрозы. Неподвижный взгляд косых глаз тоже остался спокоен, но чекисты поняли, что Алибаев без боя не выпустит. Вся надежда только на подмогу. Высоколобый соображал:

«Жизни моей, пожалуй, пока ничего не угрожает. Может быть, еще торговаться с нами будет. Надо выжидать».

Выжиданье оказалось нестерпимым не только для Шурки, но и для Степаненкова. Шурка весь побелел, у него тряслись губы, он сделался сразу сам на себя не похож. Его возмущала унизительность их бессилия. В такой переделке он еще не бывал. Если бы можно было им отбиваться с оружием, а то нате — сами приехали и сдались в «плен». Чего же старшие-то думали? Надо было сразу с отрядом весь хутор окружить, запалить, занять, смирить. И он ненавидел теперь не только Алибаева, но и Степаненкова, и латыша, и высоколобого. Степаненкова мутила злоба от другого. Здешние люди, вся окружающая Алибаева непростая обстановка претили его здоровенной, цельной, как плоть, душе. Он не мог поручиться, что, если еще Алибаев обратится к нему с

каким-либо словом, он не ударит его, отметая всякую осторожность, с чувством огромного душевного облегченья. Латыш ощущал схожее со Степаненковым бешеное отвращенье к врагу, но знал, что гнев свой обуздать может. Он обдумывал возможность нападенья на Алибаева. Высоколобый один мог продолжать разговор с Григорием. И он начал было его расспрашивать о партизанских боях, но Алибаев отвернулся. Он услышал за сараем, на задах, пронзительные женские выкрики.

Алибаев засмеялся, крикнул служивому:

— Лизарыч, принеси мне одежду. Кларку шугнуть надо. С Пантюшкой, видно, спорить сцепилась. Не в свое дело лезет! Я ее сейчас! Шку-ура!

Лизарыч быстрым скоком, хлопая полами дохи, сбегал за полушубком и шапкой. И одновременно через задние ворота под сараем вбежала Клара. Она теперь была в папахе, в солдатской шинели и с револьвером на боку. Возбужденно сообщила:

— Оце ж, сучий сын, як лается! Пальнуть бы, як в Кирбасове того смутьянщика!

— Я тебе, стерва, пальну! Иди в избу, ну?!

Алибаев сильно толкнул женщину в двери сеней. Она стукнулась головой о притолоку, взвизгнула, кинулась к Алибаеву с криком, с вытянутыми вперед руками. Он ударом сбил папаху с ее головы, сильно рванул за волосы, пинком втолкнул обратно в сени, притворил дверь и накинул ее на щеколду. Клара стукнула раза три в дверь, потом жалобно заплакала и затихла в сенях. Алибаев

подошел к Степаненкову, что-то хотел сказать. Тот, хмуро глядя в сторону, не слушая, перебил:

— Где же наши кони? Я чего-то их не вижу. Мы ночевать не останемся.

Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, прищурил глаза и, явно издеваясь, проговорил:

— Ой? Не желаете больше гостевать? Не пондравилось? А мне вы глянетесь, не отпущу. Погостюете с недельку, а может, и поболе. Сколь хозяин захочет.

По лицу у Степаненкова прошла, как мимолетный взблеск, судорога бешеной ярости. Он сильно сжал челюсти, сдержался, продохнул и с усильем, но спокойно и твердо выговорил:

— Не блажи, Алибаев. Хватит. Где наша подвода?

— Ишь ты, строгий какой! От прежнего дружка рыло в сторону. Чтой-то? Не выпущу, поживете в моем монастыре по моему уставу.

Степаненков круто повернулся, хотел отойти. Высоколобый не понял его движенья. Поторопившись предотвратить беду, вызвал ее. Ему показалось, что Степаненков наступает на Алибаева, хочет ударить его. Он сзади крепко обхватил Степаненкова. Шурка наскочил на Алибаева, уронил его на землю, стал бить кулаками и сапогами. Алибаев, ловко извиваясь, вырвался. Шурка выстрелил — промахнулся. В ответ выпалил из ружья казак, тоже не задел ни одного из чекистов. Сзади башкиры налегли на них. Алибаев заорал:

— Не наваливайся, чтоб живы остались! Эй, слышь? Живыми оставить! У меня с ними еще разговор будет.

Стрельба прекратилась, но началась свалка. Чекистов обезоружили, связали, внесли в каменную кладовую, положили на кошомный ворох. Громыхнул на дверях тяжелый замок.

Трудно было определить, сколько времени пролежали. Со двора вначале доносился неразборчивый говор, людская толкотня. Потом вдруг шум возрос, послышалось движенье, похожее на разъезд. И после этого сразу за стенами кладовой сделалось очень тихо. Через промежуток времени, мучительно долгий для запертых в кладовой, замок за дверями кто-то осторожно принялся тревожить.

Освободила их Клара. Она с прерывистым дыханьем сбивчиво жаловалась на жестокую обиду от Алибаева, кляла какую-то Марьюшку, приставала к Шурке с тихим причитаньем:

— О, боже ж мий милесенький, та який ты горячий. Хиба ж можно? Полон двир, а ты стрелять.

Степаненков сердито дернул ее за плечо.

— Некогда. Народ где?

— Да никого нема. Григорий затоскував, усих по домам разогнав. О, який же скаженный! Я б его свома пальцами задушила, шайтана! Избил меня, а жалкует над сукой, забув все, хочь с пушек палы — не учует. Слова не промовит, тильки ее разгляда. Та колы бы вона не подлянка була... Тикайте, тикайте швыдче! Ото ему

будет мнй подарочек на утре. Отчннит кладовку, а положеиных нема.

С ночного неба густо падал снег. Ветер налетал порывами, ударялся в стены, в ворота. Клара пояснила:

— Нема ваших коней. Мабуть, казаки угналн. Да запряжнте Бурку. Ну! Идыть суда. Да нничого, не лякайтесь. Вин не учуе, с Машкой сопыть.

Высоколобый спросил:

— А где же этот... Лизарыч?

— В горннце с дндкой Козырем сплять. Воны же пьяны, ие проснутся.

Шурка жарким шепотом спроснл:

— Где Алнбаев?

Латыш, не дождавшись ее ответа, пошел к избе. В окне вндproperly свет. Высоколобый решнтельно приказал:

— Шурка, идн с этой бабой за лошадью. Запрягите пару, еслн найдешь. Жди во дворе.

Клара нетерпеливо крикнула:

— Да тнкайте вы! Чего не бачнлн в оконце? Намерзло, не видать н ннчуть ничого.

Степаненков легонько оттолкнул ее.

— Идн, баба, покажн, где лошадь. Запрягайте скорей. Мы сейчас.

Окрепшнй ветер ударял в стены избы, взвывал в трубе, но Алибаев шорох в сенях услышал. Приоткрыл дверь н крнкнул:

— Кто там?

Леннвый, очень мягкий женский голос в нзбе позвал его.

— Да не тормошнсь, беспокойный ты какой! Ветер шумнт. Ладно, как раз по ноге.

Алибаев двери плотио ие притворил. В небольшую щель латыш острым взглядом разглядел избу. Створчатая дверь в горницу была плотно притвореиа, и в ручку засунут ухват вместо запорки. У малеинького скосившегося деревянного стола с водкой н закуской стояла невысокая, тяжеловатая телом, белолицая, чуть куриосая жеищииа в бумазеевом капоте. Оиа внимательио разглядывала иовые блестящне резниовые галоши иа иогах.

Алибаев подошел к ией вплотиую, шумио дыша, припал головой к пухлому плечу.

— А песию, Марьюшка, ие споешь иыиче?

— Ай, да ну тебя. Уж тебе нынче пелипели.

— Это пьяные-то?

— Да здешний иарод и ие поет, когда не пьяные.

— А пьяные частушку отстукают, как дятел носом по дереву. Разве это песия — без разлнву? Оии расейских ие могут, а ты протяжио поешь. Я за то и залюбил тебя. Баба ты плохая и хапаиая, гулящая, за что бы я тебя больше залюбил?

— Ну-к, пусти, я сяду. Спать мие уж охота, а ие петь. Айда лягем.

— Ох ты, лапыиька моя...

Дверь распахиулась, чуть с петель не слетела. Латыш сзади схватил Алибаева. Круглолицая женщиие взвизгнула негромко. Степаненков быстро повалил ее иа скамью и скрутил веревкой. Быстрым говорком просила, вертя головой:

— Не затыкай мне рота, голубчик. Я не закричу, не крикну я, товарищ. А то задохнусь, у меня дых шибко крепкий, задохнусь. Я не буду кричать, миленький! На кой он мне сдался, кыргыз страшнючий! За калоши я, на калоши позарилась.

Алибаев сдался без малейшего сопротивления. Услышал слова женщины, дернул головой, и лицо его исказилось не то испугом, не то тоской.

Своего оружья не нашли. Дверь в горницу, чтоб шума не поднимать, не открывали. Латыш захватил большую железную кочергу. У Алибаева в кармане оказался револьвер.

Степанеиков сказал:

— Ладно, до подставы недалеко, едем скорей.

Крепко скрученного веревочными вожжами Алибаева с глухо заткнутым ртом завернули в большой овчинный тулуп, нахлобучили шапку и вынесли на двор. Григорий завертел шеей, вбирая ноздрями воздух, но не дергался, не извивался в руках несущих. Высоколобый даже сочувственно попенял ему в мыслях:

«Удивительно недальновидный, даже глупый человек. Дал представленье, пошумел, а в нужную минуту остался сир и беспомощен».

Очевидно, думая о том же, латыш сплюнул и сказал:

— Дырявый башка. Старики, если дверь заломают, не помогут, испугнутся. Ну, скорей клади!

Запряженная в широкую кошеву не-

складная пара, длинногривый гнедой жеребец в корню и пристяжка — молодая пугливая вороная кобыбка, беспокойно топтались, чуя дыханье людской тревоги. Жеребец заржал. Из-под сарая выскочил Шурка. Бесшумно, по-кошачьи опередила его Клара. Она наклонилась над кошевой.

— Это хто? Ох, лыхо? А чому ж ее так!.. Та хиба ж я вам его отдамо?

Крикнула отчаянно, страстно:

— Ратуйте, люди!..

Шурка схватил ее за плечи, закрыл рот рукой, она вырвалась, бешено плюнула ему в лицо и снова яростно завопила:

— Э-эй!.. Помо-жи-ите-е!

Латыш с силой ударил ее кочергой по голове. Папаха слетела вбок, Клара, не согнувшись, повалилась около саней. Густо падающий снег быстро запорошил ее.

Тревожно прислушались. Никакого отклика на Кларин крик. Ветер бился в стены строений с гульливым высвистом и унылым гуденьем. Под напором его глухо постукивали ворота об засов. Покряхтывал плетневый хлевушок около избы. В студеном мраке, пересекаемом белым мельканьем снежинок, жутко чернела их подвода и четыре насторожненных фигуры. Степаненков скомандовал:

— Садись.

Латыш схватился за вожжи. Степаненков придержал его за плечо.

— Пимы надо бы, пожалуй, захватить.

Шурка перебил:

— Кати! Некогда. На подставе запасная одежа есть.

— Ну, ладно, поворачивай к задним воротам. Через гумно выедем на дорогу.

В воротах жеребец зауросил. Круто задрал морду, поднялся на дыбы, сильно рванул кошеву вбок. Пристяжная задрожала, замельтешила ногами, метнулась в сторону, чуть не оборвала постромки.

Латыш соскочил с козел, перебросил вожжи Степаненкову, схватил корневика под уздцы, два раза ударил его кулаком под морду и дернул вперед по дорожке к гумнам.

II

На сырту, на горах крутил лютый буран. Со всех сторон неслись, налетали, свивались, кружили ветры. Сугробы, скрытые тьмой, гудели, шипели, стонали от ветрового разгула. Сверху скупо падала мелкая твердая крупа, но снизу большим белесым облаком без конца и краю вздымалась, вихрилась в студеной страсти колючая поземка. Застилала зыбкой непроницаемой мутью все вокруг. Шурка и латыш с козел видели только чуть чернеющие крупы лошадей и взвиваемую ветром, побелевшую длинную гриву жеребца. Холод жег лицо. На бровях и ресницах настыли льдинки. Лошади бежали уверенно и шибко. Люди на подводе, ныряющей в ночном буране, не сразу учуяли, как пробирается под одежду стужа, как устают не видеть глаза. Они не слышали стенаний метели и не пугались их.

Сильно разгоряченные удачей, еще пере-

живали радость ее в короткой отрывистой перекличке друг с другом, в мыслях.

Связанный Алибаев неподвижно лежал в кошеве между Степанейковым и высоколобым. Казалось — спал. Вдруг он яростно дернулся, сильно зашевелился. Высоколобый сообразил:

— Эх, забыли! Рот освободить надо, еще задохнется.

Озабоченно завозился над арестованным. Алибаев шумно продохнул и выругался.

— Ну, смекалистые! Разве пьющий человек может долго носом дышать? От запоя дыхание напорное. Закурить нет ли у кого у вас?

Ему никто не ответил. Степанейков напряженно всмотрелся вперед, оглянулся и тревожно приподнялся в кошеве.

— Краузе, что-то долго нет спуска! А? Што?

Не разобрать, что ответил латыш. Шум вьюги разрывал, глушил слова. Забеспокоился и высоколобый. Сразу ощутил, что ноги у него одеревенели от холода, а большой палец правой ущемила острая боль. Закричал, преодолевая напор ветра:

— Не сбились ли?!

Но в этот миг сбоку в белесой стонущей темноте выросла черная тень. Вешка! От сердца отлегло. И боль в ногах будто не так уж сильна. Латыш тоже весело взмахнул кнутовищем, указывая на вешку. Она, мелькнув, тут же затонула в буране. Алибаев громко зевнул, передернул от холода плечами, лениво спросил:

— Степанейков, а вы куда меня везете?

— Довезем куда иадо, ие беспокойся.

Дорогу сильио замело сиегом. Оиа стаиовилась все трудией, и лошади пошли уже ие быстрым бегом, а трусцой. Почувствовав сильио забиравшую его дрожь, Степаиеиков выскочил, пошел, держась за грядку кошевы. Следом за иим выбрался из саией высоколобый. Спрыгиул и Шурка с козел. Холодиый ветер швырял в лицо обжигающую сиежиую пыль. От иапора студеиого воздуха трудио дышалось иа ходу. Полы тулупов хлопали по иогам, мешали. Шурка, одетый щеголеватей и легче других, двигался быстрей, ио скорей других иззяб, и ходьба его ие согревала. Ои иачал дрожать и пристукиул зубами, как в сильиой лихорадке. Чекисты часто срывались с твердого иаста дороги, увязали в сиегу, с трудом высвобождались. За сапоги иабился сиег. Затревожился латыш. Повериулся с козел к саиям, громко спросил:

— Сколько верста до первой спус под гора? Слышь, Алибаев? А?

Алибаев, стараясь перекричать метель, громко взревел:

— Какой спуск? Мы вдоль по сырту шпарим.

— Этот ие в город разве дорога?

— Да я вас ведь спрашивал, черти дубовые, куда везете? Зачем в город по сырту ехать? Сразу, как на гору поднялись, ие по той дороге ударились.

— Куда-а?

— «Куда»!.. На кудыкииу гору, вот куда! Чего я, лежа, разгляжу в этакой темнотище? Не зиаю — куда, только ие в город.

— Тпру-у! Стой-ой! Че-орт!

Латыш, резко дернув, натянул вожжи. Пугливая пристяжная, подавшись назад, больно ушибла о скалку задние ноги, взбрыкнула, бешено рванула вбок. Жеребец взмахнул гривой, захрапел, тоже сильно дернул кошеву. Сани накренились, латыш не удержался на козлах, упал, протащился на вожжах и выпустил их из рук.

— Сто-ой! Стой! Тпру! Стой! Дер-жи!

Шумно дыша, сразу согревшись, чекисты, увязая в снегу, падая, поднимаясь, все же не отбились от лошадей, добрались. Кони тоже с огромной натугой преодолевали вязкие снежные валы наметенных сугробов, бежали недолго, с размаху угрузли в лощине. Жеребец надрывно заржал. Этот близкий живой зов просек взвыванье метели, помог людям в бесноватой мутной тьме собраться вместе у подводы. Шурка выбился из сил. Обхватил руками козлы, припал к ним головой и никак не мог отдышаться. Высоколобый тоже изнемог. Дрожащими руками нащупал край кошевы, грузно ввалился в нее. Незадолго до этой поездки у него обнаружилось нехорошее состояние сердца, и сейчас ему показалось, что он умирает. Непередаваемая физическая тоска во всем теле, стесненность в груди и особая, пронизанная колючими искрами темнота, видимая или, вернее, ощутимая закрытыми глазами. О, так мучителен может быть только чудовищный, явственный уход живого в небытие! Он застонал, скорчился в санях рядом с Алибаевым. Степаненков и латыш топтались, тяжело месили снег около лошадей,

громко перекликались смятеннымн обрывнстымн фразами, перебраинвались. Алибаев, с силой вздернув голову, яростно заорал:

— Гусем надо было запрячь! Недоумки, дьяволы безголовые!

Латыш в сердцах замахнулся иа иего кнутом, Степанеиков схватил за руку, удержал.

— Постой... Алибаев, назад повернуть далеко?

Шурка звеиящим нспугаииым голосом крикнул:

— Да не ври, проклятый бандит! Все равно, хоть самнм пропадать, тебя из рук не выпустим!

— Э-эх, ублюдки безмозглые! Всадили сами себя! Разве в буран можно коней с путя дергать? Теперь чего разберешь — куда далеко, куда близко?

Кругом со стенаньем и визгом качалась белесая бредовая муть, закрывала все путн. Степаиенков попробовал искать их собственные следы с дороги сюда. Но они уже нстопталн снег около подводы. Подавшись шагов иа десять подальше, он сразу перестал видеть кошеву и лошадей, с трудом уловил голоса, закрнчал:

— Где вы-ы?!

Ветер озлел илн нзменил иаправлеиие. Отстав от убегающнх коией, оии все же слышали ржанье, теперь отклик Алнбаева чуть долетел до Степаненкова:

— А-а! Сюда-а!

Закудрявившаяся, запорошеиная снегом шерсть взъерошнлась на лошадях. Молодая кобыла дрожала мелкой дрожью вся — от

гривы до хвоста. Коии вытягивали шеи, иапрягались и не могли высвободнться, стоя по брюхо в сиегу. Латыш ненстово хлестал их кнутом, ударял кулаком по хребтам и в бока, чтобы оии сдвииулись с места.

Степанеиков мрачио и иеувереино выговорил:

— Что ж, иадо кричать. Может, кто с дороги услышит.

Закричал первый:

— А-а-а!.. Помоги-те!..

Высоколобый завознлся в саиях, напряг все силы, продохиул, с усильем слабым, иеверным голосом простоиал:

— Сюда-а! Помо-о-ги-и-те!.

Шурка крикнул отчаяиио, очеиь громко, захлебиувшись криком, как захлебываются плачем дети. Латыш вспомиил, вытащил револьвер, выстрелил вверх три раза подряд.

Вглядывались, прнслушивались, мучимые надеждой. В бесиоваиье зыбкой мглистой тьмы почудился Шурке отклик, чье-то живое спасительное приближеиье. Он взволноваиио попросил:

— Подождите!

Но сам ие мог ждать, сейчас же сиова закричал:

— Сюда-а!.. Э-эй!..

Слышали, ждали. Все то же взвываиье, гудеиье, шипящее шуршаиье снегов под иалетами ветра и неживое жуткое колыхаиье студеного мрака. Вдруг ясио выделился унылый вой, непохожнй иа метельиый. Он иарастал, креп, доиосился все настойчивей и чаще. Высоколобый нсступлеино взвизгнул:

— Волки! Краузе, стреляй!..

Латыш выстрелил вверх три раза, потом завозился, отыскивая запасные пули. Долго заряжал плохо сгибающимися пальцами револьвер и хрипло, отрывисто бормотал проклятья, уже не по-русски, на своем родном языке. Стояли, топтались, кричали долго. Прислушивались, совещались. То один, то другой порывались идти на поиски дороги, но скоро возвращались обратно к саням. Шли часы. Им показалось, что ночь должна была быть уже на исходе.

Вой затихал, потом снова вздымался совсем близко. И высоколобый не знал, мерещится ли ему, или он действительно видит огненные точки волчьих глаз. И справа и слева, здесь и там — всюду в окружающей их жуткой темноте. Снова подступила к горлу дурнота, затомила страшная телесная тоска. И он отчаянно, неожиданно громко взмолился:

— Господи!.. Господи, помоги!!! Господи-и!..

Алибаев опять сильно завозился около него, закричал:

— Эй вы, дьяволы! Шурка-то никак упал? Растирайте его, тормошите. Да развяжите вы меня, собаки!

Степаненков наклонился над Шуркой, разметая по снегу полы тулупа. Позвал латыша:

— Краузе, надо его в кошеву... или в снег... Слышишь, давай снег разгребать. Всем нам надо в снег закопаться. Теплее.

Латыш рванулся к саням, остановился, плюнул и хлопнул себя рукой по лицу. Вспомнил, что захваченную в алибаевской

избе кочергу бросил на дворе, пристукнув Клару. Иззябшие пальцы плохо повиновались. Мерзлый снег трудно им поддавался. Они разгребли яму только для Шурки, чуть прикрыли снегом его одного. Высоколобый, уткнувшись головой в угол саней, стонал уже без слов, часто содрогаясь всем телом. Шурка совсем затих около кошевы на снегу. Алибаев невнятно и злобно бранился, перекатываясь в кошеве, С огромными усильями удалось латышу вздуть спичку. Степаненков, широко распахнув тулуп, защищал слабый огонек от ветра и мокроты. Латыш разглядел на часах время. Только девятый час вечера на исходе. Краузе решительно сказал:

— Искать надо дорога.

Попробовал выпрячь пристяжку, она жалобно замотала мордой, осела еще глубже в снег, точно у ней подогнулись ноги.

Алибаев скрипнул зубами:

— Ухайдакали коней! Жеребец застывает, а кобыленка совсем сквелилась. Эх, паршивцы! Из-за вашей дурости животная гибнет! Нет ли дерюжки какой в санях, прикрыть бы.

Латыш махнул устало рукой и пошел вправо от саней.

— Краузе, не ходи от подводы. Пропадешь, болван!

Латыш не отозвался на окрик Алибаева. Отважно шел, увязая в снегу по колена. Скоро его не стало слышно. Алибаев, окликнув его еще два раза, раздумчиво сообщил:

— За ветер зашел, пиши пропало. Нель-

зя непривычному в буране от подводы отдаляться.

Степаненков уже перестал дрожать от холода. Почувствовал, как все его тело словно затекло, налилось большой, трудно преоборимой усталостью, как огрузнели над его глазами веки и ослабели губы. Он испугался. Закричал, с усильем ворочая языком:

— Краузе-е! Наза-ад!

Будто подымаясь на крутую гору, зашагал он около подводы, превозмогая тяжесть своих плеч и ног. Временами принимался опять кричать все слабеющим голосом:

— Эй! Кто живо-ой!.. Помогите-е! Кра-а-у-зе-е!..

И в час тяжелого топтанья, беспомощных криков в неживое, во тьму, в бездушное злодейство стихии он впервые в жизни ясно и строго думал о нелепой неверности человеческого существованья. Не один раз смерть дышала прямо ему в лицо. Как все люди, он перенес тяжелые, опасные болезни. С мужеством, не для всех досягаемым, сражался в бою. В ревностной работе Чека он часто, видя гибель, безбоязненно приближался к ней. И ни разу его не поражала мысль о хрупкости его человечьего, уже никогда неповторимого века. Мысли эти не оформлялись в его мозгу в ясные слова. Он восприиял и понял их в одном животном ощущенье гнуснейшей своей жалкости перед концом. Раньше, ожидая смерти, он знал, что станет отбиваться до последнего вздоха. В болезни будет лечиться, от живого врага — защищаться силой или хитростью. И в этом непременном сознательном отпоре,

в достойной защите своего живого дыханья был самый большой смысл его человеческого бытия, уверенность в ценности его созидающего жизнь по своему устремленью мыслящего существа. Не только чувствующего, но и сознающего себя. Теперь он погибал вместе с жеребцом и пугливой молодой кобылой так же безответно и глупо — от случая, от стужи, от снега, погибал, как ничтожная букашка, которую давят, не жалея, не радуясь, просто не замечая. И от этой, не размышленьем, не мыслями, а чутьем учуянной конечной, одинаковой с букашкой своей жалкости он затрепетал, испугался. Кричал в тьму и вьюгу, звал помощь. Устал и снова встрепенулся от страха. Нельзя больше топтаться и ждать! Взбодрившись последним усильем воли, он, как Краузе, решительно пошел искать дорогу. Алибаев во всю силу своего голоса закричал ему вслед.

— Степаненков, пропадешь! Развяжи меня! Я, может, найду дорогу. Я здешний, у меня кыргызский нюх.

Степаненков приостановился. Прокричал в ответ громко, но уже беззлобно:

— Найдешь — так убежишь. Выручишь разве нас на свою погибель?

У него уже не было ненависти к Алибаеву. Смутно он ощущал даже его братскую близость от одинаковой их человечьей беспомощности перед лицом стихии.

— Развязывай! Кабы не захотел вам в руки даваться, так... Эх, дурак! Вон эти двое вовсе скорежились. Не медли. Мне парнишку жалко, а не нас с тобой.

Степаненков подошел, молча принялся

развязывать веревки. Закочеиевшие руки ие могли осилить узла.

— Да, чать, иожик у тебя есть в кармаие? После, как я пойду, ты сиегом шибче руки растирай.

Степаиеиков еще раз вяло воспротивился:

— Алибаев, пожалуй, я ие пущу тебя. Пропадать — так вместе.

— Ну, зачем ты губами зря шлепаешь? Сам скоро взвоешь: иди поищи. Это тебе не от людей отстреливаться, тут пулей не пособишь. Ну? Тяии мою руку. Вот! Эх вы стервецы, тело примяли веревками! Стой расправлюсь.

— Алибаев, пропадешь и ты. Куда тут идти?

— Я с рождеиья здешиий, степовой, ие учи. Я под ветер ие пойду. Голос подавать стаиу, услышишь. Слушай хорошеиько. Да ие поддавайся! Двигайся, ворошись, ие дремли. От подводы далеко гляди ие уходи. Эх ты, коияги-то застывают тоже! Большой убыток вы мие иаделали, стервецы. Кони хорошие, иедешевые. Эхма!..

Он выпрыгнул из саией, широко и сильио размахиул руками, расправляя смятое иеудобиым лежаиьем тело. Потом с сердитым неясиым бормотаиьем пошарил в саиях и около саией иашел киут, сильио стегиул обеих лошадей по очереди. Жеребец содрогнулся, дериул кошеву, проржал коротко и слабосильио, будто жалуясь. Пристяжиая чуть взмотиула мордой и опять поиурилась.

Алибаев сочувствеино причмокиул, похлопал ее по спине, вздохиул.

— Двоих молоденьких загубили — Шурку и вороную мою кобыленку. Вряд ли отдышатся! А молодое губить — это только н есть один грех, никак ие замолимый. Сволочн вы!

Он подобрал полы тулупа и, увязая, но привычно легко высвобождая крепкие кривые ноги, закружил около саней. Остаиавливался, вглядывался в крутящуюся мокрую темь, потом пошел в одиом иаправленье, наискось от подводы. Скоро стал иевиднм, затонул во мгле, но часто доиосилнсь его короткие неразборчивые окрики. Казалось, он переругнвался с бураиом. Степаиенков оживился новой иадеждой, бодрей шагал около саней, остаиавливался, напряженио вслушивался, ловя алибаевский голос. Заворочался со стоиом и приподиялся в саиях отдышавшийся высоколобый, горестио позвал:

— Степаиеиков!

— Ну?

— По голосу слышно — ои все удаляется. Не вернется ои. Да это все равно... На что он иам *теперь?*

— А иу тебя к дьяволу! Молчи.

Вдруг далекий голос Алибаева прокричал сильней и ясией:

—...о-ро-ога!.. а-а-а!..

Степанеиков всем телом рванулся иа крик. Собрав все силы, крикнул:

— А-а-а! Где же ты?

— Иду-у... ва-ам!..

—...либаев!.. суда-а!

— Иду-у!..

Голос Алибаева то звучал совсем блнз-

ко, то ослабевал, отшибаемый вьюгой. Около саней он вынырнул совсем неожиданно.

— Кружил, кружил, пропер было далеко, а дорога-то оказалась чуть не под задом у нас. Вот теперь не знай, как коней выволокем. Эти двое-то тяжесть, а не помощники. Об Шурке я уж не говорю, а вот... Эй, господни, идти сможешь?

— Не знаю.

Высоколобый попробовал вылезти из кошевы, но вскрикнул, бессильно упал назад.

— Ноги... ноги больно! И руками держаться никак не могу...

— Э-эх ты, пес тебя задери! Тебя, чать, и выкинуть не грех. Ну, ладно, лежи покуда. Что ж, Степаненков, айда постараемся. Руками владеешь?

— Плохо, но все-таки могу.

— Ладно, плечом тогда подсобишь. Перепрячь надо. А вы, недопеки, над здешним народом начальствуете, а ничего не примети́ли, как в чем он вывертывается. Ужли и ты, Степаненков, не слыхал, что в снежную дорогу гусем пару запрягают, а? И подобрали как: жеребца с кобылой. Да она же еще молоденька, непривычна. Ну-ка, ну-ка, милая, но-о!.. Ожила? Эх, как трусится! Чего, чего? Стой, стой, глупая! Ну, ну, вышагивай! Стой, куда! Эх, дура, вырвалась! Из последней силенки прыгает по сугробам. Ну, чего ж! Догонять — измаешься! Да у нее все одно это последнее брыканье. Лягет в пути. Пропала, голубушка! Чего пнем стоишь? Айда помогай жеребца из снега вытаскивать. Стой! Тут я. Ты подымай кошеву плечом. Этот постарей, поумней, ну да

н поснльней. Ну, голубь, ну, коняга! Но-о! Хоп! Еще... Ну-у. Но, но, но!.. Ну... еще... еще... М-м-м-ых! Ну, вот вылезли. Передохнн, Степаненков. Что — скрючнлся н ты, друг? Ничего, живу быть, так расправншься. Айда, рюхайся в кошеву, отлежнсь. Теперь уж с дороги жеребец не сойдет. Ишь, ишь, скотина, а поннмает, что вызволилнсь.

Лошадь тяжело вздымала бокамн, но, учуяв дорогу, дергала вперед, рвалась в бег.

— Стой, стой... Сейчас. Еще Краузе пошуметь надо. Может, где поблнзостн мается. О-о-о! Кра-у-зе-е! То-ва-рнщ! Доро-ога! Сю-да-а! Това-а-рнщ!..

На братский свой зов Алибаев отклнка не дождался, хоть н немалое время взывал.

— Говорил дураку — не ходн. Ехал бы теперь с намн живой, радовался бы. Эх ты, дельный мужнк пропал. Лучше бы вот этого барнна заместо Краузе в степн оставить. Ну, да чего уж... Едем. Доберемся, верховых нз села на розыски вышлем. Айда! Но-о!

Высоколобый нз кошевы громко взмолился:

— Скорей!.. Погоняй, дядя, плохо мне.

Алнбаев повернул голову.

— То-то, человече, еще «тятей» назовешь. В беде бывает мирной человек хуже, чем опасный. Мнрной сробеет, а опасный захочет, дак вызволнт. Но-о! Двига-ай!

Ехалн длинным долом. Здесь позёмка взметывалась слабей. Только густо сеяло сиегом беспросветное небо. Сугроб на дороге был мягче, полозья глубоко входили в него. Лошадн тяжело везтн, но она бежала во

всю силу, отфыркиваясь и похрапывая. Буря в узком долу завывала, как в трубе. Просекала, рвала слова. Степаиеиков ие мог поиять, о чем кричит Алибаев, по долетавшим бессмыслеииым обрывкам. Ои и ие вслушивался. После всего испытаииого в сумбуриый этот деиь и ужасиую иочь теперь иалегло иа иего тяжелое спокойствие, приглушившее сердце и мозг. Ои силился думать ие о том, что ожидает их иа иеведомой стоянке, куда везет Алибаев, а о том, что все же доверяться ему иельзя, ои — враг, ио ии злобы, ии иастороженности в душе эти леиивые, дремотные мысли уже ие возбуждали. Хотелось только тепла и сиа. Скорей бы в жилье, согреться, расправить затекшее, издрогиувшее тело. Вдруг требовательио вошел в уши страииый гулкий звук, иапомииивший что-то хорошо зиакомое, связываемое всегда с зовом, с кличем. Что это такое? Степаиеиков взбодрился, выпрямился, пригиулся вперед, иасторожив слух. Алибаев огляиулся, иаклоиился к иему с козел.

— Слышишь? К селу подъезжаем. Звоият для заплутавших. Это, пожалуй что, Сусловка. Большое село. Тут даже милициоиер вам иа подмогу есть. Ну, барии, вот теперь помолись, поблагодарствуй за спасенье от иечаяииой смерти. На звои выехали, теперь ие пропадем. Все-таки, видать, твой бог расплющил глаз-то, когда давеча ты вопил к иему.

Высоколобый ответил смущеииым, ио уже окрепшим голосом:

— В бреду, вероятио, я, в беспамятстве был.

— То-то — в беспамятстве. Ладно, мы со Степаненковым за вас за всех старались, память не теряли. Ну вот, вам вперед наука: какая ни есть спешка, дуром ночью в буран в степь не суйтесь. Все одно — дело не выйдет.

Алибаев говорил строго, как набольший, подчеркивая, что теперь они у него в руках. Но замученные, иззябшие люди этим не возмущались. Степаненков очень неохотно и ненастойчиво все-таки попробовал дать ему отпор:

— За нас, Алибаев, ответ с тебя все равно...

— Не трепли, друг, языком. Аль башку поморозил, плохо смекает? Убежать-то я мог, а не убежал. И в Қаин-Қабаке я сам в руки дался, смекни хорошенько. Выпустить вас позабыл, Марья ко мне пришла. Я только похорохориться перед вами хотел. Ну об этом разговор в городе будет. Шурка-то еще дышит?

— Сейчас шевелился, стонал.

— Стонет, это хорошо. Тело, значит, свое чувствует. Может, отдышится. Ну-ка, гнедой, шевелись! Еще маленечко. Н-но!..

III

В чистой горнице все на городской фасон. На окнах вверху надвески в три зубца из жесткого кружева. Цветы порасставлены на особых табуретках. Тоже не деревенские — не герань, не столетник, а клен, фикус и уродливые кактусы. У стен венские

стулья, диван деревянный, крашеный. Стол перед ним, отступя, посередине горницы, покрыт зеленой клеенкой с желтыми изображеньями Кутузова в середке и других генералов Отечественной войны в корнчиевых кружочках по углам. Висячая лампа под потолком велика, на кероснн жадна, невыгодна. И горка с разнокалиберной посудой за стеклами, и неширокая железная кровать под байковым одеялом, и цветные бумажные обои на стенах — все будто не обжитое, не для себя, а напоказ, по праздничному случаю устроенное. Но за обоями, в пазах и щелях — многочисленное клопиное племя. Всю длинную здешнюю зиму горница не проветривается. Дух в ней стоит исконный, густой. Из неплотной створчатой двери идет смешанный запах овчин, квашеной капусты, кизячной топки и застарелого, въевшегося в одежды человечьего пота. Передний угол с протемневшими иконами и только с одним моложавым образком, беленая кирпичная голландка с открытым прокоптелым жерлом без затворки, за голландкой — дощатая настилка для лежанья, с кошмой и бараньими тулупами в головах. Это настоящее — то, с чем живут.

Савелий Максимович, хозяин, хоть и хмурился, когда нежданные наезжие люди внесли в парадную горницу суматоху, сор, раскидали по полу сапоги и тулупы, сидел в ней теперь как-то охотливей, вольготней, чем всегда. Был он прижимист и негостеприимен. Достатком своим, уцелевшим после всех потрясений, без надобности хвастаться не любил. Еще спозаранку, убоявшись бура-

иа, завериули к иему с дороги иа базар двое старых его зиакомцев. Одии из иих, Леоитий Кудашев, человек в ныиешиее время сильиый — председатель Совета здешией волости. Другой тоже очеиь полезный — прославлеииый в округе пимокат. Для иих Савелий Максимович распорядился согреть самовар, ио угощал их все же вместе с собой в жилой, семейиой половиие.

В иочи иаиесло Алибаева с обморожеиными. Косоглазый распорядился в дальней горииие их иа отдых устроить. Савелий проживал не в алибаевской волости, ио знал его силу во всей округе и опасался. Алибаев как-то грозился и в чужих волостях перерошить «амбарушки». Савелий этих угроз опасался, при встречах старался задобрить Григория и теперь подчииялся его распоряжеиьям. Возились с его спутииками долго. Всей семьей растирали, согревали, отпаивали самогоиом и чаем. Шурка и высоколобый лежали иа двух перинах иа полу. Высоколобый крепко спал, а Шурка затихал лишь временами, иеиадолго. Сильные боли в теле иагиетали иа иего бредовые жуткие видеиья. От физической маеты и от страха ои стоиал и метался. Степанеиков, с лосиящимися от гусииого сала лицом и руками, вытяиулся иа диваие у стола. Ои часто открывал глаза, ио взгляд его был блажеиио-туп. Ои ие слышал ничего, кроме своего сладостио отдыхающего тела. Алибаев уже успел отлежаться. Ои взбулгачил не только Савелия Максимовича, а всю его семью. Посылал его сыиовей во многие дворы и добился, что сиарядили верховых ис-

кать в степи заплутавшегося Краузе. Теперь, голый до пояса, сидел на полу, поджав под себя крест-накрест ноги, топил соломой голландку. От ярких вспыхиваний неподвижное лицо его казалось позолоченным тусклой позолотой, как у идола.

Буран все не затихал. От налетов ветра гудели порой стены. В замерзшие окна швырком ударялся снег. Час был уже поздний, полночный, а в горнице и в другой половине избы еще не спали взбудораженные люди. Пимокат сидел на припечке, свесив ноги, а Леонтий Кудашев — рядом с Алибаевым на полу перед голландкой. Он, лукаво усмехнувшись, обратился к хозяину:

— Что вздыхаешь, Савелий Максимович? Гостей считаешь? Подвезло тебе сегодня.

Савелий знал, что Алибаев с нестоящим городским народом не станет валандаться. Знакомство в городу ведет только с начальниками. Поэтому ответил сдержанно, но достаточно приветливо:

— Гости на гости — хозяину радости. А кто это с тобой, Григорий Петрович, вместе в беду-то попал? Чем в городу занимаются?

Алибаев усмехнулся:

— На ночь не стоит сказывать. Завтра весь их чин обозначится.

Савелий насторожился.

— О-о? Вона что!

— Да ты сиди спокойно, не ерзай. Тебя это не касаемо.

Кудашев весело засмеялся.

— Этот, на диване-то, знакомец мой. Мы с ним пространно беседовали. Только он

в нездоровье сейчас, потому и не признал меня.

— Где же это ты с ним обзнакомился?

— А когда в чеке шестнадцать суток сидел.

Кудашев легко поднялся, пошел за кисетом к столу. Был он сухощав и легок на ходу, очень моложав для своих тридцати лет. Алибаеву понравилось его чистое, выбритое лицо и светлый взгляд, оттого он живо заинтересовался.

— Я про тебя что-то мало слыхал, а то всю округу знаю. За что же это ты втепался?

Дверь приоткрылась, и в горницу вошла высокая русая девушка. Она сильно покраснела, встретив взгляд отца.

— Я за тулупом, папаня. Одеваться нам.

Алибаев приметил, что необычно для буднего дня она старательно приодета, причесана с гребенками в закрученных волосах и, отвечая отцу, быстро метнула взгляд на Кудашева. Он оглядел их обоих засветившимся взглядом, когда Леонтий торопливо проговорил:

— А вы посидите с нами, Анна Савельевна. Все равно скоро верховые приедут, разбудят. Мы вот тут беседуем...

Савелий неласково перебил:

— Спать ей пора. Чего она к нашей мужиковской беседе пристанет. Иди спать, чего болтаешься? Завтра не добудишься.

Девушка покраснела еще сильней, вытащила с припечки из-за спины пимоката тулуп и ушла.

Кудашев поглядел ей вслед, кашлянул,

закурил вертушку, стесненно, нарочито иебрежно вымолвил:

— Вы, Савелий Максимович, по старннке дочерей ведете. В городах, особенно в иынешиее время, оии ие только в разговоре — и в делах участвуют, так сказать, во всем рука об руку с мужчииами. Отчего же с нами н не побеседовать бы Анне Савельевие в нашей беседе?

Савелий, отведя глаза в сторону, строго сказал:

— Девка беседовать может только с матерью да с подружками. Замуж отдадим, тогда с мужиком побеседует. Теперь ие дозволяю н на улицу играть, и на свадьбы гулять не пускаю. Шибко озорной народ нынешний.

Кудашев вспомнил, что Савелий, по рассказам, сам смолоду через край озоровал. И в здешние края попал по уголовиому делу. Срок отбыл, общество его ие прииялo обратно на родиу. Оттого н осел здесь, женился, добро иажил, теперь славится своей степеиностью и строгой повадкой. Хотел было Леоитий иамеком уколоть, отомстить за свое неприятное ему смущенье, но сдержался. Насупившись, зашагал по горнице. Алибаев с большим душевным нитересом следил за иим. Но когда Кудашев оглянулся на него, он отвериулся и равнодушно сказал:

— За что же тебя шестнадцать деи в чеке держалн?

Савелий Максимович отрывисто засмеялся. Точно глухо пролаял. Но проговорил без улыбкн, неодобрнтельно:

— Начальннк иа начальника наскочил.

Ну, вы беседуйте, а я пока пойду посплю. Чать, к свету, не раньше верховые вернутся. Ишь ты, гудет как! Свету, чать, не видать. Разбудишь меня, Григорий Петрович, коль спонадоблюсь.

— Ладно.

— Да вы бы тоже ложились. Чего...

— Кероснн жалко? Если из городу вызволюсь, пришлю тебе из своего запасу.

Савелий приостановился.

— А ты как же в город-то?.. Не по своей разве воле? Опять везут?

— Иди, иди, спи, обо мне не печалься.

— Да об тебе чего печалиться! Ты заговоренный. Смерть-то тебя, не знаю, какая забрать может, не то что начальство.

И он, тяжело ступая, вышел. Стены ныли, гудели от ветра. Сухо ударялся швырками снег в стекла. Раза два громко вскрикнул и забормотал Шурка.

Алибаев подбросил в печку новую охапку соломы.

В горнице стало жарко, светло. Оттого что за стеклом беснавалась метель, казались жар и свет троим неспящим особенно дороги. Они расположились рядком. Пимокат лежал на животе, покашливал, почти не вступался в разговор. Большими печальными глазами глядел на огонь. Лицо его, уже сморщенное, с седоватой реденькой бородкой, сделалось наивным и теплым. Обычно он мешал всякой беседе желчными придирками, недобрым смешком, назойливым приставаньем, похожим на немощную злость хилой беззубой собачонки. Кудашев на него взглядывал не раз с ласковым удивленьем. Все трое, слу-

чайио столкиувшиеся у одиого огия, под защитою одной кровли, иадежно укрывшей их от лютого вражьего дыхаиья стихии, обрели редкую радость душевиого большого сближеиия друг с другом. Каждый ощущал хорошую человечью заиитересоваииость разговором, мыслями, судьбой другого. Кудашев иеторопливо рассказал о своем аресте.

— ...Явился, значит, этот хлыщ к иам, зареквизировал во всех дворах тулупы и полушубки. Я гляжу — дело-то плохо, иаселенье волиуется. Взял да у себя в волости его заарестовал, полушубки назад роздал. Незакоино он действовал, после все выяснилось. Да если бы еще обидел вот Савеленя — дело десятое, а то обобрал и правых и виноватых. И для себя лично, главное, миого иахрапом приобрел. Ну, а у него маидат,— в волости-то испугались. Значит, его освободили, прямо, можно сказать, отбили, а на меия — доиос. На их донесенье из города приказ меия с помощииками моими арестовать. Даже подводы ие дали, пехом в город пригиали. Отсидел я, значит, в чеке в общем номере шестнадцать суток, пока дело разобралось. А потом — как в кадрели — он туда, а я сюда, иа свое место.

— Что же, ие обиделся ты? Не взбунтовался?

— Обиделся было, да одумался. Дурость и лиходейство, товарищ Алибаев, как дурная трава, меж хорошим из земли прут. Плохо, чего скажешь? Нехорошо. Я, как из Фраиции из плена бежал, сильио к большевикам стремился. Думал тогда, что у иас все хорошо, все без задоринки, а увидал миого плохого.

Ну, все-такн не забуду, как я к ним через страсть бежал. Добег — не уйду. Я вам так объясню: вроде как через те трудности кровная моя семья стали большевики. В другом месте я чужак, а здесь все свое. Где н засмердит, да ведь своя болячка, не отплюиешься, лечить станешь.

Он подробно рассказал, как бежал, три раза был возвращаем назад на тяжкие штрафные работы, наконец все же пробрался через Швейцарию в Россию. Перед его глазами вставали картины чужеземной жизни, теснились воспоминания о событиях, разговорах, городах, горах, морях, пережитом отчаянье и ликованье. Полоненный ими, говорнл затрудненно, теряя нить, но с огромной сердечной горячностью. Потом пимокат медлительно и печально размышлял вслух:

— Трудящему, если он не пьяница и не ленив, жить всегда можно, даже при нынешней скудости. Одно беда: доктора хорошие почти все с буржуями убежали. Как я захворал, не умеют помочь. Сколько добра в городе пролечил, а все перхотка грудь сушнт. Ничего мне не мило. Я и не разбираю, плохи ли, хороши лн нонешние правители, вот ученых у них мало — это плохо, доктора нестоющие... До войны у нас один киргизин своей киргизской молитвой хорошо грудной боли помогал... А что, Григорий Петрович, ты ведь киргнзского рожденья и теперь водишься с ними. Дознайся, пожалуйста, куда сгинул этот знахарь, хромой Шишингара. Я и за сто верст к нему доеду!

Кудашев перебил:

— Правда, зиачит, вы из киргиз? Лицо ваше действительно выдает вас.

— Что рожей, что кожей в папаию мать меия выродила. Мое рождеиье очеиь даже занятное.

Алнбаев взглянул на Кудашева иевидящим, зачароваииым далеким видеиьем взглядом.

— Ноиешиюю зиму часто сны мне на вспомнику снятся. То самого себя мальчоиком вижу, то привидятся мать с отцом, коих и ие видывал, какие нз себя были. Родительиицу-то видал, да глаза у меня тогда еще были молочные, иезрячие. Всякое, все из дальиего, как у старика, иа ум во сие находит. По примете у иестарого человека это к смерти бывает. Во сие душа прощается, печалуется, глядит, где ходил, чего видал, слыхал человек. Эта девчоиочка русявая тоже расквелила, кой-чего напомиила. Страдашеиька твоя, кажись, Кудашев? Ну, иу, хоть отец буржуй, отца и по шеям можио. У меия вот такая же была... Похожая. Да. Вьюшку-то засуиь, Кудашев, прогорело, а то выстынет. Рождеиье мое удивительиое, с другими несходиое.

Уставившись иеподвнжиым взглядом в затухшее успокоеииое жерло голлаидки, ои рассказывал неспешио, по-крестьяиски строго, постепеиио, по годам, от иачала, будто раздумчиво проходнл по старой меже.

...Девушка православиая, зиачит, она была, а в голодиый год кыргызии ее иакормил и всю семью ее вызволил. Она с тем кыргызиином и слюбилась. Увез он ее к себе в кочевку. Детей иародили. Ну, а в Алексаидровке-то в это время главный миссионер

проживал, чтоб окрестных кыргыз в правильную веру приводить. Настойчивый, достойный был человек, в своем деле ретивый. Много кыргыз покрестил. Ну, к слову, после голодного году, как скот перевелся, они надолго затощали. Охотой множество в православную веру обращались. Для новокрещенцев начальство новый поселок устроило, избу каждому давали, лошадь, корову и хлеба на первый запас. Сам губернатор с иконками их благословлять один раз наезжал. Плохо ли? Гуртом крестились, семьями, а в избах маханину жрали, по-кыргызски разговаривали и Магомета и Николая-угодника равно почитали.

Чать, и посейчас так живут, не обрусели, коли не разбежались. И тогда, летами, на траву, в кибитки, много убегало. Ну, а поп этот, миссионер старший, видит — много кыргызья крестится, еще ретивей стал. Как же, мол, так: тут неверные стадом к православному богу валят, а тут вон какой случай! Мать моя, женщина правильной веры, с кыргызом сошлась, детей народила от него, их не крестит и сама от своего бога отшиблась. Сейчас, значит, мать под стражей — к попу.

В страду с поля взяли. После голоду кое-кто из кыргыз сеять зачал, русские бок о бок — обучили. И родитель мой, нехристь, тоже. Может, мать его, по крестьянской своей навычке, на хлебопашество натолкнула. Приволокли ее к миссионеру на кухню. По обряде кыргызка, но по-русски чисто говорит. Ребятишки чистокровные кыргызята, прямо неподложные. Девчонка старшенькая

еще кой-как слов с пяток русских прохныкала, а мальчншка-пятилеток одно — горлом по-кыргызски булькает. Одежу на нх расстегнули, глядят — крестов нет на шее. Все это, что рассказываю, после от людей слыхал. Сам ие видал, мной мать иа сиосях была. И те, старшеиькие, сестренка с братншком — люди после сказывалн мне — тоже былн, как я, в отца, чернущне, кривоногие. Орут, лопочут, трясутся. Мать иа полу на коленках елозит, ногн поповы ловит, слезамн половик залнвает, прнподымется, крест на своей шее за гайтан дергает, показывает — не сменнла, мол, веры, по-православному молюсь, за грех с нноверцем сама отмолюсь, перед богом буду маяться и каяться, ие карайте по людскому закону. Через слезы кричит: «Хучь кыргыз, хучь погаиый, для православиого с собакой вровеиь, а мне дорогой! Смнлуйтесь! Отец монм детям, а мне н без божьего благословенья муж. Не разлучайте! С грехом ои меня ие неволил, сама согласье показала. От смерти он меия вызволил. В Киев, в Ерусалнм пешком на богомолье схожу, ие отымайте у его детей, он к детям привержеииый».

Поп головой мотает, перстом иа икоиу кажет. «Нельзя! Сама в грехе смердншь н детей от бога уволокла. Бог не дозволяет, царь ие велнт».

Закон тогда такой был: нз православья дозволялось переходить только в немецкую веру, ну, оии тож Хрнста прнзнают, а еслн к Магомету или в жидовскую — нельзя. За это в тюрьму. Разъясияет ей поп этот закон, заморнлся сам, аж губы побелелн. Когда у

бабы мужика желанного отбирают, ее законом вразумить так же трудно, как волчицу взнуздать. Кланялась, плакала, молила попа, да вдруг подтянула живот и, как кошка, прыжком на него, взвизгнула да в космы ему вцепилась. Народ на кухне толпился. Кинулись пастырю на подмогу. Что ж ты думаешь, как озверела баба! В тягости, а немало повозились с ней, пока скрутили. Заперли ее в поповой бане, во дворе. Вдруг стражник бежит: «Так и так, ваше благословенье, я к этому делу неподручный, что теперь делать? Баба родит, очень мучается».

Поп рукой отмахивается, слушать про женское безобразие не может, а попадья сжалилась. Послала стряпку за старушонкой повитухой. Та пришла, помолилась перед иконой, посомневалась, но все-таки сдалась. «В грех ли, во спасенье ли выйдет, говорит, а потружусь около поганого брюха. Куда же бабе деваться, коль час пришел? Чать, бог меня за это не завинит».

Эта бабка, повивалка моя, долго жила. Как я большеньким стал, она часто мне говорила: «Под веселым боговым глазом мать тебя зачала, не доглядел, что от некрещеного, в сорочке сын родился. Будет, значит, тебе сладость в жизни, терпи, дожидай, обязательно будет. В сорочке на счастье рождаются».

Ну, сорочка-то мне не сильно на подмогу. Мало меду хлебнул. Мать меня хоть и у православных, но чужаком кинула. Над горькими ее родами попадья шибко разжалобилась. Умолила попа, привели к ней в баню братишку с сестренкой моих. А может, баз-

лали через край, допекли всех в дому. Только и стражу от бани сняли. Осталась на ночь одна мать с детьми. Бабка тоже не поохотилась в бане ночевать. Ушла домой и меня с собой унесла, чтоб не придавила родильница в метаньях. Она, и разрешившись, не успокоилась. Все стонала, на банном полку с боку на бок перекидывалась. Да середь ночи, видно, опамятовалась и убегла вместе с детьми. После дознались: родитель мой, кыргыз, чисто кулик, потеряв птенцов, без ума по селу на коне кружил. Может, встретились, вместе убегли — не знаю. Посланные на другой день от кибитки отцовой ничего не нашли, только угли от старого костра. Слух был, что отец в другую степь укочевал, а мать будто тут же после побега вскорости кончилась,— не знаю. Я вырос мирским дитем, молоко грудное и то не от одной женщины принимал. По очереди кормили меня грудью жалостливые бабы, которые кыргызским моим обличьем не гребовали. Греха не боялись, в церкви меня по-православному крестили. Даже к благородным в родню из купели попал: становой пристав крестным был, а матерью крестной сама попадья. Эй, други, не задремали? Дальше сказывать? Могу — разохотился.

Дивно самому: чисто со стороны, как другой человек жил, поглядываю. Ну, значит, при крещенье назвали меня Григорьем, по крестному величанье записали Петрович, а чтобы помнил грех рожденья своего, кыргызскую фамилию дали от родителя. Звался тот кыргызин Алибайкой. Я от него по свету гуляю — Григорий Алибаев. В зыб-

ке качался я у бабки-повитухи в избе, на ноги твердо встал, разуметь все вокруг зачал, то есть лет пяти эдак от рожденья, к попу на кухню жить перешел. К гостям в праздники и на именины меня выводили показывать. Миссионер рассказывал, как господь чудесно меня удержал в православии и не дал матери с собой унести. Купчиха Тимонина слезы платочком вытирала, давала мне конфетку и по головке гладила. Спал я на плите, оттого что кухня была холодная, а плиту топили часто. Поп лапшу с бараниной с варку любил. Жилось мне хорошо, сытно. Но только крестный становой на меня позарился, выпросил у попа себе. Стал я спать у стряпки станового на кровати. Она меня на сон часто ругала поганцем, потом наваливалась на меня, и спалось мне опять тепло, хоть еда давалась паскуднеи поповой. Становиха была об хозяйстве рачительна, скуповата. И здесь на именины меня гостям казали. Только у попа я «Отче наш» читал, а здесь меня выучили петь «Ах, мороз, морозец» и плясать русскую. Один раз, на святках, сплясал, спел — и мировому судье приглянулся. Он меня у станового в карты выиграл. Раньше, сказывают, крепостных так-то выигрывали, ну, я не крепостной был, а еще хуже — ничей. Кто взял, тот и над душой, и над телом хозяин был. Вот и перешел я на десятом году возраста от станового к мировому. Шибко плакал, вспоминаю. С теплой стряпкой, чисто с матерью, жалко мне было расставаться. У мирового, если вспомнить по совести, тоже мне неплохо жилось, а сердце щемило. Сажал за еду он меня вместе с со-

бой. Не семейный, скучал. А спал я у него по-барски, на диване. Разговаривал он со мной мало, разглядит когда меня. Глаза у него все мутные такие были, чисто спросонок. Пройдет мимо или даже прямо на меня глядит, а не видит. Дак вот, когда разглядит, засмеется, ткнет двумя пальцами под ребро: «Живешь, магомет?» — «Живу»,— отвечаю. И весь разговор. А больше мне и делать у него нечего. Заскучал я. Все-таки я бы жил у него, не убегал, кабы не напугался. С неделю я у него прожил, как он меня зовет к ему в спальную. Вхожу — он в подштанниках, собирается спать укладаться. Говорит со мной, об чем — сейчас и не помню, говорит, а сам перед зеркалом сидит. Я гляжу за его спиною в зеркало и вижу: зубы вынул, в стакан поклал. Потом все волосы с головы правой рукой снял. У меня сердце взвилось, сроду этакого дела не знавал, чтоб зубы вынуть и волосы снять можно было! А он тоже в зеркало-то увидал, что у меня морду от страха-то перекосило, взял да нарочно, чтоб еще больше напугать, схватил себя за обе щеки да голову обеими руками тихонько двигает. Я думал — он и голову отвинтить может. Заорал благим зевом — да из спальни, из дому дирака. Так напугался, что и темень не в страх! За село убежал и не вернулся туда больше. Наутро к нищему страничку пристал. Разговорчивый попался, от испуга меня разговорил. С ним уплелся верст за тридцать. Только скоро ходить и канючить милостыньку надоело. Взял да в селе Скоробогатовском отстал от старика. Ну, под крышу к кому-нибудь

приютиться надо. Хоть летнее время, а чем же пропитаться мальчишке? Кружил, кружил по селу, дело к вечеру. Идет мужик по дороге. Поглядел на меня да засмеялся: «Откуда, говорит, ты, косоглазый?» Я молчу, а сам за ним чисто собачонка присталая плетусь. Шел, шел я за ним да заплакал. Кишки от голоду щемило. Он не отругнулся, пожалел. «Ладно, говорит, иди за мной, накормлю». Я за этим хозяином своей волей пошел и уходить из его дому наутро не схотел. Баба его поленом меня выгоняла. Ушел да опять на двор вернулся, под крыльцом у них переспал. Утром ребятишкам своим велела согнать меня со двора. Побили, поцарапали — убег, а к ночи опять к ним. Ругалась, плевалась баба, била меня, а потом — ничего, привыкла. Заставила воду в баню больничную носить. Этот хозяин-то мой при волостной больнице сторожем служил. Больница не по-городскому, знамо, устроена, попроще. А в баню на задах сторожиха пускала париться мужиков, которы от дурной хвори лечились, по-нынешнему называют — венерических больных. Сторож гребовал их парить, а я парил, спину вехоткой смывал, мазями мазал. Они мне за это по пятаку с тела платили. Доход сторожиха получала. Ну, ничего, годов пять, не меньше, я у них прожил, и потом с чего-то тоска меня взяла. Обмываю язвенных, а самому плакать и блевать охота. Закручинился чисто большой. Да уж шестнадцатый год, из отроков в парни одна ступенька, понимать научился. Обижаться на свою долю стал. От обиды поп и становой с миром издаля

родней показались. Задумал я опять назад к ним. Затосковал, закручился, дальше — больше, невтерпеж. Тянет меня в Александровку. Как-никак — родина! Ну, что же, побег на место рожденья. Побирался, тем и кормился дорогой. Народ тогда поротозеистей, помилостивей был. Везде подавали. Ну, пришел — здравствуйте. А с кем здороваться? Мирового паралич разбил, попу повышенье сделали, в большой город перебрался, становой цел, на том же месте, я к нему и объявился. Он ничего — засмеялся, признал. Говорит: «Ты как же без документов, бродяга, шатаешься?» Я оробел, говорю: «Мне документ не надо, я у вас желаю проживать...» Он смеется: «Ишь ты, ласковый какой! На что ты мне нужен?»

Документ мне выправил, а у себя держать долго не схотел. «Дочери, говорит, у меня в возраст входят, а с тобой играют, на россказни на твои уши развешивают, все в кухне трутся. Ты киргизское отродье, кровь в тебе разум перешибает, и попадет одна из двух какая в беду с тобой». Вроде этого высказал. Умный был, доглядчивый. Распаляться-то на баб я, правда, рано зачал.

Ну, Тимонину, Ивану Филипповичу, торговцу, меня сказал в лавку в подручные. Чтоб сласти не таскал, в первый же день хозяин до хвори пряниками меня обкормил. И посейчас я пряники не уважаю — так объелся тогда. Ну, на этом месте долго задержался. Хлопотно, да сытно. Одежей хорошей я тогда завлекся, справить ее порешил. У купца легче ее выслужить, чем у других хозяев. Жалованья мне не полагалось, но

за стараиье матерьем иа одежу к праздникам дарили. Об одеже старался, чтоб баб примаиуть. Обличье мое было для иих иеприятное. Думал — оденусь, которая-иибудь и поглядит поласковей. Стряпка с иижией кухни меия ублажала, ну, собой такая, что и я только зубы сожмя с ией грехом заинмался. Лет за сорок, рябая, и иа лбу шишка кровяиая вроде кисты — бородавка, что ль, эдаким красным бугром разрослась. Я хоть и крнвоногий, а телом крепкий, настоятельиый. Опять же сердцем дуриой тогда, ласковый был. Залюбилась мие шнбко девушка одна, сестра почтового иачальиика. Из себя оиа тогда была крепенькая, белая, русоволосенькая такая. Сразу, как увидал, чисто родня мие сделалась. Вот волос-то у нее такой же был, как у этой Аинушки у твоей, Кудашев. Да. Все об ней пекусь, думаю, что бы для нее хорошее сделать. На почту — иадо ие иадо — бегаю. Как гривенник какой лавочник в хорошем духе кинет мне, я сейчас марку покупать. А куды мне ее? К чему прилеплять? Ну, деньги ие часто перепадали — за маркой на иеделе два раза ие побежишь. Помогло вот что: лавочник «Сельский вестник»— газету и «Родину»— журиал выписывал. Я в это время самоучкой читать мало-помалу научился. Потому заглавья помню. Ну, бегаю год, бегаю другой, девчонка-то подалась. И косоглазый, н кыргыз, а поглянулся ей, привыкла. У брата-то она заместо стряпки при его жеие и няинькой при детях. Заиятья не господская, с монм ровиая. А брат узнал про иаше согласие, обиделся. Все-таки по рождеиью ему сестра.

Лучше в девках при семье в вековушках засолить, чем за работника отдать. Порешили с женой Фросю к тетке какой-то в другое село на время отослать. Почты начальник моему хозяину пожаловался. А у того после празднику престольного от перепою дурь из головы еще не вышла. «Выкради девку, говорит, заплачу за венчанье, улажу. Я его не люблю, брата Фросиного то есть. Невелик господин, а неуважительный, пусть от обиды покорежится». Ну, так и сделалось, обвенчались тайком. Купец-то после очухался, сердился, чуть нас со двора не согнал, да ничего — обошелся. Сильно я для него в работе жилился. Оставил у себя деньги, на свадьбу затраченные, отрабатывать, подарков всяких лишил. А Фросю в чистую кухню на подмогу для ихней стряпухи поставили. Спали мы с ней в холодной кладовушке на дворе и летом и зимой. Ничего, молодые, горячие, не застыли. Только через год дите родилось, хозяева велели Фроську с младенцем куда хочу, а из дому убрать. Ну, в ту пору как раз мой мед-то я и хлебал — все удавалось. Министерской школы заведующая, старая девка, а добрая, Фроську с дитем в сторожихи приняла. Впервой родня-то у меня на земле объявилась. Каждый час к им тянуло, а со двора хозяин раз в неделю на одну ночь отпускал. Горячий я, ослушивался,— выгнал он меня. Но через три дня назад воротил. Выгоден для него я был, только за пропитанье работал, а старался во все силы. Воротил и даже жалованья три с полтиной в месяц положил и к праздникам опять подарки.

Это я уж зауросил, плату запросил. Прожили так три года, еще девчоика у иас иародилась. В солдаты меия забрили. М-да, солоио показалось! Что ж, угиали. Я убечь думал, Фроська остерегла: «Меия с детьми, говорит, загубишь, протерпи службы срок». Терпел, письма бабе своей такие отписывал, что учительиица плевалась. Написала мие, что читать Афросииье письма мои не будет, если иежиости всякие ие перестану расписывать. Чисто, мол, ие жеие закоииой пишешь, а игральщице. Эдак другие солдаты ие пишут. А я ие с похоти, с тоски ласкался. Опять чужаком в ярме, миого ли со своей семьей поутешался? Дальше-то все под гору, годами старше, а житье мое хужей. Войиу объявили, домой-то со службы я ие попал. В отпуск, как вышло, ие пошел. Малеиько поздио вышло-то. Письмо-то у меия в кармаие уже поистерлось. В ием учительиица отписывала, что Фроська от застуды померла. Кашлять оиа, еще когда у лавочиика оба жили, почасту закашливала.

Оттого, дескать, и застуда до смерти вредная ей пришлась, иа кашель-то. Чего же? Башку разбить хотел, думал — в мозгах поврежденье произойдет от огорчеиья. Ничего, отдышался. И об детях сердцем обмирал, а в отпуск ие схотел идти. Без Афросиньи и дети только горе растравят, ие могу без Афросииьи с ними быть, и оии без нее не в радость. Учительница при себе их оставила. Другие старые девки к собакам, к птицам, к кошке за утешеиьем, а эта к моим детям еще при Фроське сердцем прилепи-

лась. Пишет — не в забросе оии. Да и пособье иа иих за меия шло. Дернул я себя за космы, стукиулся башкой об кулак, отказался от увольнеиия в отпуск. А после на фроит в действне попал.

Ну, об этом чего рассказывать? В каждой семье от сыиовей зиают. Меня ие убили, обстоятельио даже ие ранили, одно пустяковое было поранеиие. А все-таки я другой стал. После хворн так бывает. Не то повредился, ие то через край выправился. Страх потерял. Себя не жалко, н ничего не боюсь. Без страху человеку вредио, иевеселое сердце в человеке, когда ничего ие боишься. Чего там было бояться? Смерть каждый день обок караулит. Случай иамахнет—ие открестишься, ие отлютуешься. Трясись ие трясись, никакого трясеиья иа года ие хватит. Человека обидеть не жалко. Чего его жалеть? Может, он здесь остаиется, а ты завтра вытяиешься без всякого шевеленья. Добро копить иеохота, да и ие заберешь с собой. Мы там грабили без острасткй, а куда оио, иаграблеиное? До дому не сохранишь, да чего домой унесешь? В брошеиных усадьбах посуда там всякая, креслы, рояли — их не унесешь. Золотые побрякушки — это чинам повыше доставалось. Одежу? Куда ее иаберешь? Узлы с собой в переходы не попрешь. Заразным девкам раздавать, ну их... Поглядишь, пораздумаешь, да там же иа месте об пол трахнешь, разобьешь или подожгешь. Ничего не жалко и инчего ие страшно. Как свободой нас помаиули, я не от страху убежал с фронту, а скушно, от тоски сбег. Которые солдаты орут, радуются, а

мне скушно. Про ребят вспомнил. Подумал — может, около них, за ихние головы устрашаться чего начну. Сон у меня нехороший сделался. Ну, отосплюсь, думаю, в избе домашней, детей разгляжу и, может, тогда для себя чего-нибудь зажелаю. Детишки это... глазенки у них уже со смыслом. Ладно, щипануло за сердце. А все скушно, и сон все нехорош: ни ухо, ни голова не засыпают. Только что глаза заплющишь, а все одно денное все в мыслях явственно. Охота мне растревожиться, на сходки на свои хожу, в город на митинги, ораторов слушаю. Потом зачал я во все партии в политические записываться. Потолкался и в народной свободе, и в есерах, и в меньшевиках, после к большевикам пристал. В программы я не вникал, народ глядел, искал, какой по сердцу больше придется. С большевиками позадержался покрепче. С ними позанятней, пошумней. В Александровку вернулся, первым делом за Тимонину лавку. Потрясли мы с товарищами хозяина. Из добра из его я себе довольно нагреб,— а на кой? Дети еще невелики, корысть к добру всякому в них не упорная. Погалдят в новинку да и забудут. На кой вся та прибыль? Гомозился я все-таки с политикой, состоял во многих в председателях. Ну, не с весельем, а так, на время хорохорился. Ладно. И к детям я ни так, ни эдак. Отвыкли, что ль? Не льнут ко мне. За конфетки только ласкаются, пропаду — не заплачут. Эта старая девка-то, учительша, меня, чать, переживет. Еще крепкая. С ней свыклись. Чужая, а им вроде своей, ближе меня, родителя. Ну, чего

же? Незачем отец им. Я даже злобиться на них зачал, еще больше отпугнул. Колчак их со мной развязал. Как он воцарился, в Алтайскую губернию я подался. Там с партизанами стакнулся. Ладно, хлебанули всякого. Врага не жалели. На той войне, на царской, я вроде не ярился. Убил если кого, так не видя попал. А тут морда к морде. С прохладцем убивал, с выдумкой... Всякое бывало. Ну, меня там знают. В Иркутской губернии тоже. Ничего, в тое время ровно ожил, тревожился. Когда наша власть верх повсеместно взяла, я, значит, опять в Александровку. А чего делать? Опять нету спроса на бесстрашье на мое. Дом хороший занял. Тимонина, лавочника-то, благодетеля моего. И его же младшую дочку за образованность и за веселый голос в гражданские жены к себе присогласил. А к детям в школу вроде как на свиданье только ходить стал. Не умею с ними обходиться, чего-то у меня неладно все выходит. С другими приятный часом все-таки бываю, а с ними все с натугой. Ну, ладно, житье привольное, с частой выпивкой, завидное, сытное. Люди со страхом предо мной, с почетом, значит, ко мне. Клавдия, жена гражданская, горяченькая, сладкая. Я на это дело спорый. Всякую бабу привечаю. И с Клавдей ничего, часом даже по-хорошему, добрый бываю. Только ненадолго. Баба ко мне все вяжется такая, что на часок одни мне своя. После супруги моей Афросиньи Николавны, покойницы, ни одна не жена, так — только на срок утешницы. Ну, так чего же выходит? Ни к чему у меня жар-

кости нет. Со стороны посчитать — много за мной числится, а по-моему — ничего у меня нет. Заскучал я, запивать шибко стал. По месяцу, бывает, закручиваю. Ем мало, все пью, пью. Прошлый месяц из глотки печенку кровяную выблевал, перегорело от вина в нутре. Ну, пьяный шарашусь, нехорош, шибко бесстыж случаюсь, дак, чтоб дети мои меня в это время не видали, запой отбываю в Каин-Кабаке. Место самое подходящее. Народ тамошний глухой, ничем не удивишь и не разжалобишь. Слышьте, друзья, там на весь хутор только два человека веселых: гулящая солдатка Марья-песенница да дурачок один, сказки умеет сказывать. Ну, Каин-Кабак мне еще и для другого дела сгодился. Ладно. Никак на дворе тишает? Айдате-ка прогуляемся, поглядим. Все посиули, надо, чать, и нам укладаться.

Степаненков приподнялся с дивана на локтях, озираясь по избе прояснившим взглядом, спросил:

— Алибаев, ты куда?

— Чего, до ветру провожать будешь? Погоди, в городу еще напровожаешься. Вернусь, не бойся.

Метель стихла. Негусто сыпались нестрашные пухлявые последние снежинки. Проглянуло мутнеющее предрассветное небо.

Кудашев, поеживаясь от холода, спросил:

— А сейчас-то вы по какому делу арестованы?

— Погоди, коня погляжу. Иди в избу, вернусь, доскажу, коль дослушивать охотишься.

— Да я с вами пойду... Помогу.

Когда, потушив свет, оин трое улеглись на кошме, иа полу, Алнбаев досказал:

— Как-то вечерком поздненько заходнт ко мне церковного старосты сын, приятель по выпивке. Мямлил что-то, тянул-тянул, все на меня взглядывал. Потом и говорит: «Гриша, нет ли у тебя бомбы?»—«Есть, отвечаю, а тебе зачем?»—«Надо»,— сказывает. Подпоил я его, ои выболтал все. Плачет по-бабьи, жалится, открывается мне: в заговоре против Советской власти запутался. Теперь охота иа попятный, да боится. «Одного,— канючнт он мне через слезы,— отравилн, как тот помогать отказался. Ветерннар, говорит, у них один в компаиии, яды достает. Обязательно отравят». А эдакому дураку виитовкн н бомбы доставать поручнли. Ну, думаю, заговорщики, а все-таки взбодрился. Мое дело такое, в драке вольготней я дышу, втянулся в драку. Дальше — больше, согласился я, стал иа потаеиные свнданья в разных уездах являться. Крестьяиское восстаиье оии подымать задумали н по Сибири много насбирали в разных уездах согласииков. И в Барабниском, в Омском, в Новониколаевском н Петропавловском в уездах. В которых селах по двадцати наших, а в которых пять, четыре и по одному было, всего довольно поиасбнралось. Задумалн с казаками снбирскими сосвататься. Главарей у иас двое было, оба с небольшнм образоваиьем. Один бывшнй прапорщик, другой — служащий кооперативный. Так, невеликое место заннмал,—

с мелкой закупкой по деревням ездил. Оба в разных городах под чужими фамильями проживали. С одним и баба его, девица из высокоблагородных, вместе действовала. Это все уж дознато, я при чекистах и рассказываю. Хоть и храпят уж, а может, который услышит. Ну, ладно. Идет дело. Печать своя: посередке череп и кости, а по краям надпись: «Смерть изменникам». И знамя у ветеринара готовое хранилось — желтого цвета, черной бахромой обшитое. Когда к своему в дом мы входили, крестились на икону широким крестом и говорили: «Мир дому сему». А он должен ответить: «Смерть изменникам». Пароль вроде. Ладно. Народу понасбирали. Собрали отдельный особо независимый добровольческий отряд атамана Нехорошева. Надо было программу, идеология это называется, придумать. А бес ее выдумает, идеологию-то,— это не наше дело. Думали Сибирь отдельным государством объявить, а чего потом — не знаем. Царя сибирского поставить охотников не высказывалось. Отвыкли уж от царя, кто и думал — сказать поопасался. Какое правленье — ни черта не знаем. Стали искать знающих людей. Нехорошев было есеров искал, ну, дельных не нашел. Один подложный с нами позапутлялся. Вроде меня, во всех партиях перебывал. Ну, и чего же — гомозились-гомозились, а дела настоящего не выходит. Одна подготовка, а к чему — не знай. Мне надоело на образа креститься да «мир дому сему» буркать. Это не моя занятья. Отшибло меня, отравы я не боюсь. Перестал являться, куда указывали. На дело, говорю, зови-

те, голый разговор надоел. Ну, они н самн заторопнлись. Назначилн день — двадцатого июня в прошлом году. А мужнки-то, согласники из деревень, подвелн, на сбор не явнлись. Я не ездил, раньше вызнал, что дело рассохлось. Коноводы днранули в Ташкент. Чека нх все-такн вынскала. Однн по одному имали, вот н до меня добрались, везут. Я нх давио поджндал.

Он услышал около себя ровиое сонное дыханье Кудашева. Ласково усмехнулся в темноте. С большим ннтересом слушал, а уснул, не дождался конца. Молодой, здоровый, тело долит!

Пимокат заворошился, спросил:

— Почему же ты не убег?

— Заарестоваться порешнл. Много вндал, всякого хлебова хлебнул, а в тюрьме еще ие снжнвал. Поснжу.

— Да, оно, чать, не шнбко сладко в тюрьме-то. А то глядн н к стенке прнпаяют.

— Оно, друг, мне, сладкое-то, не дается. А в тюрьме-то, может, мне, как иному монаху в монастыре, и поглянется. В какойннбудь монастырь прятаться мне надо. Сын подрастает, серднтся, жнзнь ему моя не кажется. А прнкончат — жалеть некому. Ну, айда спать.

День встал сероватый н кроткнй, будто пристыженный буйством вчерашнего. Пухлые свежне сугробы без солнца лежалн мирно н бело. Верховые вериулнсь только к полудню. Ночевалн в башкнрский деревне. Онн прнвезлн закоченевшнй труп латыша. У Степаненкова сильно болели лнцо н руки,

но он встал раньше Алибаева и послал мальчишку хозяйского за волостным милиционером. Тот скоро пришел на зов и остался ждать в Савельевой хате.

Когда привезли тело Краузе, Степаненков позвал милиционера в горницу. Потом сухо и коротко, глядя поверх его головы, приказал Алибаеву:

— Собирайся.

Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, усмехнулся и сказал:

— Слушаюсь. Теперь довезешь, не заплутаемся?

Отводя глаза, Степаненков оборвал:

— Не канитель, одевайся скорее!

Савелий во дворе запрягал для них пару своих лошадей. Увидев Алибаева, погрозил ему кулаком:

— Сволочь! Привез. Ладно, когданибудь, может, и с тобой посчитаемся.

Алибаев покачал головой. Сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот теперь уже я верю, что заарестовали. Все без опаски надо мною начальствуют. А приветить на прощанье никого не находится.

Вдруг с крыльца поспешно сбежал Кудашев.

— Увозят? Ну, прощай, Григорий Петрович. Набаламутил ты, а все-таки мне тебя чего-то жалко. Будь здоров. Слушайте-ка, Алибаев, в вашем деле с этим самым контрреволюционным нехорошевским отрядом случайно запутлялся братишка мой — Егор Кудашев. Он по глупости. Вы там напомните, чтоб меня в свидетели вызвали. Он зря

попал, ие так, как вы. Ну, ладно. Может быть, иа свидаиье к вам приеду.

Алибаев широко усмехиулся, крепко прихлопнул иебольшой своей рукой руку Кудашева и тихоиько сказал:

— А иасчет Аинушки благословляю. Мне оиа гляиется.

Степаиеиков сердито крикнул:

— Садись, Алибаев! Время.

IV

Число взятых по делу о иехорошевской контрреволюциоииой организации все увеличивалось.

Крестьяие тюремиое заточенье переиосили тяжелей, чем горожаие. Выиуждеииую физическую бездействеииость оии иичем ие могли возместить. Большииство было иеграмотио или ие имело навыка к чтенью. Для последиих смысл преодолеииых тягостиым чтеиьем печатиых строк ускользал, тоиул в тумаие бедиых представлеиий, ие связаиных иепосредствеиио с делом их рук, со всем иасущным для иих. Убить время иа разговор друг с другом в общих камерах оии могли в течеиие двух, трех дией. Больше ие хватало ии слов, ии охоты иа беседу. На прииудительиые работы их ие водили. Приближеиье весиы угнетало заботой о весеиией пашие, о иеобходимости выбраться к посеву иа волю, чтобы ие схирела семья, ие рушилось хозяйство. Стремясь вызволиться домой к нужиому времеии, оии старались оправдаться, умолить, упросить власть, купить себе свободу любой цеиой уииженья

н предательства. Каждый из них называл свое сельское общество огромным словом «мнр», но мнр этот, разбнтый на мелкие участки отдельных хозяйских ннтересов, лншь редко н ненадолго ощущался нмн как дыханье одного органнзма. Каждая клетка в давностн приспособилась жить н отмирать отдельно, не нарушая общего течеиья жизнн. Выступившн скопом протнв города, крестьяне — только что нх разделнлн при допросе — сразу распались каждый сам по себе, как колосья в развязанном снопе. Доказ, подозренье, ошибочные предположенья, прямая ложь, оговор — все сплелось в запутанную сеть их показанні. Началнсь новые аресты. Расследованне затянулось. Взятые по одному делу, узннки ожесточались друг против друга все снльней.

Жителн Канн-Кабака держались плотней, реже выдавали — оттого что меньше терялн от длнтельного заточеиья. Это были люди, утраченные для мнрного труда за годы царской н гражданской войн. Хозяйство во время их отсутствня развалилось окончательно. Создавать его заново онн ие прнннмалнсь. Едннственным делом нх жизнн стало разрушенье. Семьи научнлись обходиться без них. Еслн жеиа сумела сохранить исконную домовитость, она добывала пропнтанье н детям, ворочала вместе с ними трудную мужицкую работу, сетовала на мужа в горькнй бабнй час, но беспокойного возвращеиья его домой даже не желала. Бабы другого, легкого склада прнспособнлнсь скитаться за мужьями. С ннщнм своим скарбом и с детьми ездилн онн в обозе

в большевистскую войну. Перебирались в город, когда мужья попадали в тюрьму, попрошайничали, торговали собой, скупали и перепродавали старье на барахолке, посылали детей «в кусочки» по дворам, ухитрялись сами питаться, мужьям носить ежедневно передачу и покупать у податливых тюремщиков мирволенье мужьям.

Каин-кабакцы кормились неплохо, пользовались многими недозволенными поблажками, изнывали в заключенье не больше, чем на пересадке в ожиданье поезда хладнокровные пассажиры. От возможного смертного приговора их охраняло черносостное происхожденье и соучастье с войсками красных в бою. Но вдруг, неожиданно для следственной власти, и они на допросах бурно разговорились. Сведенья, доставленные ими, были совершенно новы и для следствия важны. А сообщили их внезапно и дружно каин-кабакцы в отместку атаману Нехорошеву. Все это скопище людей, лишившихся в бессладостной своей судьбе чувств, дорогих человеку, ревниво лелеяло веру в свою боевую доблесть. Сомненье в ней было для них единственной незабываемой обидой. Атаман Нехорошев, разгневанный, что в назначенный день восстания в июне месяце каин-кабакские сообщники на сборный пункт не явились все, во главе с Алибаевым, сказал тогда:

— Алибаевская шпана только на дележку вылезает, а пороху боится. Хлипачи!

Случайно узнав о произнесенных давно, но навсегда оскорбительных словах, каин-кабакцы пробовали учинить самосуд над

ним в тюрьме. Произвести его не удалось. Тогда они дружно принялись продавать властям Нехорошева с его близкими, всех вместе и в розницу.

Алибаев, равнодушно отказывавшийся от каких бы то ни было показаний, в последний раз на допросе тоже оживился гневом. Сказал следователю ни с того ни с сего:

— Я этому свистуну, как на суде встретимся, морду наахрачу.

— Кому? Что такое? В чем дело?

— Атаману самозванному. Только и знал что штабы всякие из своих холуев собирал да по подложным бумажкам получал у ваших ротозеев деньги. Понасажали дерьма кассы хранить, и стараться не надо — сами в руки суют казну.

— Кто по подложным документам деньги получал?

— Кто, кто? Чего после время на стуле прыгать? Задницу зря обижаешь. Ты бы раньше к стулу-то не прилипал, поспел бы, может, на дело. Ленивый у вас только не получал, вот кто! Вот я не получал,— мне своего, с бою взятого, хватало. А этот ублюдок Нехорошев задается, ата-аман! Не знаю, каким местом атаманил, вашего брата только пугал. По привычке чужими руками хотел жарок разгрести, а как своими довелось, дак — ой! обжегся! Без памяти дранул, как заяц, за Ташкент, и след с перепугу не замел. Где в войну был, страдовал ли, это еще неизвестно. Молодец — на овец, а спроть молодца — сам овца.

— Вот что, Алибаев, я тебе предлагаю:

перестаиь крнчать. Расскажи толком. В ваших же интересах.

— Ты ко мие с интересом не лезь! Про интерес с Нехорошевым разговор заводи, этого укупай — дешевый. А меня не укупишь! Офицерская затычка, мокреть нхняя, смеет каии-кабакскнх партизаи хлипачамн обзывать. А он их в бою видал? А? Нюхиул он эстолько, сколь оии? А? Да ие вылупляй ты зенки, не трусись, я те не троиу! На харчок вы мие иужны все вместе с вашим бобром захвачеииым, с Нехорошевым. Ты зиаешь, Степаи Красков на белую разведку напоролся, брюхо ему располосовали, кишки вывалились, а он с лошади ие упал, ускакать сумел. Это тебе хлипач, а? К иам доскакал — кишки свисают, обомлел, язык поворотить ие может. Я ему кишки в брюхо вправил, сиегу в иих для охлаждеиия поиабил н кричу: «Говори скорей, сукин сын! помрешь, не успеешь!» Сказал, место иазвал, где встретил и сколько человек, только после этого коичился. Вот! Это мы вас эдак застаивали, дак иеуж мы побоялись бы н против вас? А? Коли меж нами несогласье вышло, побоялись, думаешь, эдак же брюхом бы повернуть, а? Ты пошевели мозгой, после всей страсти какая еще нас пристрашит? Нехорошев зимы испугался, до лета с восстанием дотяиул. А иам зима была ль страшна? Когда за Советы бились, холода какие лютовали, слыхали вы с Нехорошевым, а? Куропать на лету падала. Схватишь ее — комок ледяиой! А мы этот холод продышали, сдюжили. Нас и там бы помиловали. Эдакое крепкое мясо и белым на свою защиту по-

лучить шибко было желательно. Передохнуть, отогреться, откормиться бы нам дали. А мы об этом и не подумали. С вами в согласье были, вас и застояли до победы.

— Это все мне известно, товарищ Алибаев. И если я допускаю с твоей стороны...

— Не товарищ я тебе теперь! И Степанекову я больше не товарищ... Ну, только и этой паршатине, сволочне этой тоже не товарищ! Сколь я живого у бога в смерть стравил, все мне простится. Коли за смертью ад объявится, мне простится. За то, что я с партизанами с моими в бой за эту гнусь не вышел, за их человечьей крови не пролил, всякий грех мой не в грех стал.

— Из Каин-Кабака, значит, никто на сбор не явился?

— Из Каин-Кабака! Эх ты, тютик! Не с одного Каин-Кабака, а с любого хутора ни один партизан бывший, да не только партизан — никто из нашинских не явился. В июне разве можно мужика тревожить? А? Нехорошеву абы бы тепло было, а после целая Сибирь заголодует,— ему все одно! Нам не все одно. Мы против начальства шли, а не против мужика. Нам его страда дорогая, за его мы кровь проливали. Не для таких вот, как ты, не для господ старались!

— Участники этого заговора все больше кулаки, что же вы о них заботились?

— А который в драку не шел, хозяйствовать бы в это время смог, а? Ну тебя, не смыслишь ничего. Мы пораньше тебя разглядели, что не в свой косяк попали, еще до объявки сбора отставать зачали. А ты, что ж, тоже думаешь, как Нехорошев,— бою

испугались? Сами вы кишкой жидки, дак и в людях вам тот же мерещится изъян.

Алибаев уже ие сердился более. Последиие слова выговорил врастяжку, сам не слушая их. У иего отяжелел, сразу затек затылок, замутились глаза. Он ощутил зиакомую дрожь колен, жар, как злоба, распиравший грудь, и жажду, от которой поособому колюче высохло во рту. Вторую иеделю ие удавалось добыть водки, и ои томился, хворал. Гневиое возбуждеиье иеиадолго помогло ему забыть трудиую тоску запойиого пьяиицы. Опять, как навязчивое бредовое видеиье, все вокруг покрыло одио представлеиье стаканчика или хотя бы глотка, одиого глотка отмягчающего муку питья.

Взбодреиный растеряииостью его взгляда, страииым дрожаиьем покрасиевших век и сразу стишавшим голосом, следователь сел тверже, прямей, спросил громче:

— А до этого, когда вызывали иа явку, вы всегда являлись?

— А? Кто? Куда?

— Ну, хоть бы ты. О себе расскажи.

— Слушай, ты, иачальиик, добудь мие водки. Пекет в иутре, не могу. Чего бормочешь, я ие разбираю. Добудь хоть на один глоток, а? Помоги человеку, разок хоть один помоги, а?

Следователь заморгал, взгляиул иа Алибаева, иерешительио усмехиулся.

— Чудак ты, Алибаев! Разве допустимо с такой просьбой...

— Кабы мы с тобой от Христа ие отреклися, я бы тебя ради Христа просил, вот чего допустимо! Жгет. Сдохну я иоиче в ка-

мере, если хоть глоток не сглотну. Добудь, а? Да не вяжись ты ко мне с расспросами, стукотня в башке, сердце запеклось, понимаешь ты?

Следователь крикнул охрану, Алибаева увели в тюрьму. В камере он ничком распластался на кровати, тягуче стонал и скрипел зубами.

Под потолком в запыленном стеклянном колпачке загорелся холодный неподвижный огонь. Алибаев приподнялся. На стене ожила уродливая тень. Он содрогнулся и лег опять лицом вниз. Он боялся. Это не был тот страх, которого он жаждал. Он пугался себя, своих движений, резко внятных в одиночестве. Жизнь его тела вдруг стала всегда, каждый миг слышна ему, и это непрестанное слышанье себя точно со стороны, среди прикованных к одному месту предметов, в тиши толстых каменных стен — было жутко, как смех в гробу. Ему на воле часто казалось, что он не любит людей, что ему опротивела их возня, пачкотня, грызня друг с другом. Но теперь, впервые огражденный от их близкого дыханья, он напрасно старался с прежним отвращеньем вспомнить все зло, учиненное ими над его жизнью, многие от них полученные обиды и скорби. Он не забыл, как он сам и ему подобные, ближние и дальние, каждодневно надругательствовали над добром, как все они, вихляясь и злобствуя, топтали, давили, убивали друг друга, как ненадежна немощная их любовь и как осмотрительна корыстная их ненавнсть.

Но теперь, в принудительной от них отор-

ванности, настоятельно вспомнналось, что в несчастлнвой, болезненной н смертной человечьей жизни трудней было безнаказанно прнласкать, чем ударнть, н все же каждый тосковал по любвн, отдыхал только под ее отсветом. И для самого Алнбаева, прожнвшего больше враждой, чем любовью, нашлись любящне его н просто дружелюбные к нему люди. Их, а не обидчиков, он невольно часто вспомннал в тюрьме. Неожнданно снльно пожалел Клару, прнпомннл ласковость Клавочкн, многих нз партнзанского отряда. За нних он взъярился на Нехорошева, но ярость скоро остыла. Он не мог сейчас жнть злобой, он встосковал по людям. Алнбаев не поннмал нлн бессознательно остерегался понять, что, оставшнсь с самнм собой наеднне, он оробел, как безнадежно робеет на свою погнбель пловец, захлестнутый волной, как, оробев, падает с большой высоты ловкий акробат, усомнившийся в своей ловкостн.

Эта робость — предсмертная боязнь душн. За ней — только червнвая пасть небытня, не пркрытая ннкаким спаснтельным жнвым обманом н не отвратнмая нн хнтростью, нн мольбой. Ощутив ее смрадную блнзость, Алнбаев встосковал, что прожнл мало н дурно, хотел повернуть назад в жизнь, что-то исправнть, переделать, но не мог хотеть. И, проклнная, он не отодвигался, а тянулся в эту пасть.

Каждый вечер, завндев выраставшую на стене свою тень, мертвую, передразннвавшую каждое его двнженье, заслышав тайное, уловнмое только его мыслью шуршанье

тишины, похожее на шум неторопливо ссыпаемой земли, он впадал в такое состояние совершенной тоски, что ему казалось — кровь свертывается в нем в холодеющие сгустки, слепнут глаза, голова тяжелеет непомерно, тянет долу все тело и дышать уже нельзя. Холодный пот орошал лоб. Алибаев стонал, скрипел зубами, водил по стенам, по всей камере широкими зрачками жутких глаз, искал, чем убить себя, чтобы умерить, укоротить казнь.

За дверью послышался осторожный говор, потом звук повернутого в замке ключа, негромкое отодвигание засова, и дверь открылась. Алибаев вскочил, попятился назад, снова изнеможенно опустился на кровать. Он подумал, что ему померещилось. К нему приближалась Клавочка. Он сразу ее узнал, несмотря на мужичий чапан и шапку, но не мог ни поверить, ни понять, что она живая, настоящая проникла к нему. Клавочка подошла совсем близко, вгляделась в опухшее серое лицо с воспаленными полубезумными глазами, испуганно спросила:

— Ты что? А? Ты... ничего? Ты в памяти?

— Клава!..

— Да я же, господи! Что ты, не узнаешь, что ли? Как страшно смотришь.

— Я думал — мне привиделось. Как ты прошла? Тебя допустили?

— Ой, тише говори. Наверно, там слышно. Тайком, тайком пропустили. Я долго ждала, пока прошла проверка. Ну-ка, здравствуй, что ли. Испугал как ты меня. Да ну, обними,— я, я это, я!

Она внимательно осмотрела его всего, потом камеру, покачала головой, жалобно вздохнула и села рядом с ним на койку. Он не выпускал ее тела из своих рук, дрожащими пальцами гладил ее плечи, лицо.

— Ты что, все не веришь глазам? Ой, какой плохой стал! Напуганный какой-то! И потом уж очень прочернел лицом. Ну, знаешь, мне ведь сейчас же уходить назад надо. Кабы не попасться.

Алибаев не слышал ее слов. Он жадными неверующими глазами смотрел в нее неотметное миловидное лицо, потом вдруг рассмеялся затаенно, не разжимая рта. Клава поежилась, сдвинула тоненькие ровные брови.

— Да ты не молчи. Скорей говори, что тебе надо. А? Ты слышишь? Что тебе передать с воли? Или со мной чего накажешь?

Алибаев передернул плечами, встряхнулся, сказал торопливо и хрипло:

— Водки. Поскорей добудь, с утра завтра доставь. Маюсь, не чаю еще ночь протянуть.

— Да я знаю. Вот принесла, только очень мало, на груди, под кофточкой. Ой, как боялась!

Расстегивая пуговки, она шепотком скороговоркой рассказывала:

— Мужчина ведь взялся в камеру к тебе пропустить. Вдруг облапит, что тогда? Кричать нельзя — поймают, да еще с водкой.

— Ладно. Ты скорей. Глотку у меня захватило. Спирт, что ль, у тебя или самогон?

— Спирт, только мало. Вот, на... Тут все-таки побольше полстакаиа будет.

Алнбаев выхватил у нее из рук плоский, довольио большой флакои из-под лекарства, прнлип к иему губами, жадно глотнул. Клава схватила его за рукав.

— Ты не сразу. Ах ты, иадо бы мне и рюмку захватнть. Глядн спьяиеешь, долго постнлся. Эй, не задохннсь.

Ои тряхиул головой, оторвал рот от флакоиа, шумно продохиул.

— Не учн, сам знаю. Дай-ко вои там в кружке иа столе вода. Ну, вот выпил и закуснл. Еще на глоток осталось.

Раздвннул руки, повел плечамн, размялся н повериулся к Клаве. Она чуть подалась назад от его дыханья.

— Ай сама ие выпнваешь? Все еще трезвеиинца? Это хорошо! Кабы только ты не подлюга оказалась. Кто тебя нанял?

— Ты что, от глотка одного спьянел, что лн?

— Ты, Клавочка, жеищнна хнтреиькая, сама бы поумией удумать могла, а послушалась глупыша какого-то. Я еще не вовсе здесь сдурел, хоть и спячиваю потихоиьку. Подослалн тебя с водкой... ие трясн головой, зиаю! Подкупнть народ здешннй весьма возможно. Но шнбко храбрых я ие прнметнл, чтобы к такому подследствеииому, как я, в одночку бабу с волн доставить взялнсь. Эдаких удалых здесь нет. Ну ладио. Спрашнвай, чего спросить иаказывалн.

Клавочка зажала ладонямн лнцо, заплакала. Часто всхлипывая, она прерывнстым шепотом объяснила:

— Я давно ведь в городе кружусь, все свиданья добиваюсь. В гумзу в эту, как к обедне, с утра каждый день, из гумзы в чеку, опять в гумзу, ноги к вечеру ноют. Какой-никакой, а муж ты мне или нет? Я-то ведь другого не заводила. Путался ты там много на стороне, а мне-то все-таки муж, и не по старому, а по новому закону... а я жена, не любовница. Как же мне не хлопотать за тебя?

— Погоди. Выспрашивать меня будешь?

— Да чего ты, в самом деле, Григорий? Женщина из сил выбилась, как бы повидать, как бы чем помочь, а ты меня встретил как злодейку! Если я никак больше добраться до тебя не могла! Ты бы все-таки хоть то оценил, что я, такая молоденькая, не бросаю тебя, забочусь, вот приехала. Арестовали тебя, всякого почета лишили, а я ведь не бросаю тебя, другого мужа не ищу. Ох, тяжело все-таки, Гриша, с тобой! Около тебя только и плакать я научилась!

Она вздохнула, пригорбилась, вытянула на коленях руки и опустила глаза. Темная длинная тень легла от ресниц на свежие щеки, опустились углы молодых ярких губ. Алибаев искоса поглядел на нее, вспомнил, что за время действительно тягостного с ним сожительства Клава не сказала ему ни одного сердитого слова. Откуда бы он ни возвращался, как бы ни был угрюм или зол, она всегда встречала его ясной улыбкой, оставалась неизменно ровна и приветлива. С простодушной безбоязненностью вверила она свое девичество человеку с невеселой славой доблестного убийцы и сожительст-

вовала с ним как верная супруга, с легким целомудренным холодком, с мыслью о материнстве, но безотказно и ни разу не оскорбила немолодого, некрасивого и даже нелюбящего мужа недовольством или грустью о другом. А ведь она очень молода, едва ли ей за двадцать. И щеки вот у нее еще по-детски округлые и плечи не наливные, а молодо суховатые. Алибаев почувствовал жалость к этой юности, зря захваченной им, большую нежность к несчастливой жене. Он осторожно, одним жестким пальцем коснулся ее руки.

— Ну, чего ты нахохлилась, птаха? Я не обижаюсь. То есть не на тебя обиделся. Скажи-ка ты мне лучше, как живешь?

— Да чего же, как мне жить? Вот постараться надо, чтобы ты вернулся. Я думаю, все-таки не могут не зачесть...

— Разве стосковалась без меня?

— А как же? Чужая я тебе, что ли? Наплакалась, очень боялась. Там такие рассказы по деревням ходят!

— А про Клару ничего не слыхала? Не поймали ее?

Клава обидчиво повела губами.

— Нет, убежала! Ты не сердись, Гриша, я, грешница, все-таки пожалела, что ее не добили в ту ночь.

— Да. Худущая, а живучая. Зачем же ты пожалела? Она тебе чем мешает?

— Боюсь, как бы не выкинула еще чего-нибудь, тебя бы не запутала.

— Я, милка, уж так позапутлян, что дале некуда. Умом вроде мешаюсь.

— Ну? Я боюсь... Как?

— Я вот тоже боюсь, только сам не знаю чего. Кабы ты сегодня водки не принесла, я бы как-никак, а покончил с собой. Ну-ко, дай-ко рученьки твои поглажу. Спасибо, пташка. Много я виноватый перед тобой. Не серчай, когда помру. Шибко я обрадовался не одной водке... Тебе обрадовался. Ну-к, стой, остаточек сглотну. Ух, хороша снадобья! Сердце мягчит. Степаненкова не видала?

— Нет. Хворает он. Говорили, что с той ночи все никак не выправится... Простудился, видно, сильно.

— И Шурка хворает. Краузе тю-тю! Вот оно, судьба-то как над людями изгиляется. Хороши люди за меня поплатились, а энтот лобастый, тля, насекомая, живет.

— Этот тоже, за тобой который приезжал, Богдановский — его фамилья, — он в отпуск отпущен по болезни сердца.

— Все ты знаешь, доглядчивая бабенка.

— Да как же не знать! Мне бы и не повидать тебя, кабы они здоровы были. Сильно они против тебя настроены. Вот тебе! А ты же их спас. Впрочем, лучше, что не бежал.

Алибаев шумно вздохнул.

— Ну, тебя-то недаром допустили. Ты чего им теперь скажешь?

Клава прижалась грудью к плечу Алибаева, обхватила его рукой за шею.

— Гришенька, миленький, а ты скандала не устраивай. Прошу тебя! Никогда ни о чем не просила, в первый раз прошу тебя, умоляю тебя... Муженек мой, Гриша, родненький! Не говори ничего, что догадался,

а? Может, удастся еще увидеться. Я тебя выручить хочу, ие мешай мие.

Алибаев, согреваясь ее телом, боялся двииуться, иерешительио поглаживал ее колеио жаркой рукой, ио ответил неприветливо:

— Я тебе ие велю. Ничего больше не вымаливай. К смерти не присудят. Вот только в одиночке...

— Вот то-то и есть. Ты же с ума сойдешь. А мне обещали тебя в общую камеру перевести, если согласишься показаиья дать.

— Какие показаиья? Товарищей топить? Я убивать умею, а торговать людьми ие пробовал. Не буду.

— Да каких товарищей! Нехорошев тебе товарищ? А? Если ты согласишься показаиье давать, все равио какое, только обещаешь ие отказываться от ответов, мы еще повидаемся. Гриша, ты подумай, миого ли ты меия радовал? Гришенька, пожалей меня...

Алнбаев тесио обхватил ее обеими руками, жарко поцеловал пересохшим ртом мягкие, влажиые губы. Клава запрокииулась. Алибаев, тяжело дыша, иаклоиился над ией, отпряиул, поглядел иалившимися кровью глазами иа отверстне в двери, шумио передохиул и отодвииулся.

— Ну, что же, иу, Гриша? Так и погубишь меия ин за грош, ии за копеечку? Я все для тебя, а ты...

Алибаев встал, заходил по камере, то и дело косясь иа иее сумрачным, жадиым взглядом. Потом остановился перед ней, постучал ногой в пол и хрипло сказал:

— Ну, иди, Клава. Чать, не на всю ночь допустили. Эх, облапил бы я тебя сейчас! Здорово ты мне сегодня желанная. И не то что только для блуда... Иди, жена, иди, бабонька. Пора.

Клава встала, обняла его за шею обеими руками, прижалась плотнее.

— Мы и на стороне у меня увидимся. Только не порти дела. Я же не уговариваю тебя против своих... В одиночке тебе нельзя. А тогда на работу будут водить, там увидимся. А?

— Ладно, иди, ластынька, иди. Я подумаю. Иди, иди... А то не выпущу.

У самой двери он больно сжал пальцами ее плечо и вплотную в ухо шепнул:

— А ты с начальниками гляди не блуди. Теперь я тебя за блуд не помилую. Помни.

V

Клавдя зажилась в городе. Закончила давно начатое вязанье крючком, сшила новые оконные занавески с этим кружевом и послала с попутчиком в свое село домоправительнице-тетке письмо:

«Дорогая тетя Маня! Благодаренье богу, хлопоты мои идут успешно, с пользой для несчастного моего мужа. До суда он теперь сможет находиться в более хороших условиях, часто на воздухе, вообще повеселее. А суд выясинт, что Гриша не так виноват, как показался,—больше из-за своего беспокойного характера. Я на это твердо

надеюсь, чувствую себя бодро и хорошо. Хорошо, что Степанида перешла жнть к нам. Она старательная в работе н вообще нам подходящая. Главиое — дальияя родия, никто ие придерется, что мы пользуемся наемиым трудом, когда мы содержим нуждающуюся родствеииицу. Но все-таки вы за ией следите, в амбар одиу ие посылайте. Ключ от амбара, пожалуйста, ие забывайте прятать н вообще нарасхлебень ничего не держите. Человек даже не виноват, если вы его вводите в соблази своей иеаккуратиостью. Напишите, пожалуйста, поскорей, доставил ли Семеи Козырь супоросую свииью из Каин-Кабака. Тогда, с вещами, мне невозможио было ее взять, а он божился, что скоро доставит. Теперь оиа уж опоросилась, поросят ои, конечио, не всех привезет, обязательио парочку-троечку украдет, ио хоть бы свинья не пропала. Кларка-хохлушка в иих толк зиала, иашла очеиь хорошую. Так не забудьте, пожалуйста, иаписать мие. Если не привез, — я его и отсюда достану. Когда Парфеи Алексеевич поедет в город — ои скоро собирается, я знаю, — пришлите с иим ручиую швейиую машниу, 2 пуда бараиины, 1 — говядины, 10 фунтов свинины, 3 сотни яиц и полпуда масла. Прнходится Грншеиьке носить ежедиевиую передачу, а здесь провизия дорогая, и за деньги еще мало что продают, вещи разматывать ие стоит. С Парфеном за доставку я сделаюсь сама, вы так ему и скажите, а то он вас обжулит. Ну, до свидаиья, желаю вам доброго здоровья, крепко вас целую, буду ждать ответа. С сельчаиамн

живите подружней, чтоб склока какая не произошла. От рябой Марфы держитесь подальше. Пусть в спину ругается, вы, очень вас прошу, молчите, не огрызайтесь. Пускай брешет, что я в городе живу для того, чтобы с чекистами путаться, — мне наплевать. Собака лает, ветер носит. Я не такая дура, чтобы по рукам пойти, на месяц регистрироваться, когда у меня муж есть и не собирается со мной разводиться. Вы стерпите, пока суд не кончился. Не надо ни с кем ссориться.

Любящая вас племянница *Клавдя.*

В начале письма я написала выраженье «благодаренье богу». Это, конечно, случилось по привычке. Я — жена партизана и все-таки как-никак большевика — не могу верить в бога, да и не верю. Но вам можно в церковь ходить. Ничего, это вам не повредит, вы — старенькая, вас уже невозможно переделать. Пишите ответ поскорей, но все-таки повнимательнее. Очень много букв пропускаете, я с трудом разбираю слова. Еще раз целую вас крепко и желаю всего лучшего.

К. А.»

Клавдя облегченно вздохнула, закончив письмо. Сладко потянулась, прижмурила глаза, но, вспомнив, что пора собирать узелок для передачи, быстро вскочила со стула. Посмотрев на часы-будильник в изголовье кровати, мысленно выбранила себя:

«Дурища, расселась! Уж пять минут второго, еду надо к двум, а шагать-то вон

сколько. И волосы не подвила еще. Фу, как время бежит, никак не успеешь все сделать. Ну, пойду побыстрей. Далеконько до вокзала! Ох... Много все-таки с моим Алибайкой хлопот».

Семнадцать человек — бывших офицеров, молодых мужиков из нехорошевских заговорщиков, наиболее здоровых на вид и степенных работящих уголовников — были переданы в распоряженье транспортного отдела политохраны для производства неотложных работ по восстановлению железнодорожного движенья. Перед самой отправкой неожиданно для тюремного начальства высшим распоряжением был причислен к ним Алибаев. В конце города, у вокзала, наскоро подремонтировали обветшалый арестный дом. Вместо поломанных в окна вставили новые железные решетки. У ворот выросла некрашеная, свежо пахнущая деревом караульная будка. Такие же молодые, веселые нависли ворота в прорыве седого, ощеренного меж досок забора. Арестанты, приобщившиеся в прогулке через город к нетемничной людской жизни, ввалились в них со смехом, с прибаутками, весело. Алибаев с усмешкой, широко обнажившей желтые, прокуренные зубы, подмигнул на будку и на ворота, крикнул:

— Правду в газетах пишут, покончили разрушать, строиться зачинаем!

Безбровый круглолицый солдат громко засмеялся в ответ, но быстро вспомнил, что он — охрана, покосился на других сопровождающих, мотнул винтовкой и пригрозил Алибаеву:

— Я те позубоскалю! Пролезай, что в воротах задерживаешь?!

Алибаев дружелюбно взглянул на него, ласково отозвался:

— Не серчай, сынок. Зазевался маленько.

На шатких, разбитых ступеньках входа он опять призадержался, поглядел на белесое небо, на притоптанный, загаженный людьми снег у крыльца, снова широко усмехнулся, хлопнул ласково по спине идущего перед ним и вошел в душный дом с железными решетками, как домой после томительного странствования.

Дом разделялся только на две половины. В одной стояли два длинных стола и одна тяжелая, во всю стену, скамья. Меж двух окон висел криво прилаженный, замызганный, исцарапанный телефон.

Здесь ранним утром и на ночь вместо ужина пили компанейский чай. Кипяток давался казенный, а заварка своя, собранная из передач. На дворе грели дежурные чурками медный с позеленевшими боками самовар. Обедали на работе. Другая половина, совершенно пустая, даже без нар, служила спальней. В изголовье под окнами в ряд вытянулись узелки, мешочки, мешки и сундуки с пожитками. Посредине, во все помещенье, положена была солома — общая постель. В обеих половинах под потолком плохо светили маленькие электрические лампочки, по одной в каждой. Но пустой, без строений двор был сильно освещен. Там и на улице сосредоточивалась охрана. Караульный начальник на ночь устраивался на столе.

С семи утра до темноты с полуторачасовым перерывом на обед, арестанты заняты были тяжелой физической работой на железной дороге. Грузили, разгружали вагоны по уроку — определенному количеству пудов в назначенное распорядителем время, таскали на носилках по крутым всходам глыбы льда в холодильник, ворочали камни и бревна. Целый день на ветру, на предвесеннем озлившемся холоду, редко — под крышей, в своей, из дому еще взятой, у всех плохонькой одежде. У кого и была хорошая — в тюрьму с собой не взяли. Правда, в натуге холод донимал меньше всего. Но все-таки семеро — четверо из офицеров и трое из нехорошевцев — на пятый день работы сданы были в тюремную больницу в жестокой застуде.

На чрезмерную тяжесть работы не жаловался только Алибаев. Слабосильней многих, давно отвыкший от физического труда, он обливался потом под ношей, шумно, с хрипом дышал, часто сплевывал со слюной кровь. Возвращаясь, чуть двигал разбитыми, ноющими в костях ногами, со сгорбленной, затекшей спиной. По утрам и ночью, вставая на работу и ложась после нее, каждодневно он ощущал радость. Точно выздоравливающий после длительного беспамятства в хвори, заново видел вещи и живое — в их изначальной большой ценности. Под пакостной коростой дурных слов, злобы, скотского поведения он в окружающих, как собака нюхом, слышал теперь человека. По природе своей навсегда обреченный страстям, он и добро кощуиственно воспринял

как страсть. Как убивал и насиловал, так же стал благодетельствовать. Недоедая сам, раздавал другим грузную Клавдину передачу. Даже большую половину доставляемой изредка водки дрожащей рукой отливал другим. Постоянно отбывал дежурство по казарме за ленивых. Навязывал всем свою помощь. Им стали помыкать. Он без разбора уважал и прохвоста и честного, его уваженье стало вызывать в других гадливость, как пресмыкательство. Начал Григорий часто заговаривать проникновенно о любви к ближнему. От волненья у него отвисала, мокрела нижняя губа, и смотреть на него со стороны было неприятно. Голос всегда ласковый, улыбка в ответ на брань надоели всем арестантам за полтора месяца совместного пребыванья — до отвращенья к нему. Нехорошевцы, в разговоре между собой, дивились, вспомная прежнего Алибаева. Мефодий Долгов объяснил:

— Чего ж, повихнулся в уме, блаженным стал. Теперь время такое, некуда эдакого пристроить. Раньше, пока монастыри неразоренные были, он бы деньгу хорошую для обители зашибал. Божий сделался человек, а бог-то под запретом, — куда же ему деваться? И нам его надо терпеть, чего же!..

Степан Кухарев, сплюнув, заключил разговор:

— Беда! Чего с человеком случается! Кабы не знал сам, и сроду бы не поверил. Какой ведь орел был!

Клавдя на свиданьях подозрительно

вглядывалась темнеиькими острыми глазками в его лицо.

— Ты ие хвораешь, Гриша? Я похлопочу в больиицу тебя. Что-то очень уж ты ласковый и развареиный какой-то.

— Брось, мне хорошо. Вот только ты очень устаешь. Заморил я тебя, пичуга. Ехала бы ты домой.

— Гришенька, я радуюсь, что ты теперь виимательиый ко мне такой. А все-таки думаю... Право, хвораешь ты.

Свидаиья здесь ие разрешались, ио допускались по человечеству самой стражей рано утром до увода иа работу и вечером по возвращеиье в любой деиь, если карaульиый иачальиик ие был чем-иибудь расстроеи или обозлен. Происходили и в столовой, и во дворе, и в сеиях — как удобиее казалось охраие.

Транспортный отдел ГПУ возглавлялся длииным сухощавым иеразговорчивым человеком. Некогда он отбывал каторжиые работы иа царском руднике. В разговорах уклоиялся вспоминать это время, но помнил о нем хорошо. Зиал, что илоты буитуют только тогда, когда отдушины тайных поблажек наглухо закупореиы. Начальиик иаложил запрет иа свидаиья, но сумел сделать так, чтобы иижние доглядчики догадывались его иеопасно иарушать. И заключеииых радовала увереииость, что им сочувствует иепосредственное начальство, отиосится к иим по-человечески, с доверьем, рискует, допуская запрещенные свидаиья с близкими. И это обстоятельство рождало особое отношеиие к иачальникам, в коице коицов вы-

годное для надзора. По особому тюремиому закону нравственности арестанты сами связывали, ограннчивалн себя, оберегая подвергавшнх нз-за ннх себя рнску надсмотрщиков.

Одии Алибаев сомиевался, что это попустительство без подвоха. Но, предавшись добру, считал эти мысли отрыжкой прежнего зла и сообщил их однажды только Егору Кудашеву.

В первый день пребыванья в этом арестном доме оин хорошо встретились друг с другом. Как ввалились гурьбой в помещеиье, молодой сероглазый пареиь с белокурым пушком иад большнм алым ртом, с черной родинкой иа правой щеке повериул за плечо Алибаева лицом к себе. Приветливо сказал:

— Вои какой ои есть, Алибаев!

Григорнй лукаво подмигнул.

— Слыхал, зиачит, про меия?

— Как ие слыхать! У вас что же, вещей-то никаких при себе, всего и осталось богатства, что этот тулуп?

— Хватит. Нечего horомину-то загромождать. Ну, будем знакомы. Я и место займу вот тут, с тобой рядом. Ну, шабер, как зовешься-величаешься?

— Егор Кудашев. Егор зовут.

— Кудашев! Слышь-ка, а ведь у меня для тебя поклои в котомке давно закладен. Вот, волк меия заешь, как это я забыл. Брат твой, Леоитий Кудашев, тебе клаияется.

— А где же вы его видалн?

— Давио виделись, память с того дия от-

шибло у меня. Велел он постараться разузнать об тебе, помочь обелиться в деле-то в нашем в бандитском, а я как в одиночке рассиделся, так и рыло от хороших людей в сторону. Забыл, понимаешь, совсем запамятовал. Как отшибло!

— Какое же с вашей стороны может быть обо мне старанье, коль рядышком оба в клетку захлопнуты?

— Нет, нет, это я еще мозгой раскину! Постой, с другими сватьями надо обнюхаться. Что за народ? С тобой еще, соседушка, набеседуемся.

Набеседовались они вволю. Алибаев узнал, что Егор Кудашев, действительно, зря запутался, но очень крепко. Доказать его невиновность трудно, так как он сам не захочет до конца все нити распутывать. По сбивчивым и неоткровенным его рассказам Алибаев чутьем докопался до правды. Обстоятельства перепутались необычайно.

Егор Кудашев жил в семье старшего их с Леонтием брата. Тот с партизанской войны до сего дня еще не вернулся домой, но, по верным слухам, был жив, находился где-то за Питером. Ушел он с белыми, потом будто бы попал в плен к красным, с ними в рядах сражался — не разберешь, с кем из них содружествовал по своей охоте. Егор остался в избе с его женой и двумя братниными малолетними детьми. Жеиа братова, молодая, смелая и здоровая, хорошо управлялась по хозяйству и без мужа. Егором как наймитом помыкала и была в доме главой. Мужа своего она очень любила, снльно тосковала по нем. Но она была уверена,

что он за белых, а ие за красиых. Юиый, очеиь душевный Егор сперва просто подчинялся сиохе, потом, по-видимому, привязался к ией чувством более горячим, хотя грешиой связи между иимн ие было. Из-за недосягаемостн своей сиоха сделалась для иего как солиышко иа иебе. Дороже всего и ясией всего. Он верил каждому ее слову, выполиял все ее желаиья. В самую распутицу попросились к иим два проезжнх человека переиочевать. Потом остались дией на пять, ждали, пока вода долами схлыиет. Старшего Егор зиал как Алексея Климова, ездившего от своего села в город с каким-то ходатайством в земотдел. Был же на самом деле он атамаи Нехорошев. Про заговор Егор Кудашев ничего ие слыхал, сам и мыслями и настроеньем почитал Советскую власть своей, стоял за красиых. Как ии был мягок по молодости, ие поддался бы на заговор, хотя бы и сиоха упрашивала. А после, как явились чекисты с обыском, нашли запрятанные охраиные бумажки на нмущество семьи этих Кудашевых с печатью оргаинзации Нехорошева и такое же письменное запрещеиье мобилизовать прииудительио Егора Кудашева в случае иаступленья особого отряда атамана Нехорошева. В огороде разрыли бомбу. Сноха перед этим иезадолго очеиь страиный разговор вела с Егором. Теперь его ои только понял. Оиа была виновата, ио уж на попятный ладила, расчухала, что дело не выйдет. Когда производили обыск, оиа сильио перепугалась, что ее заберут от детей. Но заподозрнлн Егора Кудашева, забрали. Выдать сиоху с головой

он не мог, а иначе оправдаться ему никак было нельзя. Егор в рассказе выдал ее странно настойчивыми завереньями, что она *тоже* ничего не знала. Алибаев решил сообщить следователю про этот распутанный его личной сметкой узел, но услышал ночью один раз, как во сне Егор окликнул сноху по имени, а потом затосковал, заметался по нарам. Наутро от Кудашева держался в стороне, сердито его обрывал, а при свиданье с Клавдей через нее заявленья начальству, как собирался, не передал. Утешал себя мыслью, что его заступничество едва ли засчиталось бы в пользу Егора.

Один за другим незаметно в месяц выросли дни. Алибаев всем опротивел, но Кудашев от него не отодвинулся. В революционные праздники, когда не водили на работу, Егор читал вслух Алибаеву книжки из тюремной библиотеки. Сначала читал рассказы. Но все попадались новые, недавно напечатанные — про белых и про красных, про житье при Советской власти, очень странно, непонятно и скучно написанные. Стали тогда вычитывать из политических брошюрок. Обоим это показалось занятнее. Но Алибаев не все понимал и попросту смотрел в рот Егору, думая о своем. Егору один раз дали свиданье. Приезжала сноха, и он в этот день дышал как в лихорадке, ни с кем в камере не разговаривал, и для Алибаева это был единственный ощутимо тягостный день в его новом настроенье.

Алибаеву казалось, что он теперь всех людей любит просто за то, что они люди. Но он бессознательно хитрил перед собой,

ие замечая, что Егор действительно полюбился ему всей своей ухваткой. Кудашев хорошо примечал все вокруг, действеиио всем ннтересовался. Не икоиоборствуя, как Алибаев, ои ие боялся жить своим умом, стойко противоречить всему, чего он не хотел принять. Был худощав, легок н выиослив. Подиимая иа работе тяжелый груз, всегда устранвал его иа спиие особеиио ловко. У иего не было лишиих движений, обремеиительиой мужичьей иеуклюжестн. Никто не учил деревенского париа, как от иих отделаться. Ои сам, зорко глядя вокруг, заприметил их у других, нашел манеру двигаться, дышать, сберегая силу и время. Сделаииые им ошибки ие повергали его в уныиье, не сбивали с панталыку. Ои обращал их в пользу себе, как птица сопротивлеиье ветра для полета. Только в первом своем чувстве к жеищине ои оказался тяжело опрометчив и ие мог еще из этой беды выкарабкаться. Алибаев, лежа рядом с иим иа полу, спросил его как-то иочью:

— А что, Егор, Кудашевы русских кровей?

— Ыгы... А что?

— Глядел я все, сколь ловко ты ложишься, встаешь, и подумал — словио бы иеиашниского ироду ты человек. Шибко уж деляга. Догадливый, как жид, а спииой крепок, как русский. В человеке крови всегда обозначаются. Вот во мие русская от матери все-таки к старости отцову передолела. Жалостлив я стал, доходчивый до чужой туги. И сердце полегчало, совесть поиятлива сделалась.

— Ну и зря. Блажишь ты ие от матери, не от отца, а сам от себя. Дурачком сделался по доброй воле.

— А по моему сердцу, я только теперь и заумиел. Вот сейчас усиу, когда злобы грех поменьшал во мие. А то спать ие мог.

— Может быть, ты просто спился, ослабел. Пройдет еще это с тобой. Настоящие-то блажеииые, все-такн правда, троиутые умом бывают. Я про тебя иикак все-таки ие думаю, что ты глупой.

— А я про тебя ие сдогадаюсь хорошеиько, умный ты или не вовсе умиый, а только правильиый. Действительио, правильиый. А Леоитий, твой брат, тоже правильиым мне показался, да все-таки ие так.

— Вот тот правильиый. Никакого правила не иарушит, раз оио ему втемяшилось. Сиоха была, сказывала, что ои в городу, здесь. А не пришел наведать, потому что здесь ие по правилу, с обмаиом свидаются.

— О!.. Это уж и вовсе немец. Я иа плеииых иемцев нагляделся, а то еще у колоиистов бывал. Нет, есть к русским кровям у вас подбавка какая-ибудь немецкая. Перемешался теперь иарод. Оио и хорошо. Новый приплод, может, получшее выдет. Нашииское племя перед старым хилявое, а эти, может, опять иа поправку.

— Спи. Сегодия отпраздиовали, завтра иа работу. Задышишь опять, как паровик. Отдыхай.

Зима раздрябла, расхлюпалась. Небо иагрузло водой. Снег падал вперемежку с

дождем. В сырости работа сделалась еще трудней. Обедать сели под запасным навесом для клади. Издрогшне, измокшие, сбились тесно, пасмурной тучей. Нехорошо смотрел и был вял даже Егор Кудашев. Всю последнюю неделю он на себя непохож.

«Тяжелое в мозгу поворачивает», — думал, наблюдая за ним, Алибаев.

Сегодня он ни за кем, даже за Егором, не мог заботливо следить. Кашель разбил всю грудь. Ныли плечи, то и дело туманилась голова, жаркие искры прыгали, мельтешили перед глазами.

К навесу подошел невысокий худой солдат со шрамом через весь лоб, в грязной шинели до пят. Он был безус и безбород, но немолод. Мелкие морщины пересекали переносицу, бороздили виски. На изуродованном лбу желтая, увядшая кожа. Десять человек, охранявшие арестантов, сбились своей кучкой тоже под навесом. Один из них взглянул на подошедшего, повернулся к нему всем корпусом.

— Ты чего?

Тот хриплым голосом спросил:

— Братцы, товаришы, а що, не знайдется у вас лишней краюшцы хлеба?

— Во, видали! Явился гость! Разве можно солдату побираться?

— Та який же я солдат! Недужный инвалыд. Бачишь сам — витром качае. К батькам помырать иду.

— Помирать не надо далеко ходить, везде можно.

— Було б не надо, кабы враз смерть, а то дыхаю, исты-питы прошу.

Солдаты охраны поглядели друг на друга. Старший как раз жевал. Он отломил от своего куска и протянул пришельцу. Спросил:

— Откудова же ты идешь?

Солдат взял хлеб, вяло ответил:

— Сдалека.

И отошел. На ходу оглянулся, посмотрел на арестантов, скрылся за станционной больницей.

Старший передернул озябшими плечами, встал и начал переминаться с ноги на ногу. Солдат, сидевший поближе к арестованным, нехотя выговорил:

— Брешет, что солдат. Побирушка.

Старший равнодушно ответил:

— А пес с ним. Плохой, правда, хворый, видать. Ну, кончать еду надо, до вечеру мало время остается. Ты что какой сизый и трясешься весь? Хвораешь?

Алибаев, глядя мимо его лица, ответил сквозь зубы:

— Лихорадка трясет. Ничего, разомнусь.

— Ну, ладно, двигайся.

Алибаев не мог не узнать Клару. Узнали ее еще двое из арестованных. Оба они переглянулись друг с другом. Посмотрели на Алибаева, но тот отвел глаза. У него все захолодало внутри — не от испуга, а от жалости.

«Вот дурища! Несусветная дура! Чисто сучонка шалая, сама под руку подскакивает. Лучше бы ее тогда прикончили, сразу бы отмаялась».

Когда вернулись в арестный дом, двое, тоже признавшие Клару, по очереди урвали

минутку спросить его о ней. Он обоим ответил:

— Ничего не знаю. Расхварываюсь, голова мутна, не разглядел. Чать, то вы в кого другого вклепались. И, как говорит, не расслыхал. Не знаю.

Укладываясь, Алибаев слышал, что его окликнул Кудашев, но не отозвался. Поглядел в темное плачущее окно, подумал о Кларе:

«Где она ночует-то? В эдакую непогодь да не под крышей. Худо! Ах, дура, дура».

Заснул скоро. Потом ему показалось, что он проснулся, поспешно открыл дверь, пошел по длинным, ярко освещенным, но совершенно пустым и незнакомым коридорам на улицу. Шумел дождь, хлюпала грязь, но было очень светло на улице, и он бежал быстро. Дождь не мочил его одежды. Как-то сразу очутился в церкви, при ярком свете люстры, восковых свечей. Пел невидимо где очень монотонный, похожий на шум дождя хор. Но Алибаеву пенье казалось радостным. Он стоял рядом с Кларой. Их венчали. Лезло в глаза чернобородое лицо священника, но Алибаев все отворачивался, чтобы это лицо не мешало ему видеть Клару. И он повернулся боком к священнику, увидал ее синие глаза, удивительный сияющий взгляд — и весь задрожал от любви, восторга, странно смешанных с такой мучительной тоской, что дыханье остановилось. Чтобы не задохнуться, он хотел крикнуть громко-громко, но голос ему не повиновался, и он застонал. Вовсе это не церковь, а широкая равнина. Не видно ни травы, ни цветов,

оиа вся сияяя, и вверху в иебе сииева эта так ярка, что глаза режет. Ои идет по ней одии, ио знает, что близко где-то Фрося. Опять его проиизал сладчайший трепет любви и боли, стисиул сердце...

С огромиым усильем, с иатугой закричал и проснулся, услышав свой крик. Ои лежал иа спиие, и прямо в лицо ему светила лампа. Щеки были мокры. Алибаев поднялся, стал скручивать папиросу; руки тряслись, н ои долго ие мог свериуть ее как надо. Боясь смотреть в окио, ио то и дело в него взглядывая, выкурил две папиросы, жадио затягиваясь, потом завериулся в тулуп с головой и опять лег. Больше уже не заснул до вставаиья.

Алибаев был одии в спальной половиие. Все ушли в другую — обедать. Разговор оттуда доносился более веселый, чем в ближайшие прошлые дии. Сегодия, в день празднованиия Парижской коммуиы, арестантам дан был отдых, иа работу ие водили. Оиа в последние дии всем показалась особеино тяжелой. Погода стояла перемеииая. С утра сверху оседала теплая сырость. От иее хилел сиег и чавкал под ногамн, промозглый воздух забирался в ноздри и в рот, вызывал маятный кашель. Потом вдруг холодало. Студеиый ветер замораживал мокреть. Носили тяжелую кладь по заледеневшим, скользким сходиям. Отсыревшая одежда во время передышки в работе быстро отнимала тепло разгоряченного движеньем тела. Троих сдали в больиицу, заменив их

новыми, никому не известными арестантами, жителями дальнего какого-то места. Они, виное, часто сокрушенно вздыхали, жаловались на свою участь, искали в других жалости, сочувствия. Никто им не посочувствовал. Здесь мало было жалостливых.

Алибаев заново переменился. Он стал очень молчалив и хмур. Больше не кидался помогать другим. Назойливой услужливостью уже не надоедал, хоть и не огрызался, не спорил ни с кем, отвечал несердито, когда ответ от него требовался.

Сегодня, в день отдыха, приезжал из города оратор по путевке из губкома. Он делал доклад о международном положении и значении новой экономической политики. Арестантов его наезд развлек и оживил. Один Алибаев отнесся к нему безучастно. Сидел все утро на полу, поджав под себя ноги, и настойчиво думал о своем. Темные глаза его поблескивали по-ястребиному. Сейчас он, казалось, уснул, завернувшись в тулуп. Но как только хлопнула дверь, тайком посмотрел: кто? Вошел Кудашев.

— Ты что же не обедал?

— Егор, погляди, где Щука?

— Во дворе. Офицеры дрова колют, он им помогает. Я сейчас оттуда.

— А мужики? Другие-то где?

— В той половине, там печка топится, теплей, здесь шибко холодно. А што?

— Чего же делать? А?

Кудашев подошел к двери, прислушался и подошел к Алибаеву.

— А ты что же, на попятный думаешь? Сгубить нас всех хочешь?

— Я за тебя, Егор, пуще всех опасаюсь. Главиое, ие верю я, чтоб дело вышло. Кларка ведь дело-то ведет, ннкто другой. Оиа отчаянная шибко. Вылезет где надо. Как в прошлый раз.

— Так чего же? Она показалась вам, чтобы пнсьму поверили. Ведь опасалнсь, что обмаииое. И день хорошо выбрала. Узналн только те, кому надо было узнать.

— То-то, онн лн только. Да н сомневаюсь я...

— В ней?

— Сама-то оиа в пекло полезет за меня...

— Вот ты это понимай, что н иас вызволяют только нз-за тебя, не пяться назад. Я передумывать не согласен. Все равно — однн, безо всякой подмогн, а убегу.

— Да ведь ты раньше не думал. Каюсь я, что тебе рассказал. Ты меня н с панталыку-то сбнл, я бы не согласнлся.

— Думал я н раньше, да зацепкн не было. А теперь все равно, больше ие могу. Снлы тратнм, надрываемся в работе, а коиец для меня плохой ожндается. У меня ведь нет боевой заслугн, я в своем дворе топтался. Ну, а смертн дожндаться сндеть мне иеохота. Значит, надо спасаться.

— Ну, а поймают тебя — тогда не спасешься.

— Не поймают. А поймают, так что же? Нельзя же ие пробовать от смертн уйтн. Жив останусь — и внноватость свою избуду. Через годок-другой по-нному н об деле иашем суднть будут, а сейчас горячо, а я в первых числюсь... Под горячую-то руку...

Ну, как хочешь, разговаривать опасио. Коль передумал, известн остальиых.

— У меня насчет тебя, главиое...

— Насчет меия не поможет, я теперь от думки своей не откажусь.

— Ну, дак н иечего, ладно. Как иадумали, так и сделаем.

Ночью ни Алибаев, ии Кудашев долго ие засыпали. Оба обдумывали одно и то же — предстоящий побег. Одни из конвойиых, сопровождавших арестаитов иа работу, тайком передал Алибаеву известие от Клары еще до появлеиья ее на станции.

Она умоляла Алибаева бежать. Суд иеизвестно когда, долго еще придется томнться в неволе. А там — если помилуют, ие казият, все равио опять долгое заточенье, а время идет, годы уже ие молодеиькие, может ои и захиреть и коичиться в тюрьме. В Каин-Кабаке нашлись вериые друзья. Они помогут побегу ие только из тюрьмы, ио и во Владивосток. Если ои о себе ие думает, пусть подумает о других. Она называла еще пятерых мужиков из одиоы волости с Алибаевым, которым помилованья быть не может. Их вызволят только с Алибаевым вместе, для одиих стараться не будут. Все для побега налажено. Нельзя медлить, потому что весиа развезет дороги, вскроет овраги и речки. Еще Клара наказывала остерегаться Клавдии, а о себе сообщила уже не иа словах, а в нацарапаииой ею самой записке. Алибаев разобрать ее не смог. С большим трудом прочитал ему Кудашев:

— «Николы я тебе в очи ие встаиу, ие разжалуюсь ие поклнчу, ты ие бойся,

от божуся смертельную клятвою, жнвы у щастьн, в доброму здоровьн. Плачу я не об своей недолн, и не с того волосы у меня сталн снвы. Вбьють мене, так на одну пулю якого другого поважннйше сменю. Не хочу, щоб ты вмер».

Алнбаев не сразу решнл, как быть. Он раздумывал о том, что его попытка стать братом всем людям, помочь нм — окончнлась неудачей. Не такая должна быть помощь. И не всем н каждому, а то половнком под ногамн у людей станешь н самое добро слякотью распластается. Другое дело — помочь делом человеку, когда эта помощь насущно нужна. Кудашев блнже всех ему, мнлей другнх — ему надо помочь, ему следует сделать добро. И убнвая, он жалел молодых, щаднл нх. А коль спасать захотел, как же не спасти юного Егора. Еслн он решает, что побег необходнм, — надо согласнться. Егор думал о годах заточенья, о подневольной, не в радость себе, работе, о возможной безвременной н постыдной смертн н, содрогнувшнсь, ухватнлся за мысль о побеге. Теперь его невозможно было разубеднть.

День побега был назначен в субботу, нз банн. Воднлн нх по окончанье работ каждую субботу вечером по десять человек. В эту субботу собралнсь только Алнбаев, Кудашев н пятеро мужнков, названных Кларой. Но перед самым уходом к ннм неотвязно пристал Щука. Новенькнй, которому не доверялн. От него удалось скрыть замысел. Прнсутствне его в бане усложняло дело, но отвязаться от него не удалось.

Сопровождали их трое солдат. Один—тот, что передавал первое сообщенье от Клары, их соумышленник. Он остался караулить у двери номера в коридоре. Два других сели в предбаннике, где разделись арестанты. У одного из мужиков, самого смиренного вида, были запрятаны под одеждой веревки. Он замедлил раздеваться. Один из солдат спросил:

— Что же ты? Кого ждешь?

Мужик замотал седой кудлатой головой.

— Что-то в грудях задавило. Отдохну, посижу маленько.

Щука раскрыл рот, прислушиваясь, но Кудашев крепко обхватил его за плечи и потянул в баню.

— Чего встал на дороге? Пойдем, пойдем.

Сзади надвинулись остальные, и все гурьбой ввалились в баню, хлопнув дверью. Караульные сели на диван и стали свертывать папиросы. Отставший от других мужик начал раздеваться.

В бане Щука только что принялся смачивать голову, как сзади на него прыжком налетел Кудашев. Втиснул его голову в шайку и налег всем телом на него. Дверь в предбанник распахнулась. Караульные не успели двинуться, как шестеро здоровых мужиков навалились на них. Рот им заткнули грязным бельем. Четверо держали, двое раздевали. Сняв с них солдатскую одежду, их связали и внесли в баню. Там скрутили и Щуку. Он уже перестал извиваться в руках Кудашева. Был в обмороке. Кудашев и еще один мужик быстро оде-

лись в сиятую с караульных амуннцию. Остальные наделн свою одежду. Кудашев огляделся:

— Все готово? Двнгай.

И взял внитовку в руки. Тут только увндел, что полуодетый Алнбаев, с лнцом нссння-красным, пошатывается на ногах.

— Алнбаев, ты что?

Тот ннчего не ответнл. С трудом поворачнвая налнтыми кровью глазами, попятнлся, согнулся н лег на пол. Кудашев иаклоинлся над ннм. Он невиятно забормотал что-то несуразное:

— Хорек, хорек...

Кудашев побелел.

— Братцы, что же делать?

Седой кудлатый мужнк дрогнувшнм голосом ответнл:

— Он не в себе. Я за нм даве глядел, он нехорош мне показался.

Алнбаев перемогался давно. Сегодня ему с утра было особенно худо. Он с трудом передвнгал налитыми тяжестью ногамн, но большнм напряженнем волн заставлял себя ходнть, поннмать, что делает. В бане, когда охватнл его со всех сторон жар, он уже плохо вндел н покачнвался. В предбанннке, пока связывали караульных, на мнг опамятовался. Но это напряженье было уже последннм. Явь ушла нз его глаз н слуха, он впал в беспамятство.

Кудашев раздумывал недолго.

— Нн вывестн, нн вынестн... Бьется в руках. Ну-ка, скорей рот, рот ему... Он закрнчнт. Что же делать? Э-эх! Ну, нам передумывать поздно. Вяжи н его.

Кудлатый мужик тоскливо шепотом спросил:

— А чего же мы там скажем? Из-за его они больше старались, не из-за нас.

Егор махнул рукой.

— Что есть, то и скажем. Некогда теперь, поздно передумывать.

Он приоткрыл дверь и позвал стоящего у дверей. Из номера вышли пятеро в сопровожденье трех часовых.

Беглецов переловили в одиночку. В условленном месте не нашли они ни подвод, ни обещанных верных людей, и убежать далеко им не удалось. Только позднее стало известно, что в Каин-Кабаке в это время шла своя кутерьма.

Зима трудна выдалась для Каин-Кабака. Нужно было любовное упорство в труде над их неудобной пашней. Каин-кабакцы и в прежнее время не надсаживались над полями. За войну отбились вовсе, разленились. И земля, как опостылая жена, рожала мало и худо. Иного промысла, отхожей работы поблизости не было. Волей-неволей приходилось тужиться по крестьянству. В ближайших соседних землях савеловских и копыловских хуторян озимь этой осенью, как щетка, вышла густа. У них же нехороша почти на всех пашнях. И еще от хозяйского недогляда или уже так — беда не ходит одна — напала хворь на скот. Чуть не каждый день на дворах по очереди бабы выли над подохшей животиной. И окрест над падалью в пустынном осеннем поле во

множестве кружились беркута-стервятники, вертлявые сороки и жириое воронье, справляя пир. С холодами по людям пошла болезнь. В закромах заготовлено оказалось мало запасу. Еще до святок ие дошло, каиикабакцы уже доедали хлеб.

Раньше, пока иочная беда не прихлопнула алибаевский двор, жителям Каин-Кабака жилось тревожией, ио и веселее. Перепадали с того двора и дары и подмога. Оттого сиачала, когда забрали Алибаева, мужики густо загуделн в гиеве. Но вслед за Алибаевым взяли в тюрьму еще хозяев со миогих дворов, самых охотливых иа драку мужиков. Бабы подиялн вой, сокрушаясь о детях, н робкие отцы семейств притихли. По-прежнему горячо о нем беспокоился, корил хуторяи за бездействне только Васька Сокол, одииокий молодой мужик. У иего жеиа и сыиишка недавно померли. Он о них меньше сокрушался, чем об Алибаеве. Ему первому о себе весть подала Клара. С иим вдвоем они взбодрили стороиинков Алибаева ие только в Каин-Кабаке.

Вечером, иакануие того дия, когда подбитые Васькой Соколом люди, во главе с иим, должиы были явиться в изиачеииое место, бабы побежали гурьбой в избу Филатеиковых. Матвея Филатенкова забрали по иехорошевскому делу одним из последиих, недавио. Баба осталась иа сиосях, с пятью ребятишками иа руках. Старшему сыиишке всего одиииадцатый год, ои и справлялся за хозяина. Евдоха Филатенкова, тяжело поворачивая огромный живот, сегодня собирала сыиа на мельиицу. Мука

вся кончилась, у соседей взаймы просить и совестно уж, да все-таки просила: в трех дворах отказали — самим никак не удается смолоть. Пришлось сына справлять на мельницу. Вдвоем с малосильным парнишкой насыпали и стащили на дровни зерно. А через час после этого Евдоха закорчилась в страшных, еще небывалых ни от одного из детей родовых муках. Бабушка Секлетея замаялась с ней. Вытирая трясущейся рукой пот с лица, говорила собравшимся в избе:

— Ну, бабы, ничего больше не могу. Умаялась, чисто сама рожаю. Заговор, видно, сделан на брюхо кем-нибудь со зла.

Серолицая баба с глубоко запавшими глазами ответила ей слабым голосом:

— Эх, баушка, на всех на нас тот заговор, из-за его и мужиков в острог посажали, и бабы родят неблагополучно. Я вот какая удалая допрежь родить-то была, а в нынешнии года другого мертвенького скинула.

В ночи избу допоздна освещал с потолка маленький огонь пятилинейки. В кольце налегшей бабьей толпы на скорбном своем ложе лежала мертвая неразродившаяся Евдоха. Огромный живот возвышался над поверженным бездыханным ее телом как напоминанье об ее последней житейской тяжести.

Та же серолицая женщина, увидев его, затряслась и страстно взголосила:

— Сестрицы, бабоньки. Мужики отстрадалися, отвоевались, ждали бабы радости, работать без надсадушки, детей растить с родителем. А и где же те роди-

тели подевалися? Ой, тошно мне, тошнехонько, ой, бабоньки...

Она горько зарыдала, оборвав слова, и повалилась на кровать, лицом в ноги мертвой Евдохи.

Бабы, плотней сбившиеся в избе, засхлипывали в ответ. Взвился и громкий плач. Высокая рябая баба сурово его перебила:

— Будет, бабы. Голошеньем здесь делу не поможешь. Он страждал, воевал, а мы, что ль, не маялись? Он-то наехал, с нами полежал, встал, отряхнулся да опять, дело не дело, в драку в новую. А детей кому подымать? В хозяйстве кто ворочать будет?

В ответ поднялся сполошный бабий шум. Жалобы, восклицанья, плач наполнили избу. Обычно окружала мертвого строгая, уважительная тишина, нарушаемая только установленным причитаньем. Теперь обида и неустройство живых отстранили мысль об умершей. Рябая баба сильным своим голосом опять покрыла общий крик:

— Теперь, если мы сами не вступимся, — пропадать и нам и детям. Чать, не я одна дослышала, что Васька наново подбивает.

— Мама-а!.. Ой, мама, ой-ой-ой!

— Стой, бабы, расступись. Эй, Степанида, это Гришанька твой. Степанида-а!

— Что ж, что мой! Пущай давят! Пущай всех подавят! Отец-то думает об их? А? Кто об нас подумает? Кто об нас постарается?

— То за большевиков ходили — наши, мол, наши. Ну, ладно, мол, наши. Как ни то перемогусь. Своими крылышками прикрою... Выстаивай за своих.

— И я, я тоже не отказалась. А теперь чего же, и это не свои. Да кто же тебе свои? Со всеми и будешь драться весь век.

— Кто с Алибайкой водился, кто от его наживался, тот пусть и вызволяет...

— Да, как раз! Нахлебники-то алибаевские, башкиры, казачишки-то, небось первы смекнули, поукрывались.

— Да что Алибаев? Опять, что ль, кто за Гришку собирается? Да скажите, милые, да не майте меня. Чего опять про Гришку?

— Васька Сокол на выручку...

— Они, соколы-то, взовьются да улетят, а отвечать опять воронам придется.

— Эдакому соколу перья-то повыщипать, башку набок пора.

— Да стойте же вы! Ой, да голубушки, ой, сестрыцыньки! Айдате не сдавайте. Соглашались мы на большевиков, пущай и будут большевики.

— Вон Евдохины-то дети воют на печи. И наши так же будут. Который год одни всю работу ворочаем.

— Работу за их ворочаем и рожаем опять же мы. Кабы они родили, дак узнали бы...

— Стойте, бабы! Угомонись. Ну, стой ты, зевластая! Третий год всего замужем, а всех забивает.

— Да я на третьем-то на годе, может, за двенадцать твоих...

— О-ох, сердечушко! Да и как я в свою избу взойду, да и как я гляну...

— Сто-ой! Кто чего слыхал, ну? Отколь узнали, что мужики затевают?

Рябая баба звонко отозвалась:

— Я подслухала. Не спалось долго с вечеру...

— Эй, потише... Ну-к, стойте. Чего она говорит?

— Да громче ты!

— Рассказывай, Феона, говори...

— Вышла я во двор, гляжу, за плетнем по нашему огороду кто-то крадется. Я было кричать хотела, да одумалась. Вижу — мужик, а на дворе-то я одна. Ну, гляжу, гляжу: Васька Сокол. А за им еще. Трое эдак друг за дружкой. Тут я и смекнула. Не иначе опять — на драку заваруха. Стой, думаю, догляжу. Они по-за амбарами вместе пошли. Я близко-то не могла. Но слыхала: Кларку поминали и Гришку, а потом: завтра, дескать. Я плохо дослышала, но все-таки выходит так... Завтра ночью они с Кларкой встренутся за хутором...

Поднялся снова шум, но скоро опал. Женщины начали совещаться потихоньку. Когда расходились, рябая властно заказала:

— На язык замок. Нетерплячие мы на тайности, а все-таки надо помнить: детям нашим на погибель, коль до время мужики дознаются. Надо Кларку словить, в ней весь вред. Гришка родня нам всем одинаковая, нашему плетню сват. Будет, навоевались с ним. А сколь порухи он нам сделал, еще не считано.

Юркая бабенка сунулась к ее плечу.

— В других местах бабы нову сарпинку понакупали, а у нас при ем ни куплять нельзя, ни торговать нельзя.

— Торговалы с купилой-то еще нет, об чем засохла!

— Ну ладно, бабы, будет. Потишей языками-то...

Прошел день, а в следующую ночь спозаранок поднялись все в хуторе, от мала до велика. Чуть угадывался еще по-зимнему тяжелый на подъем рассвет, когда в сизом его сумраке забегали, зашумели люди. За хутором, там, где высился шест с красным флагом, сгрудился народ. Шум тяжелого бега, разговор, крики, руготня сливались, ширились, перекатывались по всему хутору. Никто друг друга не слышал, каждый метался, кричал во всю силу голоса. Звонко перекликались, плакали, смеялись шныряющие меж взрослыми дети. Гул людского волненья, как буря, далеко отдавался в предрассветной тишине за хутором в горах.

Бабы подкараулили Клару с Васькой Соколом и еще двумя мужиками. На помощь поймавшим из всех изб набежали бабы с ухватами, с кочергами, с палками, с поленьями. В руках у рябой был большой заостренный кол. Она кричала:

— А ну, Васька, бей! Бейте нас, мужики! Кончайте нас, мужики! Ты, Степан, убивай меня! Убей жену свою! Кончай детей наших, все одно!

А сама наступала грудью вперед, широко и сильно размахивая колом. За ней другие. Стоном разливался их вызов:

— Пали из ружья! Поклади на месте!

— Чего же стали? Нам один конец.

Мужики отступили быстро. Бабы повалили Клару на снег. Падая, она крикнула:

— Тут и лежатымо, де завъязала себе свит. Братцы, Григория...

Коичить оиа ие успела. Ожесточеииый жеиский визг еще долго стоял и иад мертвой, как кощуиствеииая паиихида. Бабы иепристойио иадругались и иад телом ее. Завериув ей иа голову одежды, обиажив худые, с выступающими костяшками колеи иоги, ее труп привязали к шесту под флагом.

Прибывшие иа другой деиь из города иачальиики, проходя по избам, везде заставали мужиков опять мирио сидящими иа печках. Бабы крутились в обычиой своей работе.

В иочь побега арестаитов из баии иа постоялом дворе в городской слободке иочевало трое приезжих мужиков. Целый деиь оии ходили по городу, вериулись оии уже по темиоте и сразу залегли спать. Но когда хозяии потушил лампу и ушел в свою половиину, оии одии за другим просиулись, тихоиько, ощупью пробрались во двор посмотреть лошадей. Во дворе было темио от грузиого облачиого иеба. Падал тающий иа лету сиег. Ноги по щиколку хлюпали в талом, вязком, смешаииом с иавозом месиве. Высокий жердеобразиый мужик иатяиул чапаи иа голову, огляделся вокруг и, успокаивая кого-то, примерещившегося ему в плачущей, шепчущей тьме, вслух проговорил:

— Овсеца мериич подбросить придется. Ну, дороженька иа завтре — трудио ехать будет.

Чубатый немолодой казак сердито подтолкнул его.

— Иди, иди подальше. Растопырился у крыльца.

Сошлись под сараем у одной колоды и зашептались. Казак, плохо сдерживая басовитый вольный голос, объявил:

— Крыто! Ворочаться домой надо. Ни хрена!

Мужик в чапане зашипел предостерегающе, оглянулся, зашептал чуть слышно:

— Каин-кабакские не явились, стало быть, отступились, а нам как же? Мы и вовсе по разным местам живем. Как сговориться — все вразброд, тот сюда гнет, этот туда.

Третий, низкорослый, но кореастый, спокойно негромко отозвался:

— Рассудили, значит, что ни к чему буча? У нас все вразброд, а мы чего же одни башку ломать пойдем? И в Кани-Кабаке народ теперь тоже не прежний народился. Надоел он нам, говорит, беспокойный все-таки. Будет, навоевались! Хозяйство схилилось.

Казак грубым шепотом перебил его:

— Ну, тоже хозяйство! Как раз в Каин-Кабаке шибко ретивы мужики до хозяйства! Скажи: трус народ там — и все!

Мужик в чапане примирительно сказал:

— Ну, словом, ни у них, ни у нас, ни у вас нет охотников отбивать Григория. Народ, что волна в бурю, грозно гурьбой встает. Ну дак чо, будет уж бурей-то ходить. Пора кажной волне на свое место ложиться. Перепалки-то уж везде позатихли, а нам

как новую затевать? Пущай сам как-нибудь старается. Он — дошлый! Утре, как маленько разведрит, айда по домам!

Алибаев отлежал полтора месяца в тифу. Только перед самым судом перевели его из больницы снова в тюрьму. Он совсем поседел, постоянно отвисала нижняя губа, и спокойно-туп сделался взгляд косых глаз. Теперь он никогда не отказывался от Клавдиной передачи. Много и жадно ел, почти все время заключенья провел в утробном глухом сне. В последний раз затрепетал перед жизнью во время суда. В первый же раз, когда он увидел, как подходит к красному столу своей отчетливой, верной походкой Егор Кудашев, он точно проснулся. Раза два в перерыве, в комнате, куда их выводили всех, ему пришлось говорить с Кудашевым. В первый раз он сказал ему:

— Вся вина на мне. Я ведь знаю, как люди помогают. Жалко тебя. Я ума решился, согласился на побег. Да кабы еще довелось с вами, а то... Худо мне, Егор, опять я шибко мучаюсь.

Во второй, приглаживая рукой седую щетину на голове, опять пожаловался:

— Люди сказывали — дикий зверь до старости не доживает. А я лютовал лютей зверя дикого, а смерть меня не берет ни в хвори, ни в казни. Коли меня не засудят на пристрел, куда же я тогда?

Кудашев невесело улыбнулся:

— А я вот знал бы — куда. И не пожалели бы судьи, кабы не засудили, а мне конец.

— Может, на суде обскажешь...

— Теперь поздно. Запутался я с побегом. Ошибся на́совсем.

— Живой тем и жив, что ошибается да поправляется.

— В этой стрельбе промашки не бывает, а в могиле чего поправишь? На другой бок и то не перевернешься.

— Погоди, сынок, может, и не на́совсем. Живой будешь — и оправишься и обелишься. У живого все концы в руках.

Он что-то еще хотел сказать, но передумал. Посмотрел ласково в лицо Егора и отошел.

Суд приговорил Алибаева к десяти годам лишения свободы со строгой изоляцией. Но, приняв во внимание его прошлые боевые заслуги, сократил этот срок наполовину. Под удар высшей меры отдали семерых во главе с атаманом Нехорошевым. На суде развернулась чудовищная картина зверской расправы нехорошевского отряда с отступниками и целый ряд тайных страшных убийств. К семерке применили революционный закон во всей его прямоте: расстрел без права обжалования.

В тюрьме уже свободной стояла приготовленная смертникам камера, но все знали, что новые жильцы проживут в ней несколько часов, утра не дождутся.

Приговор был объявлен в дождливую весеннюю ночь, в два часа.

У здания суда и дальше на площади густо чернела толпа в сплошной темноте под дождем. Жадно ждали осужденных, хоть и невозможно было даже разглядеть

их. Выводнлн сначала под кольцевой охраной смертников, и на некотором расстоянье от них — остальных, приговоренных к заточенью, под конвоем менее страшиым. Сквозь дождевую завесу тускло мерцалн редкие и слабосильные фонари, освещая малые неясные пятна отдельиых лнц среди людского скопища. Невидимые голоса, прорывавшиеся отдельио восклнцанья, смех, чей-то надрывный плач — колыхались над площадью во тьме. В самой плотной черноте, в середине площади, вдруг произошла замннка. Раздалнсь громкие окрнкн:

— Раздайсь! Расходись! Освободить дорогу!

— Стой! Что такое?

— Товарищ Рудой!

— Наза-ад! Наза-ад!

— Стреля-ай!

В мокром воздухе один за другнм глухо захлопалн выстрелы. Налетела откуда-то конная охрана. Сквозь женские визги, шум н шлепающий паинческий топот бегущих очень снльный, увереииый мужской окрик.

— Все в порядке! Двигай дальше!

К охране, сопровождающей смертннков, подскакал всадинк.

— Что случилось?

Снизу, из тьмы, кто-то ответнл:

— Ничего. В темноте-то, которых сзади ведут, кучей, сбились, прибавили шагу и натолкнулись на передних. Нкчего, столпнлнсь, потолкалнсь. Все целы: семеро. Сосчнтай сам.

Ннкто не разобрал, что в толкотне Али-

баев с огромиой силой вышвыриул меж охраны в толпу иарода Егора Кудашева н сам пошел на его место. Шагали медлеиио и ровио семеро, как прежде.

В камере, на свету, когда конвой захлопнул дверь н тяжело стукиул засов, Нехорошев схватил за плечо Алибаева:

— Ты, черт...

— Молчи! Задушу!..

Не прошло н часу, за дверью послышалнсь осторожные шаги, заскрипел в замке неповоротливый большой ключ. Вошли люди с револьверами за поясом, с виитовками. Впереди высоколобый. Алибаев съежился, быстро повернулся спииой, ио высоколобый не только сразу его увидел, ио и все понял.

— Вместо кого? А? Нехорошев здесь? Кого иет?

Шестерых сиова заперли в камере. Алибаева вывели.

Высоколобый ие очеиь смело, глядя мимо Алибаева, спроснл:

— Это что еще за фокусы?

Алибаев злобно прикрикиул:

— Не твоего ума дело.

Но потом спокойио и негромко, точио самому себе, вслух пояснил:

— Ошибку вашу поправить хотел, еще раз иа добро было попыкнулся. Может, еще н удастся, может, вызволится. Пареиь эдакнй белому свету иужеи. А меия куда берегете — ие знаю.

Клавдя зиала. Оиа усиленно хлопотала, во все ходы проиикла, съездила в Москву и там сумела облегченья участн Алиба-

еву добиться. Последняя его выходка была прощена, потому что Кудашев не убежал.

Прошло только полтора года, и Клавочка высвободила Алнбаева. Старая Клавдиия тетка встретила их хлебом-солью у ворот. Входя в свой дом, Клавочка вздохиула всей грудью н сказала:

— Ну, вот, все хорошо. Я опять своему мужу жена н нашему дому хозяйка. Ох, надоело мне мотаться по судам.

Повернулась к Алибаеву н настоятельно сказала:

— Я надеюсь, Гриша, что ты теперь окончательно остепеннлся. Пора тебе честную старость себе добывать.

Как-то заехал к ним Савелий. За чаем, оглядывая одобрнтельным взглядом стол и располневшую румяную Клавдю, сказал Алибаеву:

— Не знай, за какое твое добро, Григорий Петрович, бог жену тебе такую послал. Без нее так бы н капут тебе. Дуром окочурнлся бы в какой-ннбудь передряге. А теперь глядн, в дому добра — на детей н на внуков хватнт. Сами оба налнвные, не укулупаешь. Седой ты, да седнна не в укор, коль детей еще печешь. Покрнкивает наследник-то, растет? Только не в тебя, а в мать задался.

Савелий знал, что дитя прнвозное. В город Клавдя выезжала нередко, да н Шурка, случалось, сюда завертывал. Еще когда Алнбаева выхлопатывала, сблнзилась с Шуркой. Знал об этом и Алнбаев. Но Клав-

дя ясно взглянула на Савелия и тепло улыбнулась.

— Растет. На отца непохожий лицом, не знай, какой характером удастся. С муженьком-то натерпелась я беды, не довелось бы еще и с сыночком.

Алибаев, навалившись грудью на стол, жадными пальцами тянул к себе кусок жирного пирога. Он равнодушно поглядел на Клавдю, на Савелия и, лениво ворочая языком, маловнятно отозвался:

— Какой-нибудь вырастет. Кричит только больно шибко.

Туго забив рот пирогом, выпучил глаза.

— Вот ведь как, Клавдия Тимофеевна, ты остепенила человека. Крик слышать стал. А раньше сам без крику часу не жил. Ну, знаешь, Григорий Петрович, я все тебе прощаю. Много ты мне страху задавал, все прощаю. А вот как вы с чекистами коня у меня угнали, этого не прощу. И сейчас, как вспомню, ругаться с тобой охота.

Алибаев сильно огрузнел. Память у него тоже будто жиром затянуло. Он искренно ответил:

— Какого же это коня? Я чего-то забыл про коня. Какой конь?

Он редко вспоминал отдельные случаи из прошлого. И вся его былая жизнь вспоминалась ему дремотно, будто в жарко натопленной комнате, разморенный теплом, он смутно улавливал ухом взвыванье далекой непогоды.

Клавдя взглянула на него и ласково посоветовала:

— Не бери третий кусок, опять под серд-

це задавит. Не жалко ведь, ешь на доброе здоровье, да ведь тебе же под сердце задавит. Ну-ка, возьми вот, утрись, щеки у тебя намаслились. Муж у меня неплохой человек, Савелий Максимович. Только надурил много. Пораньше бы ему оглянуться на себя да вот эдаким спокойным манером зажить, как сейчас. В партии состоял, не удержался,— жалко. Дельному человеку лучше всего, когда он партийный. В работе шире можно развернуться. Я бы и сама партийной работой занялась, кабы было на кого хозяйство оставить. Тетя уж очень постарела, только и может, что ребенка нянчить,— и на том спасибо, все помощь. Вы-то, я знаю, по старой закваске, партии опасаетесь.

— Будешь опасаться, как зятька такого, как Леонтий, наживешь. Бабе-то, конечно, все одно — с кем живет, в ту дугу и поет, но мне Аннушку жалко. Ни достатку основательного, ни почету. В прежнее-то время я бы ее не так устроил.

— Я тоже дивлюсь, Савелий Максимович, как люди не умеют устраиваться. Хоть бы для пользы дела сообразили. В городе я знаю одного — уважаемый партийный, вроде начетчика по разным собраньям выступает. А гляжу один раз — дерет на собранье на это пешедралом через весь город, чисто беспартийный какой. Лошади себе даже не исхлопочет. Вот и у нас сын комсомолец, то есть пасынок-то мой,— ну, да мы с ним дружно живем, все одно я его за родного сына считаю, и он меня больше Григория Петровича уважает,— так вот он тоже не-

разумный в этом деле. Это уж у него от Григория Петровича. Разговаривает он со мной, я ему ведь сочувствую, он любит со мной беседовать, а попросить его поддержку какую исхлопотать — нельзя. Сейчас зафордыбачит. А что же, так без поддержки и в кулаки недолго попасть. Вот тебе боевой партизан Алибаев, гроза на всю округу, а в кулаках засчитают за хозяйство. Ох, надо бы, Гриша, тебе заслуги-то боевые отчистить как-нибудь.

Алибаев, шумно сопя, поднялся, голосом искательным, неуверенным проговорил, глядя в сторону:

— А што, праздник ведь сегодня. Я пойду с теткой в подкидного дурака сыграю.

С недавнего времени он очень пристрастился к этой нехитрой карточкой игре. Так самозабвенно ей предавался, что Клавдя иногда не могла дождаться его по делу. Приходилось вместо него самой с работником в амбар ходить, овес лошадям отпускать. И Клавдя ласково, как всегда, но безотменно наложила запрет на «подкидные дураки» в будни.

Клавочка проводила взглядом тяжелую, широкую книзу фигуру Алибаева. Когда его шаркающий шаг перестал быть слышен, негромко сказала Савелию:

— Надо куда-нибудь его пристроить. Может быть, еще для какого-нибудь дела сгодится, а то эдак кровь застоится, не дай бог и удар хватит. Может быть, вот в потребительскую лавку. Работа общественная, тоже все-таки неплохо. Он же боевой партизан, все-таки этого у него уж совсем-то не

отияли. В городе ему легче устроиться, да жизнь там нетихая, беспокойиая все-таки. И хозяйства такого уж не разведешь. Здесь крестьяиствуем потихоиечку.

Летиим вечером Алибаев сидел иа приступке у входа в потребительскую лавку. Еще люди не вернулись с поля, тихо лежало село. Но вечерние длиииые, как в старости, тени уже вытягивались над землей. Поглядывая иа смирное небо с широкой спокойной полосой заката и пустынную дорогу, Алибаев радовался покою. Хорошо, что покупателей сегодня мало было. Он еще не прнвык отвешнвать, выдавать товар и получать деньги. Это занятье было ему иеприятио. Но что же — спорить с Клавдей, ругаться, очеиь уж это беспокойио. Да в лавке сидеть неплохо. Прохладно, и мух мало. Задремлешь — в рот ие набьются. А дома чуть приткнешься где — мухи и в рот, н в уши, и в нос. Грузеи очеиь стал. Как уснет, вспотеет, жир пот гоинт, мухи и облепят, как жирную падаль.

На дороге показался человек. Алибаев встревожеиио приподнял голову: не в лавку ли? Эх, хоть бы мимо. Человек прошел мимо, даже ие взгляиул. Но Алибаева вдруг что-то пробороздило по сердцу. Ои тяжело, с пыхтеиьем задышал. В движеиьях человека, в его легкой вериой походке была большая схожесть с Кудашевым. С холодком в груди н поясиевшим взглядом Алибаев подумал:

«Егор... иету его. А хорошо было заро-

дился человек! Только ие ииаче что была в ием другая кровь».

Из-за угла выбежал шустрый босоиогий мальчишка.

— Дядеиька, Григорь Петрович...

От распиравшей его жажды действия мальчишка ие смог обойти виимаиием лежавший иа дороге камешек. Подхватил его, лихо размахиулся рукой и пальиул в иебо, только потом закончил:

—...Хозяйка твоя чай пить велела домой идти. Да только скорей, самовар уж иа столе. А то, оиа говорит: ты иогами возишь-возишь, иикак не довезешь. Айда!

СОБСТВЕННОСТЬ

I

Кузнец Труиов пил горькую. Семья его бедствовала. Старшая дочь, красивая Лизавета, вышла замуж за иелюдимого, нехорошего лицом н телом, набожиого вдовца. Сожительство с ннм претило ей. Но была она сыта, одета, обута, защищеиа от злых соседей. Родиые и зиакомые считали ее жизиь счастьем. Мать хотела, чтоб и вторую, подрастающую дочь Клавдию миновали иищета и порок, чтобы устроилась она так же, как старшая.

В один апрельский вечер, за всеиощиой, усталая старая мать молилась об этом богу. Она устремляла искательиый взор иа икоиы, иа трепетиый огоиь свечей, иавстречу душистому кадильному дыму, вздыхала, простиралась ииц, часто крестилась боязливыми мелкими крестами. Близ иее сердито молилась увечиая жеищииа, зиамеиитая в городе белошвейка. От сухотки спииного мозга ей плохо служили иоги. Оиа то и дело присаживалась иа складиой ковровый стульчик у стеиы. Тогда страииый взгляд ее затумаиеииых глаз с иеравиомериыми зрачками бегал по толпе молящихся. Уииженное, суетливое молеиье старухи разжалобило ее. По выходе из церкви оии разговорнлись и по-

шлн рядом. Костнстая Трунова бережно поддержнвала под локоть ннзенькую рыхлую белошвейку. Рассказывая, она неловко взмахнвала левой рукой, будто подшнбленным сухнм крылом. Горестные двнжения заскорузлых, темных ее пальцев былн выразнтельней, чем слова. Белошвейка сочувственно прнговарнвала чудесным голосом, нежным, искреннnм, как у детей. Она обещала даром учнть, одевать н кормнть Клавдю с тем, чтобы, обучнвшнсь ремеслу, девушка отработала на хозяйку еще трн года за небольшое жалованье. Ознрая темнеющее небо с яркой каймой заката, белошвейканазндательно проговорила:

— И на небе н на земле создал бог прекрасную красоту. И людям была бы жнзнь прекрасная, еслн б достойны былн. Бог за всех, а мы уж друг за друга. Бумажку мы у нотарнуса заверим. Завтра прнходн. Мой домншко в Заречной тебе все покажут.

II

Проезжал освободнвшнйся катафалк. Траурные лошадн бежалн вольной рысцой. За колесннцей вздымалась позолоченная солнцем веселая пыль. Клавдя прностановнлась на перекрестке. Черный возннца крнкнул ей:

— Хороша девчонка, жалко — некогда!

Клавдя слов не разобрала, засмеялась в ответ на обрадованный взгляд. У ней было хорошо на душе. Утром чай пнла с молоком н с сахаром. На теле — чистая рубашка, от-

мытые ноги обуты, платьице, перешитое из старья, сидело ловко. Воспоминанье о том, что всего месяц назад она виновато шныряла меж людей босой, простоволосой, голодной, не омрачало ее сегодняшней радости. На ходу она потаенно пела, иногда беззвучно шевеля губами. В песню вплетались ее собственные мечтанья. Когда белошвейка станет ей платить за работу, она справит себе зеленую шерстяную юбку и две-три кофточки. Одну — розовую шелковую, как у Шурки гулящей. Этой кофточке завидовали все женщины на улице. Потом она купит матери валенки к зиме, а весной — крепкие ботинки. Так, мечтая, она откормила, одела всю несчастливую свою семью и пристроила себя. Она вышла замуж. Ее муж улыбался ей, как проехавший мимо приветливый похоронщик, но лицом и голосом походил на молоденького почтальона. Тот приносил зимой Труновым письмо с родины. Клавдя больше не видела его, но дважды он приснился ей. Один раз — будто смотрит на нее во все глаза, берет за руку и говорит: «Милка моя». Во втором сне он шел по странной цветущей дороге, оглядывался на Клавдю, кланялся ей, не то звал, не то прощался. Клавдя хотела побежать за ним, но не могла двинуть ногами, проснулась в слезах и весь день думала: «Не помер ли?» При воспоминании об этих снах сердце Клавди сжалось от светлого страданья, доступного только юности. Зрелому возрасту оно чуждо, старость знает, желает, но не может его ощутить.

Когда Клавдя пришла с покупками, бело-

швейка приметила ее душевное состояние. Оно не понравилось хозяйке. Ее жизнь была окутана горьким туманом болезни. И как в тумане всякая чуть выступившая тень кажется большой и недоброй, каждое юное смятенье казалось ей грехом. Будто разыскивая нечистоту, она брезгливо, издали оглядела девушку до ног и сказала звенящим голосом:

— Моль точит одежу, ржа — железо, девушку — улица. Я думала, ты скорей вернешься.

У девочки задрожали ресницы. Она побледнела, ответила, заикнувшись:

— В другой раз скорей схожу.

Испуг ее смягчил хозяйку. Но, когда Клавдя, босая, переодетая в заношенную рубашку с холщовой становиной, несла чистить во двор большой медный самовар, белошвейка еще раз оглядела злыми глазами ее тело. Клавдя втянула грудь в плечи, пошла сгорбившись. Ей было стыдно и горько, но она не оскорбилась. В узком проходе между глухой стеной дома и каменной кладовой помещалась тесовая будочка с высокой вытяжной трубой. Строеньице внутри было выскоблено, вымыто; закоулок, ведущий к нему, чисто выметен руками Клавди. Созданная ею самой, но не подобающая, как ей казалось, этому месту чистота вызвала в ней уважительное удивление. Сиреневый куст закрывал постройку. Под ним Клавдя чистила большой медный самовар и думала о том, что у хозяйки есть другой, томпаковый, его ставят, вероятно, только на пасху.

Однажды белошвейка открывала при ней окованный блестящей жестью сундук. В нем большие отрезы шерстяных и шелковых тканей, много сшитой ненадеванной одежды. В кухне помещалось обилие неупотребляемой утвари. Все ткани, вся излишняя посуда, дом, двор, чистая будочка для грязной нужды и благоуханная эта сирень, овощные гряды и прелестно цветущие две молодые яблони в другом конце двора — все это собственность белошвейки, Марьи Васильевны Клепиковой. Поэтому Марья Васильевна сильна, несмотря на увечье, всеми уважаема. С ней спорить нельзя, сердиться на нее бесполезно, надо ей угождать. Иначе хозяйка прогонит. Для Клавди навсегда захлопнется вход в этот мир, где за высоким забором растут чудесные деревья, существуют чистота и счастливые излишки. Тогда опять избенка без двора, близ кузницы, меж ними полянка с затоптанным гусиным щавелем, где по воскресеньям дерутся взлохмаченные хмельные мужики, в потемках крадутся озорные парни. Крадутся к дочерям кузнеца, чтоб обольстить или осилить, потом смеяться. Если ж во всем угодить Марье Васильевне, она поможет добиться хорошей судьбы.

III

Время было горячее, перед рождеством. Пожилая мастерица Ксенофонтовна не уходила домой ночевать. Спали в сутки часа три. На Клавде лежала также вся ежедневная работа и разноска законченных заказов.

Девушка сильио уставала, часто впадала в дремоту за иочиым шитьем. И оиа и Ксеиофоитовиа, чтобы прогиать сои, выбегали во двор умываться снегом; нюхали горчицу. Хозяйка страдала бессоииицей. Но в эту иочь оиа вдруг закрыла глаза, улыбиулась блажеииой улыбкой. Пальцы ее с иежиой осторожиостью задвигались по столу. Клавдя увидела, вскрикнула:

— Ой, что вы щупаете, Марья Васильевиа?

— Собираю их в решето,— счастливым голосом ответила увечиая и очиулась.

Ей присиилось, что под руками пушистые желтеиькие цыплята. Рассказав, оиа заплакала:

— Одолевает сои. Это у меия — к смерти.

С усилием приподияв грузиый зад, потяиулась оиа за горчицей. Движеиие было смешиое, ио лицо, мокрое от слез, иекрасивое, озарилось строгим светом самой страшиой человеческой мысли. Клавдя посмотрела иа иее и с бессозиательиым уважеиием потупилась. Работали в полиом молчаиии; потом хозяйка встала.

— Укладывайтесь, часика через три разбужу.

Клавдя охиула. Оиа забыла прииести постель. Марья Васильевиа рассердилась:

— Ты думаешь, я тебе должиа и постель стелить, и иос вытирать? Поработала бы, когда я была учеиицей, узиала бы!

Клавдя спала иа полу, иа войлочке, в спальие хозяйки. На деиь, чтоб не иарушилось годами утверждеиное благообразие двух малеиьких комиат и чистой кухии, ее

постель, скатанная в трубку, становилась в чулане, в сенях. Знмой необходнмо было прнносить ее заранее, чтоб согрелась. Виновато улыбаясь, Клавдя побежала за постелью в чулан. Стены его покрылись студеным пушистым налетом. Обхватив руками стоявший в углу войлок, девушка сразу озябла. А спать сильно хотелось. Глаза слнпались, ноги дрожали. Клавдя склоннлась к войлоку и заплакала. Увечная улеглась, вздремнула, проснулась, девушка все еще не возвращалась. Белошвейка, сердито дыша, поднялась, оделась потеплее н вышла с лампой в чулан. Прнжавшись к войлоку, Клавдя крепко спала стоя. В склоненной шее, во всех членах неловко согнутого, сладко уставшего молодого тела было столько жнвотной теплоты, что сердце Марьи Васильевны сжалось от умиленья и зависти. Белошвейка больше не заснула, но помощниц подняла на час позднее, чем собиралась. Увечная лежала в темноте. Она упорно смотрела в черный потолок, будто именно там нз прошлого, как болотные огни, вставали разрозненные видения. Наутро хозяйка замучила Клавдю неровностью в обращении. То была слишком ласкова, то до крайностн придирчива. Девушка на бегу глотала слезы, отвечала невпопад. До рождества оставалось пять дней. У белошвейки был обычай в этот срок раздавать подарки. Ксенофонтовне вручалась благородная матерня, шерстяная или полушерстяная, очередной ученице — снтец. Избранным беднякам ее церковного прнхода Клепнкова дарила старые вещи. Она рассуждала, что в

пять дней при желании можно сшить обнову к наступающему празднику.

Вечером пришел кривой сосед. Он чистил двор, возил Марье Васильевне воду и колол дрова. Кроме церковного причта, это был единственный мужчина, вхожий к белошвейке. Клавдя быстро пригладила волосы, выпрямилась над шитьем. Ксенофонтовна мельком на него взглянула, на хозяйку посмотрела оживившимися глазами. Клепикова благожелательно улыбнулась и пошла в спаленку. Собрав подарки водовозу и Ксенофонтовне, она задумалась над ситцем, приготовленным Клавде. Первым отблагодарил и откланялся, со стыдом и неловкостью, кривой сосед. Потом Ксенофонтовна поцеловала руку Марьи Васильевны, приложилась к ее щеке уважительно подтянутыми губами. Белошвейка отмахивалась от обоих и светло улыбалась. Дарить было приятно. С помолодевшим лицом она протянула материю Клавде.

— А тебе, птица, голубой шелковой сюры на кофточку. Юбку из моей перешьем.

Клавдя, как в прежние годы, поклонилась хозяйке в ноги быстрым земным поклоном, но глаза ее засияли счастьем. Руки, принимавшие подарок, дрожали. Увечная душевно растрогалась. Она за свой счет отдала срочно сшить модную обтяжную кофточку с пышными рукавами.

В сочельник старуха Трунова постилась до первой звезды. Теперь она с наслажденьем ела мягкий хлеб, запивая его водой. Хмельной кузнец необычно спокойно уснул на печи. Старуха отдыхала от радости насы-

щения. Нарушал тишину трудный храп кузнеца. Он был привычен для жены, она его не слышала. Все кругом казалось ей погруженным в блаженный отдых. Клавдя вбежала шумно. Мать содрогнулась, не сразу обрадовалась дочери. Потом старая и молодая долго рассматривали кофточку, щупали шелковистую ткань, переговаривались приглушенно, как бы воркуя. Проспавшийся кузнец долго прислушивался к их разговору. Он слез с печи, опухший, распущенный, красноглазый, хрипло сказал:

— Тряпичницы! Пускай гнилая кикимора замуж Кланьку выдаст.

И ушел, натянув полушубок лишь на один рукав. Неожиданный совет его показался дельным старухе. Она решила переговорить с благодетельницей-белошвейкой. Праздничные дни Клавдя проводила приятно. Отец загулял где-то в городе, дома не буянил. Вечерами Клавдя ходила со слободскими девушками, плясала на одной вечеринке. Она была одета хорошо, ее теперь звали в гости, парни не стеснялись заигрывать с ней. С вечеринки она вернулась на свету, но сразу не смогла уснуть.

Сердце стучало громко и часто. Девушку томило множество желаний. Они не укладывались ни в какие слова, сливались в одно ощущение, похожее на страх от предвкушения счастья.

IV

В крещенье ночью на пустыре, около своего жилища, замерз кузнец Трунов. Сумеречным утром нашла жена его скрю-

чениое чериое тело, запорошенное чистым сиегом. Буриое горе старухи удивило детей и соседей. Оиа рыдала, ползая по снегу иа коленях, долго целовала иечистое лицо пьяиицы, обнимала его, ие могла оторваться. Вместо положениого причитанья из ее груди вырывался отрывистый плач, похожий иа ропчущий клекот. С похорои вернулась она домой сразу одряхлевшая, безучастная ко всему окружающему. И после оживляла ее только забота о замужестве Клавди. О ием были последние слова кузиеца. Жеиа считала их заветом.

Избу Труиовых заколотили. Мать поселилась теперь в семье Лизаветы. Она помогала как умела, ияичила детей, ио зарабатывать стиркой уже ие могла. Спииа старухи сильио сгорбилась, ходила оиа с батожком. Зять ею тяготился. Со двора старуха уходила только в церковь шептать свои пугливые мольбы да к белошвейке поглядеть иа Клавдю. Марья Васильевиа была приветлива, жалела обессилевшую мать. Она охотно беседовала со старухой. Разговоры их состояли в том, что белошвейка говорила, Труиова с ией во всем соглашалась. Увечиая обстоятельио и подолгу жаловалась иа свое слабое здоровье. Поэтому и старуха, и все окружающие все больше убеждались, что хозяйка иедолго проживет.

У старой Труиовой была иа примете иебольшая дружиая семья, куда взяли б Клавдю за сыиа охотио, если б хозяйка помогла иа первое обзаведеиие. Старуха долго выбирала удобиое для разговора время, а

заговорила неожиданно и некстати. В нерабочний, празднчный день, в марте, когда сквозь вндимую хмурость веяло незрнмым весенним теплом, они вдвоем ходнли по двору. Хозяйка осматривала деревья н голые ягодные кусты. Вздыхая, она приговаривала:

— Расцветут и плод прниесут, а меия не будет. Для меия росли, а кому после однннокой достаиутся?

Старуха остановилась, взмахнув батожком, и придержала Марью Васильевну за рукав.

— Благодетельннца, золотая, многим обязаны. Выдай Клавдюшку от себя замуж...

Хозяйка не сразу поняла, в чем дело. Ей подумалось, что Клавде надо спешно прнкрыть девнчий грех, что где-то близко, может быть, сейчас за воротами, ждет выгоды распутный жених. Она закричала, размахивая руками:

— Все вы такие, все, все... Распутиые, корыстные, урвать бы только чего!..

Нежный ее голос в гневе становился пронзнтельно тонкнм. С криком, ковыляя иеверными иогами, оиа поспешио ушла в дом.

Поздио вечером за матерью к Лизавете прнбежала Клавдя. Белошвейка извещала, что умирает и просит старуху немедленио прийти проститься. Клепикова, правда, занемогла, даже пролежала три дня в постели, почти ие вставая, ио поправилась. Старая Трунова прислуживала ей у кровати. Увечная говорила о несчастливых супружествах, о многодетности, о нужде, о ие-

чистых нравах мужчин и хвалила Клавдю. Наконец она заявила:

— Если дочка твоя до моей смерти не выйдет замуж и сохранит себя в девичестве, оставлю ей свой дом со двором, со всем, что есть. Пускай послужит мне, как родная. Недолго придется служить.

V

Тихо болея, Клепикова прожила еще двадцать пять лет. С каждым годом она двигалась все меньше. Ее лицо становилось прозрачнее, тело грузнело. Уход за ней был тяжел. Клавдя не одну ночь плакала злыми, необлегчающими слезами. Девушка решала утром уйти на вольную работу и каждый раз оставалась. Она думала: «Уйду, а она умрет, и все мои годочки — прахом...»

Старуха Трунова умерла, не дождавшись. Наконец Клавдя почтительно, с богатой милостыней похоронила хозяйку. В августе тысяча девятьсот восемнадцатого года во владении домом утвердили Клавдию Максимовну Трунову. Ей шел сорок третий год. В слободке уже давно за ней утвердилось прозвище «Закопченная невеста». К сорока годам у нее сильно потемнело лицо, на лбу и около рта легли тонкие морщины, прямое тело чуть пригорбилось. Но в застенчивой улыбке отцветших губ, во взгляде, прямом и чистом, таилась молодившая стареющую девушку печальная детскость. Белошвейное дело у новой хозяйки пошло плохо. Клавдия Максимовна порой думала, что

люди перестали рассчитывать на долголетье. Все чаще на белье приносили батист вместо полотна. Дорогую, кропотливую, но прочную ручную вышивку вытесняли жидкие машинные узоры и дешевая мережка. Клавдия приспособила ножную машину и для вышиванья, и для мережки, но не нравилась ей эта работа. Она собралась выйти замуж и заняться домом, хозяйством. После полученья наследства присватывались женихи, приличные, пожилые вдовцы. Клавдии Максимовне были неприятны бородатые озабоченные лица, расчетливые движенья их немолодых рук. Безусый почтальон не старел в ее мечтах. Она отказывала. Однажды, отбирая старье для семьи Лизаветы, Клавдя вынула из сундука кофточку из голубой шелковой сюры. Ласково расправляя слежавшиеся пышные рукава, она задумалась. В доме вставляли зимние рамы. Племянница Клавдии Максимовны протирала стекла и негромким, мирным голосом пела новую песню:

Бей буржуазию, товарищи, ура!

Очень ясный свет осеннего солнца заливал девочку и полосатую кошку на стуле.

Клавдия Максимовна окликнула:

— Полюшка, погляди, вот эту мне первую справили...

Девочка оглянулась, откидывая тыльной стороной ладони спустившиеся волосы, и засмеялась:

— Какие старые моды были смешные... Мурка, и чего ты все спишь? Ах ты, ах ты, ах ты!..

Она подхватила кошку, потискала ее, нежно повизгивая, на мгновенье загляделась в окно, увидела, как в прозрачном воздухе кружатся ржавые листья, и подхватила с полу таз:

— Пойду воду сменю...

Полюшка пошла к двери, шаля на ходу длинными ногами, высоко ими взбрыкивая, как бы приплясывая. Она качала головой в такт беззвучной музыке, играющей в ней самой, улыбалась глупой, милой улыбкой. Клавдия Максимовна с неприязнью оглядела чуть сложившееся девичье тело и закричала:

— Шешнадцатый год, а кривится, как маленькая! Уходи с глаз моих долой, дура, растрепа!..

Она сильно хлопнула крышкой сундука. Чтоб ее умилостивить, пришла ночевать сестра Лизавета. Лежа рядом на кровати, они долго разговаривали. Клавде хотелось вспомнить молодость. Но Лизавета свою забыла. Она вспоминала только боль и радость, доставленные детьми, выпрашивала у Клавди для семьи подарки. Клавдя вдруг почувствовала, что и у самой у ней мало воспоминаний, вслух и рассказать нечего. Она перестала слушать сестру, думая о своей жизни. За радость, за ласку никто уж ее не возьмет, сватаются из-за дома. И какой-нибудь седой вдовец, если он хороший человек, ставши мужем, будет лишь добр к ней. Тело у нее худое и усталое, к непогоде ноют кости, волосы седеют и сильно падают. Клавдя заплакала. Чтобы скрыть всхлипыванья, она сердито сморкалась и кашляла.

Но Лнзавета ничего не слышала. Оиа заснула виезапио крепко, как засыпают детн и счастлнвые старики.

О замужестве вскоре прекратились всякие разговоры. Человеческая жизнь вокруг стала такой же путаиой и иепрочной, как машинная вышнвка. Собствеиный дом Клавдии Максимовны уже мало кого привлекал. По совету зятя, оиа спешно продала его первому покупателю за иовые тысячи. Уходить со двора ей было тяжело. Оиа долго простояла у ворот, сгорбившись и утирая слезы. Но вечером у Лизаветы, обнльно и льстиво угощавшей богатую сестру, Клавдня Максимовиа развеселилась. Оиа пригубила лишнее из стаканчика самогоики. На темных щеках выступнл пот и разлился пятиамн иемолодой, иекрасивый румянец. Коротенько, визгливо посмеиваясь, оиа тягуче говорила:

— Бог с иими, с домами да садами, не иа радость онн нынче. Пока поживу с вами, за кусок заплатить хватнт. А потом, говорят, по иовым правилам, заставляют кормнть одииоких стариков. А? Вот Петеиьку заставят, он тетку прокормит. А?

Семнадцатилетиий Петя, рассыльиый в суде, гордясь зианьем законов, стал обстоятельно объяснять:

— Виднте, во-первых, мы обязаны кормить родившую иас мать...

Клавдия Максимовиа иизко склоиила голову с потускиевшимн редеющнми волосамн, уронила меж колен горестно сплетенные руки, заплакала, повторяя нетрезво:

— Родившую мать!..

ТАНЯ

I

Таню обидел отчим. Девочка его любила. Всякая размолвка с ним отягощала ее недетской, сокровенной печалью. Сегодня, как всегда, они вдвоем пили ранний утренний чай. Александр Андреевич сумрачный пришел к столу. Таня этого не заметила, потому что она встала весело. Спеша есть, двигаться, говорить, она сбивчиво рассказывала события вчерашнего дня и свои утренние мысли:

— Ленин — основоположник марксизма.

Александр Андреевич прервал ее:

— Прежде чем сказать, люди думают. А ты?

Бывали случаи, когда он грубей обрывал Таню, но сегодня она учуяла в его тоне особое, неопровержимое презренье к себе, невыросшей, несамостоятельной. У нее от обиды захватило дух. Заносчиво, но неверным голосом девочка ответила:

— Я всегда говорю вещи, в которые я убеждена.

Александр Андреевич сердито передвинул стакан и, вставая, уронил стул:

— В которых, а не в которые. Нет у тебя убеждений, потому что нет знаний. И говоришь ты черт знает каким языком!

Он ушел, не простнвшись. В комнате, кроме нее, никого уже не было, но Таия запрокинула голову через спнику стула, чтобы слезы ие выкатилнсь из глаз. Как же у нее иет убеждеиий, когда она пиоиерка? Еслн бы ему, партнйцу, кто-нибудь такую вещь сказал, ои бы небось озверел!

По дороге в школу Таня не отмечала нн улиц, ии людей. Ногн шли, глаза смотрели, тело привычно уклонялось от трамваев, извозчнков, автомобнлей, но мысль ее была поглощеиа обидой. Девочка думала со стесненным сердцем:

«Если взрослые так будут, то в конце концов можно н умереть... Глотиуть чегоннбудь н вообще взять да умереть. Нет, не «взять», а просто умереть. Еслн «взять», то есть самоубнйство, то, конечно, скажут, ннкаких убежденнй. Есеннщина, скажут, заела... «Не такой уж горький я пропойца, чтоб, тебя не видя, умереть»,— мысленно пропела Таня.

У нее защнпало в горле, и слез проглотнть уже не удалось. Онн орослнли щекн. Таня, всхлнпнув, стерла нх перчаткой, но онн набегалн снова н снова.

«Ну, «Пнсьмо к матерн»— вообще упадннческое... Не прнзнаю. А все-такн здорово трогательно. Как это? «Мр-а-а-ке часто вндится одно н то ж...» Да, умру, так пожалеют. Вот я умерла нормально, от скарлатнны... Папа стонт у гроба... Нет, еслн нормально, то не все пожалеют. А вот умрн я на посту... Вот случилось нападенне на Москву...»

Глаза у Таин высохли, щеки разгорелнсь.

Оиа придумывала и переживала различные возможностн доблестной смерти за СССР, за революцню. Перед ней ясно вставали подробности замечательных похорон:

«...даже вожди у моего гроба в почетиом карауле. Из нашей школы все будут рассказывать: «У нас оиа училась, у иас».

Но когда в представлеинн встала долговечная урна с ее собствеиным, Таиииым, прахом в час, когда все живые ушли от нее, Тане очень захотелось жить.

«Можно идейно пострадать, ио не до смертн. Даже пускай ранят, но не до смерти. Вот, предположнм, я в тюрьме, в капиталнстической страие. Да, я в Америке, агитирую... Да, побег был нсключительио смелый...»

Когда Таня входила в школу, она в воображеини прожила ие одну прекрасиую, героическую жизнь. Все эти жизии были схожи в основном. Каждая из них уходила иа победоиосное страданье за утверждение Таниного мира. Таннн мнр был определеи. Он в совершенстве четко делился всего иа два лагеря: своих и чужих. Свон — те, с кем выросла Тaия. Чужне, никогда еще не обнаруженные в личном Таниом существовании, но общеизвестные врагн «своих» — капнталисты Европы и Америки, вреднтели в СССР. Для нее, как в старых убедительиых трагедиях, «свои» были без едииого изъяна, всегда во всем правы, враг жесток в чернейшей, без просвета, неправде. И пережнтые девочкой в мечтанье любовь н неиависть были подлинны. Победа любвн потрясла ее душу восторгом. Отсветы ее лег-

ли на существующий повседневный мир. Они сделали его счастливей, добрей. Вот хотя бы Ким. Он вовсе не закоренелый бузотер и грубиян. Он страдал, раскаивался в Таниных мечтах, когда ее мучили в американской тюрьме. Он сознавался с настоящей большевистской самокритикой:

«Недооценивал я, товарищи, Таню Русанову».

Поэтому Таня сегодня подошла к нему сама и заговорила с ним таким пленительным тоненьким голосом, что Ким отверг разговор:

— Ах, не влюбляй меня навеки, покрасивей найдем!

Таня багрово покраснела, но в перебранку не вступила. Она только мстительно подумала:

«Горько тебе будет. Очень горько!»

Весь школьный день девочка была с товарищами уступчива, на уроках прилежна. Но в конце дня с ней снова приключилась неприятность. Собственно, никакой неприятности не было. Все понимают, что Таня ответила правильно, а все-таки... В школе побывала сегодня Надежда Константиновна. Вышло, что у входа она поговорила с Таней, а на прощанье протянула ей руку. Девочка ответила как надо:

— В нашей организации мы руки не подаем.

Лицо Надежды Константиновны посветлело от хорошего смеха, но в глазах как будто мелькнуло смущенье. Так показалось Тане. Это ее расстроило. Она размышляла:

«Надо было руку пожать. Не из подха-

лимажа, а из уважения. Нет, не надо. Она понимает, что у нас в организации не зря выдумывают».

Но чем больше Таня убеждала себя, что поступила правильно, тем смутней становилось ее душевное состояние. На обратном пути домой она тягуче говорила Игорю Серебрякову:

— Мне уже двенадцать лет, а я все не решила, кем я буду. Как ты думаешь, кем я буду?

— А я откуда знаю? Вот я буду летчиком или моряком. Море или небо, без никаких!

— А я ни на чем еще не остановилась. В прошлом году я хотела быть киноактрисой. Очень заманчиво! Ну, а потом решила — это занятье несущественное. У них там какие-то кулисы да закулисы, вообще что-то, интриги. А я еще не знаю, есть ли у меня талант. Вообще мне многие занятия не нравятся. Вот, например, зубным врачом — ни за что. Всю жизнь смотреть в чужие, дурно пахнущие рты!

— Да-а, невесело. Когда зубы болят, все воют. Я один раз так взвыл, что зубодерка убежала.

— Конечно, и зубные и другие врачи — очень полезные люди, но об себе тоже надо подумать. Я думаю, Игорь, все-таки я буду горным инженером.

— Горняком? Валяй. Одобряю.

— А все-таки я еще сомневаюсь.

— А ты собиралась еще композитором.

— Ну его, нет! У меня мама — композитор...

— Ну что ж, у нее, кажется, позиция правильная.

— А что с того? Она свой человек, хоть и беспартийщина. Но все невеселая да невеселая. Со своими никогда не смеется. Нет, я маму люблю, но жить с ней — спасибо, не надо. Она хорошо придумала, что за третьего замуж вышла.

— Уж за третьего?

— А как же? Первый муж — мой отец. Ну, мама его чего-то отшила, записала меня на себя, я его не знаю. Второй — Александр Андреевич, мой теперешний отец. Ты знаешь, он очень доволен, что я его сама выбрала. Когда мама уходила, я кричала, плакала, что не уйду. Он и Соня меня усыновили, оттого я Русанова, а мамина же фамилия — Балк. Только у нас бывают с ним разногласия.

Таня глубоко вздохнула и неожиданно для себя рассказала Игорю утреннюю сцену. Рассказав, рассердилась на себя за это, покраснела и нахмурилась. Игорь оживленно подхватил:

— Удивительно наши предки любят придираться к словам. Впопыхах что-нибудь неясно скажешь, пойдут разутюживать. На меня отец взъелся, когда мы из лагеря вернулись. Я прекрасно вел работу в деревне. Ну, докладываю отцу, матери: «Я три колхоза организовал». Он, говорит: «Ты организовал?» И начал меня унижать.

— Игорь, ты «Отцы и дети» читал?

— Чье сочиненье? А, да, этого, как его... Нет еще.

— Я тоже еще нет. Соня с чего-то советует проработать...

— Наверно, сама недавно прочитала. Им как что понравится, сейчас и мы прорабатывай.

— Там как будто дело в том, что Базаров — марксист, а родители его — наоборот. А после плачут на могилке.

— Расстраиваться они умеют и без могилки. Особенно матеря. Слушай-ка, ты вот что,— прочитай «Войну и мир». Художественное сочинение. Я летом читал. Только несколько длинно. И охота узнать, что дальше, и прямо устаешь. Замучился, но прочитал. Интересно.

— Игорь, а я иногда страницы пропускаю.

Игорь поправил на голове шапку, отвел глаза в сторону:

— Я тоже кое-что несущественное промахнул, а вообще — нет,— не следует. Я не пропускаю. Ну, пока.

— А ты мне обещал по математике объяснить.

— Я к тебе вечерком загляну. Вообще не расстраивайся.

Игорь свернул в боковую улицу. Зажигались огни. Они возникали четко, будто являлись на дозор, следить, куда уходит отслуживший день. Воздух — во власти ни света, ни темноты, а странного их соединенья — казался зыбким. Громкое дыханье машин, везущих людей или многообразную для них кладь, истеричное, всегда неожиданное взваниванье трамваев, отдаленное зычное оханье паровозов, заводские гудки,

неизмеримо слабый в сравнении с ними, но повсеместный, непрерывный человеческий голос — весь этот слитый шум большого города стлался далеко и гулко окрест, как запуганный рев сильного чудовища. В утробе города в эти сумеречные часы самодовлеюще жили только маленькие дети и необрачившиеся влюбленные. Люди другой поры, подвластной воспоминаньям, испытывали тоскливое чувство разобщенности с миром. Отчетливо ложились перед ними грани своей, отдельной человеческой судьбы. И Таня показалась себе самой всеми забытой, утомленной. Девочка плелась, пришаркивая на ходу подошвами. На крышах лежал некрасивый снег. Встречные тоже не нравились Тане.

II

Дверь Тане открыл Александр Андреевич. У него было измученное лицо. Тане он улыбнулся устало. Но все же улыбнулся. Значит, забыл и «основоположника», и все другие ошибки. Милый отец! Таня подпрыгнула и крепко обняла его за шею.

— Ну-ну, хорошо! Что ты так поздно?

— У нас была Надежда Константиновна... По нашему советскому обычаю, пошли сниматься.

В дверях столовой показалась Соня:

— Иди, иди! Есть хочу, обедаем.

— Все вместе сегодня? Вот роскошное житье!

Семья собиралась за столом не часто. У каждого был свой труд, свои заседания,

друзья и встречи. Соня уходила на работу раньше всех. Бывали дни, когда Таня совсем не видела ее. Может быть, поэтому девочка жила с молоденькой мачехой в большом согласье. Но чувство любви к ней было совсем иным, чем к отчиму. Если б тоненькая Соня, с ее милым лицом, простой, неяркой шутливостью, с ее неуменьем долго страдать или сердиться, вдруг исчезла из Таниной жизни, девочка горевала бы сильно. Утрату Сони она перенесла бы труднее, чем исчезновенье из совместной жизни родной матери. И все же горе не было бы столь глубоко, не образовало бы такой всю жизнь ощутимой недостачи, как при утрате Александра Андреевича. Сама Таня об этом никогда не думала. Александр Андреевич вдруг понял это сейчас, встретив доверчивый сияющий взгляд дочери.

— Папа, что такое «грех»?

Он машинально переспросил:

— Грех? Разве ты не знаешь?

И вдруг осознал всю значительность этого незнанья. Таня выросла без религии, как и без родителей по плоти. Она совсем новый человек в новой стране.

— Разве в книжках ты не читала?

— Я как-то не замечала в них такого слова. А сегодня Ника говорит: грех тебе будет.

Подыскивая выраженья, Александр Андреевич не очень ясно объяснил:

— Грех — понятие религиозное. По установкам нашей морали, грех — это преступленье перед революцией, перед классом.

— Эта Ника — просто злая дрянь!

Тварь я буду, если мне когда-нибудь можно будет сказать: грех тебе.

Соня сморщила маленький чистый лоб.

— Таня, выбирай выраженья...

Александр Андреевич перестал слышать их разговор. Он думал:

«Мы совершили не только физическую и экономическую революцию. Мы совершили уже психологическую. Этих детей трудно возвратить в мир капиталистических понятий». Он подумал и о том, что в его привязанности к девочке была доля самопохвалы, высокая оценка способности любить чужого ребенка как своего собственного. Вот именно этого понятья «собственный» для девочки не существовало никогда. Она не знала не только собственных домов, она не знала даже долголетних квартир. Она не знала времени, когда семья, свой род служил противопоставленьем чужому. Она не знала, что такое кровные узы. Она многого не знала, что считалось естественным или неестественным еще так недавно. Но чувствует она совершенно естественно и цельно. Этот человек охранял мое детство, воспитывает, учит, живет со мной, я его люблю,— он мой отец. Тем труднее будет ей объяснить, что если он и ошибся, то не враг он ей. Большая область старого бытия, отложившего на нем свой пленительный и злой груз, ей непонятна. Как всякий совершенно новый человек, она мыслит прямолинейно. И вообще, черт знает, как трудно теперь с детьми! Присущий всему молодому эгоцентризм, конечно, действителен и для них, как был присущ самому Александру Андре-

евичу в отрочестве и юности. Но они его как-то сочетают с непререкаемым авторитетом родителей и учителей. Да, если эти родители и учителя — их единомышленники. Таня в некоторых отношениях — ребячливая двенадцатилетняя девочка прошлого. Но именно во внутренних своих установках она устойчива не по-детски. Чувство ответственности перед коллективом у них велико. Пресловутое чувство локтя! Раньше дети были другими несомненно. Ему тяжело оскорбить ее любовь к нему не только потому, что привык он к этой любви. Ему тяжело оскорбить в ней именно этого нового человека. Александр Андреевич отодвинул тарелку и закурил. Соня укоризненно потянула его за рукав.

— Что это ты? Почему не ешь?

— Не хочу, дайте чаю. Голова болит.

Жена просительно улыбнулась:

— Если можно, вызови машину, прокатимся на часок за город. Тебе надо освежиться.

Александр Андреевич нахмурился, скулы его чуть порозовели. Он подумал со страшным злорадством:

«Вот завтра вам покажут машину!»

Но вслух он сдержанно сказал:

— Не могу. Я буду работать. А Сычева не пускайте ко мне, если придет.

Таня покачала головой:

— Да, его не пустишь! Он упрямый, как наш Кимка Шмидт. Папа, ведь Второй съезд РСДРП состоялся в Лондоне, в тысяча девятьсот третьем году! А Кимка засыпался, в тысяча девятьсот втором, из самолюбья так на своем и стоит.

— А ты вот из самолюбья хвастаешься шпаргалочиымн сведеиьямн. Ведь истории прошлого совсем ие знаешь. Ну-ка, скажи, про крепостное право ты что-ннбудь знаешь?

— Знаю. Это когда Петр Велнкнй...

Александр Андреевнч усмехнулся:

— Из всего прошлого ты, кажется, про Петра Велнкого только слышала.

Таня покачала головой:

— Как не так!.. А еще Николай, которого мы свергли. Еще какие-то были... крестьянам волю без землн. Нет, вообще, папа, я неплохо учусь. Но, коиечио, про всех про Нни колаев да Людовнков устанешь чнтать. Нам иужио партитурное чтенье. Так нам сказал...

Соня засмеялась. Александр Аидреевнч ласково смазал Таию рукой по лнцу:

— Глупа ты еще, девнца! Партнтурное.

И, как будто в Таннных смутных знаниях по нсторни танлось для него какое-то облегченье, ои взглянул на девочку светлей. Он встал, чтобы уйти, ио иевольио задержался. Сегодия он боялся однночества. Домашняя работница, Елена Мнхеевна, прннесла чай. Соня услужливо освободила коиец стола. Она всегда иемного робела перед этой сухощавой светло-русой женщнной с темнымн, горячнмн глазами. А Таия ее не любнла. Она переноснла прнсутствне Елены Мнхеевны, как нензбежиую непогоду. Поворчнт да скроется. И Елена Мнхеевна враждовала с Таией. Она ннкак не могла сердцем прннять, что «чужеродное днтя» заннмает столь большое место в семье. Но недружелюбье свое

начала проявлять открыто недавно, после одного горячего спора с девочкой о боге. Тогда Александр Андреевич недовольно посоветовал дочерн:

— Ну ты, воинствующая безбожннца, учнсь подходнть к людям...

В нх быту н еда, н чнстота, н целость одежды зависелн от большой старательной работы Елеиы Михеевны. Александр Андреевнч говорнл, что, еслн она их покиеет, им остается одно: переселнться в асфальтовый котел, на нждивенье к беспрнзорннкам. И Елеиа Михеевиа цеиила его бережное отношенне к себе. Оиа увидела, что сегодня он чем-то огорчен, устал, чувствует себя больным. Подавая ему стакан крепкого горячего чая, как он любнл, Елена Мнхеевна ласково сообщнла:

— Сычев приходнл, я в комиаты не допустнла. Вам отдохиуть надо. Я сказала: «Хозяев нет, н не пущу».

Таия враждебио, хотя стараясь выговаривать не особенно внятно, проговорнла:

— «Не допустила» «хозяев». Скоро у нас будет, как в «Крокоднле» напечатано: «Барнн на ячейку ушлн».

Щеки у Елены Мнхеевны вспыхнули:

— Меня, Танечка, переучивать поздно. Я старый человек. И довольно некраснво с вашей стороны.

Таня постаралась смолчать, но, встретнв сухой взгляд нелюбнмых глаз, не смогла:

— И старой вы себя не считаете. Как собнраетесь куда, так сколько времени перед зеркалом... Потом н старее люди есть, а бога нм не надо.

Соня с упреком спросила:

— Таня, это что такое?

Александр Андреевич крикнул сердито:

— Замолчи сейчас же!

Елена Михеевна шумно собрала со стола грязные тарелки. В глазах у нее выступили слезы, голос пресекался:

— Они еще жизни не знают. Попрекают меня, что не могу от веры в бога отказаться. Ну, не могу и не могу! Их еще на свете не было, когда мне, кроме бога, некому было пожаловаться. Я за Советскую власть хоть на смерть пойду, а вот бога не могу отринцать... Они думают, что если я кухарка...

— Да разве я про это говорю? Я про вашего бога. Про кухарку Ленин сказал...

— Ленин всякого трудящегося человека уважал, а вы на готовенькое пришли, а домашних работниц считаете все равно что грязь...

— Неправда! Неправда же!

— Таня!

Александр Андреевич выговорил устало:

— Елена Михеевна, успокойтесь. Все это пустяки.

— Для меня не пустяки. Хоть и бог для меня — не пустяки, но и Советская власть не пустяки! Я при этой власти вторую ступень на курсах кончаю, а прежде...

— А я про что говорю? Вы теперь больше меня, может быть, прошли, а все богу молитесь...

— Я не знаю, что вы в школе прошли, а дома трудящихся презираете. Я вас просила на пол карандаши не очинять и бумажки не раскидывать...

— Да я подберу, сама подмету! Я сама себе все должна... Елена Михеевна! Ну, если я за ней побегу, она еще больше запсихует.

Александр Андреевич удержал ее за плечо:

— Ладно, сиди. Откуда, действительно, у тебя такой тон? А?

Соня неожиданно улыбнулась.

— Уж очень ты ее зеркалом обидела. И, главное, зря. Она не кокетка. Недавно представлялся случай выйти замуж, никак не хочет. Терпеть не может мужчин!

Таня упрямо покачала головой:

— Лучше бы она бога не терпела, а завела себе пятерых мужьев. От мужьев только ей забота, а от бога кругом — предрассудки.

Соня уже не сдержала звонкого смеха:

— Пятерых! Таня!

Сумрачно усмехнулся и Александр Андреевич, но девочка, глотая слезы, поперхнулась. Подняв на отчима блестящий от слез, но твердый взгляд, она сказала:

— У меня, может быть, грипп. Что-то глаза слезятся. И вообще весь день неудачный.

Таня быстро выбежала из комнаты. Соня пошла за ней. Александр Андреевич забарабанил пальцами по столу. Какие неудачные дни еще ждут бедную девочку! Он вспомнил первую встречу с ребенком. Тане шел от роду третий год. С ее матерью, Натальей Сергеевной, тогда его женой, он в первый раз пришел к ним на квартиру. Электричество было испорчено. Комнату освещал слабый свет оплывшей свечи, воткнутой в бутылку. Нянька готовила в кухне чай. Девочка сидела в

большом кресле одна. Большими безбоязнеиными глазами оиа следила за темными тенями в глубиие комиаты. Ее часто оставляли одну, и оиа привыкла ие бояться нн темноты, ни тишнны. Мать взяла ее на руки, осыпала горячими виноватымн поцелуями и подиесла к Алексаидру Андреевичу:

— Вот твой отец.

Девочка покачала иепричесаииой головкой и заявнла степеино:

— У меия отца нет.

Наталья Сергеевиа засмеялась н всхлнпнула, сиова прииялась ее целовать.

— Не было! А теперь есть! Мы будем жить втроем, жить очеиь, очеиь хорошо!

В дверь постучали. Прншел моитер. Мать опустнла девочку на пол и заговорила с иим. Вдруг Таия дериула ее за платье. Наталья Сергеевиа иаклоиилась к ней:

— Что, детка, что?

Ребенок спроснл спокойио и громко, указывая иа моитера:

— Мама, это тоже отец?

Очевидио, ей казалось естественииым, что из иеобычиой сегодияшней темиоты должиы являться иеведомые отцы. Александр Аидреевич посадил ее к себе на колеии. Оиа долго внимательно смотрела ему в рот, когда ои говорил с ней. Потом девочка потрогала своим пальчиком его губы н спросила:

— А где ты был, когда тебя ие было?

При этом воспомииании сердце Алексаидра Андреевнча сжалось от иежиости и тоски. Ои сам ие понял, что сказал в ответ вошедшей Соие.

III

Прошла неделя. Пионеры писали письмо Максиму Горькому. Как во всех ответственных письменных выступлениях организации, руководил Игорь Серебряков. Широко расставив руки, он почти лежал на столе. Правая щека у него была запачкана чернилами. Левой рукой он разглаживал наморщенный потный лоб. Долго стоял спор о том, как обращаться к Алексею Максимовичу: на «ты» или на «вы». Игорь убеждал:

— Он для нас все равно партиец. А потом, даже у буржуазного поэта пустое «вы», а сердечное «ты».

Из-за спины Игоря тоненьким рассудительным голоском Леонтина Кочергина поправила его:

— Так это же романс, он еще обидится.

Игорь с сердцем отодвинул ее локтем:

— Не дыши в ухо, романс! Зачем вчера кудри завила?

Темноволосая девушка, из-за стройности казавшаяся выше своего среднего роста, строго придержала его за локоть:

— Что за грубости в пионерской среде, Игорь?

— Ничего не грубости, а дайте же посоветоваться! Если на «вы», то как же выйдет: «Мы вас любим, потому что верим...» Гораздо тверже выходит: «Мы тебя любим, потому что верим тебе целиком и полностью».

Таня громко крикнула:

— Нет, нет! Слишком интеллигентски: любим, верим. Может, лучше выйдет: «Мы прислушиваемся к каждому твоему слову...»

Игорь сердито пробормотал:

— Что тут прислушиваться, уж зря не скажет!

Ким ядовито спросил:

— А ты разве его не любишь?

Таня, зардевшись сердитым румянцем, встала со своего места и подошла к мальчикам. Она не любит самого большого пролетарского писателя, своего писателя!

— Как ты смеешь меня оскорблять?

Ким не был по натуре злым, но ему доставляло удовольствие дразнить Таню. Она, во всем искренняя, сердилась горячо. Сейчас он и не подумал о том, какую боль он причинит девочке.

Он потянул ее за платье и сказал насмешливо и громко:

— Ничего удивительного! У тебя с папочкой, кажется, другие вкусы.

Чувствуя, что над ней сбывается какое-то несчастье, Таня испугалась этого внезапного напоминанья о «папочке». Пожалуй, в первый раз за свою сознательную жизнь она не решилась потребовать объяснения. Она стояла около Игоря, постепенно бледнея и не зная, что ей делать. Та же высокенькая, темноволосая девушка Лиза, что запретила Игорю грубить Леонтине, подошла к Тане. Она стала перед ней почти вплотную, как бы желая закрыть ее от глаз детей.

— Товарищи, Таня Русанова — наш ничем не опороченный товарищ. Она сама сделает нужные выводы. Она сама сообщит нам о деле своего отца. Ким, травить отцом не только преждевременно, а вообще...

Таня переспросила почти беззвучно:

— Травить *моим* отцом?

Девушка повернула ее за плечи, сердито шепча:

— Ты не читала сегодня «Правды»?

Хрупкая, оттого сладчайшая, надежда на короткое время облегчила сердце Тани: «Ребята берут меня на пушку, чтоб я ежедневно газеты читала». Проходя около Кима, она даже сказала ему неуверенно задорным голоском:

— А ты знаешь, отчасти ты дурак.

— То есть как же это?

— Вообще.

Вспомнив об этом, теперь она еще ниже опустила голову. Игорь хмуро подал ей «Правду». Они заперлись в маленькой комнате, где обычно работала редакция школьной газеты. Их было пятеро. Пионервожатая Лиза, Игорь, Таня и братья Крицкие, очень похожие друг на друга близнецы, оба активисты. Игорь увидел, что Таня от волненья плохо разбирает строки. Он почему-то пониженным голосом рассказал ей содержание:

— В ущерб государственным интересам он стремился сохранить свое хозяйство. Ну, понятно, не свое личное! Совхозы своего треста. Вообще, я полагаю, трестовиков надо почаще проверять. Работа такая... хозяйственная. Ну, понятно, не растратчик он! Личная корыстная заинтересованность не отмечается в постановлении. Но, видишь, он оставил в совхозах скрытый хлеб. На прокорм для своего трестовского совхозного скота. А государство? Понимаешь, тут вся-

кие могут быть мотнвы! Вообще, поннмаешь, явный оппортуннст.

Внешне Таня казалась спокойной. Рукн ее сразу перестaлн дрожать. Серые глаза смотрелн в лнца товарнщей сурово н прямо. Только сквозь тонкую кожу лнца не вндно стало нн кровннки, побелели н губы. Но ей казалось, что она дрожит, так беспокойио прнлнвала к сердцу кровь. Все волиовавшне девочку разнообразные чувства в мыслях вылнвалнсь в одно:

«Уцелеет нли не уцелеет?»

И нн на одно мгновенье, нн в каком темном ннстннкте нн разу не сказалась эта мысль как боязнь за служебное положенне отца нлн страх грозящей матернальной необеспеченности. Таня естественным счнтала, что ее, невзрослую, кормят и одевают. Она была убеждеиа, что всегда иакормят н оденут. Начальннческне н неначальнические ранги для нее были равиы. Алексаидр Аидреевнч с малолетства не позволял ей пользоваться его общественнымн пренмуществамн. Ои доходил в этом до мелочности. Девочку, как н жену его, ннкогда н ннкуда не вознлн на его трестовской машиие. Лишь нногда, когда он слишком уставал н на какой-ннбудь час ездил сам за город, он брал нх с собой. Однажды Таня попроснла у него для школы из треста фанеры. Отец снльно рассерднлся:

— Не разыгрывай нз себя ответственной дочерн! Таким путем твоя школа от меия ннкогда ннчего не получит.

В этом сказывалась н показная строгость к себе как к начальиику. Но для Танн та-

кие правила былн благотворны. Она знала, что не все жнвут хорошо в бытовом отношеиии. Но, не нспытав иужды, не думала о ией и ие боялась даже ее. Свое «уцелеет» она относнла лишь к одному: «Оставят лн отца членом партнн». Большее чнсло часов своей жизии девочка проводнла в коллектнве. И семья нх не была замкиутой в тесном мире личного сообщества. Беспартнйный представлялся ей каким-то хилым еднноличииком в общественной жизин. Как же отец, папа, стаиет таким? Не может быть, не бывает! Нет, нет, не будет так! Разве это можно? Вообще все пронсходнло как во сие. И дома, н улнцы, н дверь в квартнру, такая зиакомая, показалнсь ей иереальиымн. Молодое, свежее сердце отказывалось верить тоске. Впустив Таню, Елеиа Мнхеевна укоризиеиио сказала ей:

— Что это у вас чулкн спустилнсь, как у теткн? Подтяинте.

Ворчливое замечаине Елены Мнхеевны, столь привычное в ее обращеннн с девочкой, вызвало у Танн впервые в жнзнн тоску о прошедшем. Даже малопрнятиое показалось ей мнлым в ием. Пускай бы только все осталось, как было! Вечно жеиствеииым двнженьем она туго натянула чулки, держась очень прямо, вошла в комнату; Александр Андреевич, серый лицом, с беспокойнымн глазамн, зачем-то встал ей навстречу, потом тороплнво н ненужно сел на другой стул. Соня плакала у окна. Обычно слезы у ней высыхалн быстро, а теперь нос распух. Давно плачет. По комнате, легко иося длинное тело, ходнла Танниа мама,

Наталья Сергеевна. Как-то всегда случалось так, что приходила она к Русановым во дни неприятностей или с собой приносила печаль. Она не чувствовала себя удовлетворенной ни личной жизнью, ни искусством. Оттого часто страдала искренне и тяжело для окружающих. От нее и пахло всегда печальными духами и вином, как от увядающих в стакане цветов. На ходу она поцеловала дочь. Ощутив этот знакомый запах, Таня совсем сникла. Бледненькая и очень усталая, она прижалась к дверному косяку. Александр Андреевич спросил ее несколько хрипло:

— Ну?

Таня, потупившись, молчала. Простым, добрым сердцем Соня поняла, какое большое крушение доверия, надежд и понятий происходит сейчас в душе девочки. Эти внезапно бледнеющие, потускневшие детские лица, что может быть горше! Она быстро подошла, хотела обнять и увести девочку, но Таня еще судорожнее уцепилась за косяк. Александр Андреевич неловко закурил и заговорил неохотно, нервно:

— Будет разыгрывать из себя малютку. Если ты хочешь что-нибудь сказать или спросить, так спрашивай.

Наталья Сергеевна рассердилась:

— Да что вы, действительно? О чем с ней разговаривать? Она же, конечно, еще малютка. Иди, Таня, умойся и полежи. Не твое дело — судить отца.

Таня резко повернулась к матери:

— Как не мое? Я ему никогда не говорила неправды! И все ребята наши знают,

что я немедленно засыплюсь, если солгу. А ты зачем же мне все неправду говорил?

Сердито откашлявшись, Александр Андреевич постарался говорить возможно ровней и суше:

— Я учил тебя всегда говорить правду, я! И тебе я не лгал и вообще не лживый человек. Но ты меня поймешь только тогда, когда к тебе придут свои сложности.

Долго сдерживаемые слезы вдруг прорвались у Тани. Они сразу обильными струями потекли по лицу. Она торопливо вытерла их о плечо и обеими руками.

— А... у меня разве их нет? Лиза Борщенкова... от пионеров вызвала отца на соревнование. Он слесарь и плохо работал. А он взял да изругался, нехорошо ругался, и лист не подписал, а изорвал. И даже ударил ее. Она и говорит: «Товарищи, как же я с ним буду жить?» А если б... ты лучше меня ударил, а ты сам всадился... в оппортунисты.

Наталья Сергеевна всплеснула руками:

— Это чудовищно! Взрослые отвечают за вас, а не вы за них. Как ты смеешь?

Громко всхлипнув, Таня отозвалась уже спокойнее и строже:

— Мы все друг за друга отвечаем. Мы не капиталисты, чтобы вразброд...

IV

Эти два месяца были тяжелыми для Тани. Отца не лишили партийного билета. Ему дали безвыездный и неизвестно на какой

срок отпуск. На собраниях, в учреждениях и в профсоюзах обсуждали его поведение. В газетах почти ежедневно было укоризненное упоминание о Русанове. Александр Андреевич похудел. В волосах его выступила явная седина. Но, узнав, что из партии его не исключают, он значительно успокоился. Чтоб как-нибудь убить тяжкий досуг, он усиленно занимался английским языком, математикой и много читал даже из беллетристики. Многое он и передумывал за это время. Особенно после разговора с Таней, когда он старался ей объяснить известное его возрасту положение, что не ошибаются только равнодушные. Девочка его не поняла. Он размышлял, почему не поняла. И, будучи честным, увидел, что корни его ошибки глубже, чем в словесных объяснениях. Таня чует это. Она чувствует, что все же он считает себя по существу правым. А ее закон — прям. Если ты уличен в неправоте и все-таки считаешь себя правым,— значит, ты враг. В чем же его неправота? Он искал и находил в себе многое, уже ненужное и даже вредное этому новому, Таниному миру. Оно таилось иногда в мелочах: в еле уловимых оттенках славянофильства; в любви к дико тоскливым проголосным русским песням, нагнетающим вялую скорбь, в том, что ему нравился мужик типа толстовского Платона Каратаева, иногда становилось жалко прежней, невозделанной русской шири, оттого, что иногда взгляд его становился радостным при виде кривой, маломощной ветряной мельницы на опушке заросшего леса. Все эти обвинения, выраженные в словах, звучали тупо. Казалось, даже снижали

красочность мира и жизни. Тем не менее он понял, что пионерам совершенно нового бытия являются врагами иногда и простой мирный пейзаж, и высокое в своей первооснове чувство любви ко всем людям. С Таней об этом не говорил. Сложность всех этих переживаний была, конечно, еще недоступна ей. Отношенья у них установились ровные, но как будто между ними встала прозрачная, а все же перегородка. Отчетливо это сказывалось в том, что Таня теперь скупо рассказывала ему о делах своей пионерской организации, а раньше надоедала ним. И вообще она сделалась как-то сразу взрослее. Мир уже вставал перед ней не четко разграниченным, а в сложном переплете света и теней. Случай с отцом научил ее видеть многое, чего девочка раньше просто не замечала.

Наконец, через два месяца, Александр Андреевич получил направление на новую работу. Его послали за границу на торговую работу. Соню не отпустил Московский комитет партии, и Александр Андреевич уезжал один. В день отъезда пришла провожать и Наталья Сергеевна. Она размахивала каким-то листком:

— Знаешь, твое назначение очень удачно. Там пойдет моя опера. И ты мне поможешь. Я — советский композитор. Придется выступать и с речами.

Таня замахала руками:

— Ой, мама, не надо! Брякнешь еще что-нибудь мелкобуржуазное. Ты лучше здесь поговоришь, мы поправим.

Все засмеялись, а Александр Андреевич сказал:

— Ну, вот и приезжай ее там поправлять. Приедешь, а? Ты ведь меня не забудешь?

Таия подняла иа него свон нскренние глаза н сказала совсем тихо:

— Я бы тебя н тогда не забыла, папа. Только моя жнзнь тогда стала бы иесчастливая.

Ои поиял, что оиа хотела сказать этнм «тогда» и как оно еще страшит ее в воспомииаиинх. Ои крепко поцеловал ее, с влажно блеснувшнмн глазамн. Когда девочка зачем-то вышла из комиаты, он попросил старших женщнн:

— Берегнте девчонку. А ты особеино, Наталья Сергеевиа, иногда уж очеиь к ней неумело подходишь. Ты не права, онн имеют право судить иас, нм жить по нашнм установкам. Для них мы возводим леса...

Увидев возвратившуюся Таию, ои весело закоичил:

— Вот и возиаграждают нас оии то красным галстуком почетного пнонера, то рогожиым зиамеием.

Летом Таия поехала к отцу за граиицу. Накаиуие вечером оии гуляли с Игорем по Москве. Игорь наставительио говорнл:

— Без дела не вылезай, там пиоиеры в жестких тисках. Но все-таки ие забывай и об организации. А то ведь вы, женщины, там шляпки, тряпкн, ах, крепдешин дешевый.

Таня укоризиеиио покачала головой:

— Ну, что ты, Игорь, разве я такая?

Игорь взгляиул искоса на чистую, ровную

линию лба и носа, увидел сразу и легкую походку, и яркий серый глаз. Сердце у него учащенно забилось. Девочка остановилась. Они пришли к ее дому. Игорь крепким пожатием взял ее руку и сказал, взволнованно хмурясь:

— Нет, ты не такая. Ты хорошая. И вообще для меня — самая хорошая из женщин. И всегда будешь самая лучшая...

Таня покраснела и осторожно потянула свою руку. Игорь круто повернулся и пошел. Не оглядываясь, он крикнул:

— Так завтра, на вокзале! С дороги обязательно напиши мне!

Он скрылся за углом. Девочка постояла, посмотрела ему вслед и ушла. Только что скрылась она в дверях подъезда, из-за угла снова вышел Игорь. Он посмотрел на опустевшую панель с ощущением сладостной боли, с тем чувством, которое осознается лишь в зрелости, а в первоначальной своей чистоте никогда не повторится.

Игорь получил письмо от Тани с дороги. Множество кривых, написанных карандашом строк лепилось на небольшом листе. Содержание его тоже было беспорядочно. Между прочим, она писала:

«Игорь, обязательно учи языки, хорошенько учись, всех ребят заставляй! У меня какой нехороший случай вышел. Дипкурьер, с которым я еду, не захотел завтракать. Я пошла с билетиком в ресторан одна. Села, понимаешь, а нихний подавальщик в форме не подает мне есть, а все чего-то говорит, говорит. Я сижу, а все на меня смотрят, хоть провалиться. Сижу, краснею, краснею и не

знаю, что делать. Потом какой-то заграничный дядька, немножечко знающий по-русски, объяснил мне, что у меня билетик на второй завтрак. А то сижу, сердце ноет, мучительно вспоминаю: дер офен, дас фенстер, ди диле, а у самой даже спину ломит. Пожалуйста, учитесь! Зачем давать мировой буржуазии возможность смеяться над нами?!»

Совсем сбоку мелкими буковками было приписано: «Ты для меня тоже очень хороший».

СОДЕРЖАНИЕ

Сейфуллина Л. Н.
С29 Повести и рассказы. /Сост. и вступ. статья В. Пискунова.— М.: Худож. лит., 1982.— 543 с.— (Классики и современники. Сов. лит-ра).

В книгу вошли избранные повести и рассказы Л. Сейфуллиной: «Перегной», «Виринея», «Собственность» и другие.

С $\frac{4702010200\text{-}058}{028(01)\text{-}82}$ 20-82 **Р 2**

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Советская литература

ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА СЕЙФУЛЛИНА

Повести и рассказы

Редактор Ю. Розенблюм

Художественный редактор
В. Серебряков

Технический редактор
Л. Витушкина

Корректор Т. Максимова

ИБ № 2582

Подписано в печать с готовых диапозитивов 25.01.82. Формат $70 \times 90^1/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная 19,84 усл. печ. л. 20,28 усл. кр.-отт. 20,08 уч.-изд. л. Доп. тираж 200 000 экз. Заказ № 888. Изд. № 1—392. Цена 1 р. 60 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5.

1 р. 60 к

Советская литература